

Г. ГУКОБСКИЙ ПРОИЗВЕД

АКАДЕМИЯ НАУК ССР

Г. ГУКОВСКИЙ

**ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ
РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
XVIII ВЕКА**



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК

МОСКВА 1936

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Гр. ГУКОВСКИЙ

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
XVIII ВЕКА

ДВОРЯНСКАЯ ФРОНДА В ЛИТЕРАТУРЕ
1750-х — 1760-х годов

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК
МОСКВА 1936 ЛЕНИНГРАД

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР

Непременный секретарь акад. *В. П. Волгин*

Октябрь 1935 г.

Технич. редактор *О. И. Подобедова*. Ученый корректор *В. А. Петров*. Сдано в набор 26/X 1935 г. Подписано к печати 30/I 1936 г. АНИ № 812. 15 п. л. Формат 62×94/16
37 000 зн. в печ. л. Уполн. Главлита В-35971. Заказ 7052. Тираж 7165.

Типография „Путь Октября“, Москва.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книга представляет собою лишь первую часть ряда задуманных мною очерков по истории русской литературы и общественной мысли XVIII столетия. Совершенно естествен интерес советской науки к тем течениям в идеологии этой эпохи, которые характеризуются элементами протеста, недовольства, отрицания по отношению к крепостнической монархии, ко всему социальному укладу России в XVIII столетии. Именно эта область истории и истории литературы ближайшим образом интересует и меня уже в течение ряда лет. Мне кажется при этом, что для правильной, научной постановки данной проблемы прежде всего необходимо произвести дифференциацию материала, подлежащего изучению. Слишком часто до сих пор еще все литературные явления, характеризующиеся элементами протеста и борьбы с правительством, объединяются и безоговорочно объявляются проявлениями буржуазной и мелкобуржуазной идеологии. Я полагаю, что недостаточное уточнение, в смысле классово-идеологического анализа, различных и нередко взаимно-враждебных тенденций литературного развития России XVIII века способно привести к ряду ошибок как в частных вопросах, так и в общей характеристике классовой борьбы в литературе этого периода.

Поэтому я и считаю необходимым, ставя вопрос о прогрессивных, радикальных и революционных течениях русской мысли XVIII века, вопрос о литературном проявлении классовых сил, подтачивавших устои крепостнического государства, прежде всего отделить от них те течения дворянской, в конце-концов крепостнической мысли, которые, выдвигая элементы протеста, тем не менее имели в сущности консервативный характер. Таким образом, первый этап исследования посвящен «дворянской фронде».

Дальнейшие очерки должны коснуться носителей буржуазных, а затем и радикальных мелкобуржуазных идей

в литературе и публицистике 60-х—80-х годов XVIII века, целому ряду писателей и ученых, из которых не все широко известны в нашей науке, но большинство представляет исключительный интерес для понимания историко-литературного процесса этой эпохи.

Сосредоточившись в первой части работы на изучении дворянской фронды, я ставил перед собою одновременно задачу определить характер того дворянского, «вольтерианства», о котором издавна говорили и говорят историки литературы. С другой стороны, меня интересовал и вопрос о тех специфических чертах, которые приобретали идеи западных «просветителей» в среде русского дворянства. В самом деле, «просветительство» Сумарокова и Фонвизина, несмотря на внешнее заимствование элементов их идеологии у Запада, играло иную историческую роль в условиях русской действительности XVIII века, чем та роль, которую играли идеи учителей тех же Сумарокова и Фонвизина на Западе. Поэтому я считаю возможным построение схемы мировоззрения русских дворянских «просветителей» (все же, в сущности, крепостников) при условном отделении этой схемы от вопроса о западных источниках и прообразах, так сказать, вынося этот вопрос за скобки; хотя я и сам могу указать по отношению к многим высказываниям русских дворян-фрондеров непосредственные параллели из Монтескье, Бильфельда, Юсти и других. Я полагаю, что прежде всего следовало выяснить, что именно представляло собой мировоззрение подлежащих изучению людей, а не то, какие импортные материалы пошли на постройку этого мировоззрения.

Три главы, из которых состоит основной текст книги, написаны в разное время; первая глава была написана в 1930 г. и впоследствии подверглась лишь незначительным изменениям (почти исключительно сокращениям); вторая глава писалась в 1932—1933 г., а третья — в 1934. Читатель без труда заметит некоторые различия в подходе к материалу в трех главах, обусловленные именно датами написания их; я не мог вовсе устранить эти различия; в сущности, они отражают естественные изменения в структуре моей научной работы.

Приношу мою искреннюю благодарность за дружеские советы, бывшие мне полезными в моей работе, Я. Л. Барскову, П. Н. Беркову, Б. Я. Бухштабу, Л. Я. Гинзбургу, В. М. Жирмунскому, Ю. Г. Оксману, акад. А. С. Орлову, Н. К. Пиксанову, И. М. Троицкому.

1935 г.

Гр. Гуковский

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. *Дворянская фронда.*— 2. *Придворная литература 1730-х — 1740 гг.*—
3. *Дворянская интеллигенция.*— 4. *Шляхетный корпус и Московский университет.*— 5. *Сумароковцы.*— 6. *„Полезное увеселение“*

1

В течение всего почти XVIII века ведущим классом, формировавшим в основных чертах культуру эпохи, было дворянство, помещики. Дворянство, владея политической властью на основе своей экономической власти, предписывая законы всей стране, в целом держало в своих руках и гегемонию культуры. Некоторые попытки ученых последних лет доказать, что рядом с дворянской культурой существовала в середине XVIII века и позднее столь же могучая и исторически активная культура — «низовая», не могут привести к положительным результатам. Конечно, внедворянская культура, литература, искусство существовали, конечно, и купечество и мещанство имели свое мировоззрение и проявляли себя в культурной области. Но они или тянулись за дворянством, создавая эпитонскую культуру, или же, если и определяли свое бытие и свою идеологию враждебно по отношению к дворянству, не имели еще исторической силы выдвинуть эту идеологию как равную по зрелости тем культурным образованиям, которыми владел господствующий класс. Особо стоит вопрос о литературе единственного революционного класса той эпохи — крестьянства; элементы его идеологии проникали и в книжную литературу еще в XVIII веке, но этот вопрос как раз наименее обращал на себя внимание исследователей и требует специального рассмотрения (ему я предполагаю посвятить следующую свою работу — второй том настоящего исследования).

В конце столетия устои помещичьей культуры дали брешь. Накапливавшиеся исподволь в процессе образова-

ния русского третьего сословия — буржуазии и «разночинства», мелкого буржуа — фонды идей, вкусов, стремлений и социальных переживаний прорвали фронт помещичьей идеологии. Частично они подчинили своему воздействию дворянскую мысль (что связано с рядом явлений кризиса помещичьего хозяйства), частично же потребовала для себя самостоятельного места на поле битвы идей, произведений, словесного и интеллектуального оружия, принадлежавшего к самым сильным из всех, какие выработало человечество.

Между тем, если, таким образом, конец XVIII века в России отмечен социальным сдвигом, сказавшимся в области литературы, но не принесшим все же победы ни буржуа, ни «разночинцу», то в течение 50-х, 60-х, 70-х и даже еще 80-х годов голос «низов» не мог даже поколебать здание помещичьей литературы, помещичьей культурной гегемонии. Дворянство было еще ведущим классом в области культуры. Но оно само вовсе не было единым монолитом, состоящим из людей, интересы которых целиком совпадают. Оно распадалось на отдельные слои, враждовавшие между собой, не вполне сходные ни по своему экономическому бытию, ни по своим политическим идеям, ни по своему культурному облику. Не представляла картины единства и дворянская литература, отчетливо формулировавшая элементы внутрдворянской войны и активно участвовавшая в ней. Таким образом перед исследователем в этой области стоят две проблемы: выяснить, как реализовались в литературе и идеологии вообще расслоение дворянства, внутренняя борьба среди помещиков различного типа бытия и сознания, и затем выяснить, как накапливались и постепенно росли в русской культуре и литературе идейные элементы, враждебные всему помещичьему классу в целом. В то же время важно установить дифференциально, как реагировали на появление антидворянских буржуазных идей различные слои дворянства.

Ведь специфическая трудность изучения исторических процессов в области русской культуры XVIII века в том и состоит, что нарастание элементов буржуазной идеологии протекало здесь в условиях крепостнического строя, что буржуазия сама по себе еще не образовалась в России этого времени как сознательный класс, стремящийся к исключительной гегемонии, что в России капитализм еще только подготавливался, что обуржуазивание охватило некоторые слои помещиков, не перестававших еще быть рабовладельцами и т. д. Словом, сложные взаимоотношения сильных воздействий буржуазной мысли Запада с феодальными устоями помещика, державшегося своего рабовладельческого хозяйства во что бы то ни стало,

вполне соответствующие сложным взаимоотношениям торгового роста и даже промышленного движения в полуазиатской рабовладельческой деспотии, создают особые условия и при рассмотрении вопроса о том, какой характер приобретает на русской почве та или иная идея, то или иное умственное течение, известные нам и по западной литературе.

Вопрос о роли дворянства, класса помещиков в исторических судьбах России XVIII века так же, как вопрос о расслоении самого этого класса помещиков, был поставлен марксистской наукой уже давно. Для меня существенно сейчас поставить вопрос о том, как реализовался период «дворянской реакции» в области культуры и, в частности, литературы.

В 60-х и 70-х годах XVIII века гегемония культуры в пределах «высших» слоев общества, гегемония письменной литературы находилась в руках совершенно определенной группы дворянства. Именно в это время освободившееся и победившее дворянство принялось устраиваться в своих поместьях, повышать доходность своих владений. Оно стало торговать продуктами крепостного труда, вывозить их за границу. Это было время неуклонного усиления эксплуатации крестьянства и, с другой стороны, усиления расслоения класса помещиков-дворян.

Именно в это время дворянская аристократия, обладавшая наиболее развитой культурой, проявила тенденцию к увеличению своей доли в управлении страной, к реорганизации всего общественного строя в свою пользу. Прежде всего идеологи этого слоя дворянства требовали ограничения монархии, «деспотии» — по терминологии Монтескье, теориями которого они охотно пользовались. При этом они добивались ограничения деспотии именно властью родовой аристократии; олигархическая конституция Швеции была в их глазах образцом, к которому надо стремиться. Они требовали, чтобы страной управляли потомки старых дворянских родов, получившие по наследству и культуру, позволяющую им разумно мыслить, и моральные устои, позволяющие им быть честными «слугами отечества», и крупное земельное состояние, позволяющее им быть независимыми от милости или немилости царя.

Если с точки зрения практики русской монархии XVIII века политическая «программа», созданная помещичьей аристократией, оказывалась недопустимо «либеральной», то столь же неприемлема была она для большинства дворянства, не желавшего усиления этой аристократии и поддерживавшего практику монархии. В особенности же было раздражено мелкое дворянство социальной программой аристократов-фрондеров в области крепостных отношений.

Средний и мелкий помещик, владелец немногочисленных крестьян, применял в основном барщинную систему эксплуатации; при этом он сам хотел сидеть в своей вотчине и руководить выжиманием продукции из крепостных. Он требовал сохранения в неприкосновенности всего крепостного права целиком; всякое ограничение его было для него невыгодно и, следовательно, неприемлемо. Наоборот, сравнительно крупное хозяйство аристократа чаще всего могло быть организовано по оброчной системе. Помещик был далеко от своих крестьян; он готов был предоставить им некоторые права, которые могли бы только упрочить хозяйственную «крепость» крестьянского хозяйства и его оброчную платежеспособность. Кроме того, и система оброка, и промышленность, выраставшая на землях крупных помещиков, и большие торговые обороты, способствовали под'ему потребности во внутреннем рынке. И вот именно идеологи помещичьей аристократии выступают с требованиями реорганизации практики крепостного права.

Конечно, замыслы аристократов-фрондеров не затрагивали самого принципа крепостничества. Они были крепостниками, и от самой реформы крепостного права ждали его упрочения и нового расцвета.

Литературным вождем группы либералов-крепостников, независимых феодалов был Сумароков, политическим — Никита Иванович Панин, дипломат и воспитатель сына Екатерины II Павла. В 1762 году он во главе своей «партии» помог Екатерине захватить трон. В первые годы своего царствования Екатерина заигрывала с либеральными аристократами; она говорила ни к чему не обязывавшие ее либеральные фразы; покровительствовала некоторым либеральным идеям в литературе; обещала кое-какие реформы. Все это было уступкой панинской группе и самому Панину, игравшему в это время главную роль в правительстве. Казалось, чаяния аристократической партии будут осуществлены.

Однако надежды ее были преждевременны. Среднее дворянство и мелкая шляхта были недовольны успехами своих внутриклассовых конкурентов. Правительству и Екатерине приходилось выбирать между враждовавшими группами дворянства. Культурная и свободлюбивая аристократия была в меньшинстве: не она наполняла гвардейские полки, не она сидела на местах в губерниях, не она вела бюрократическую машину монархии. Выбор Екатерины и ее двора был сделан. После упорной и длительной борьбы помещичья фронда была сломлена и разгромлена. Наверху социальной лестницы—вторично после Петра—была создана новая группа правительственных дельцов, сверхмагнатов и чиновников, управлявших страной и грабивших ее, но

дававших жить и дворянской «массе». Либеральные аристократы оказались зажатými между двух враждебных групп и были обречены на поражение.

2

Как же складывалась, как развивалась идеология и практика этой фронды?

Русская дворянская интеллигенция XVIII века как особая общественная группа, определившая свое общественное назначение именно в качестве культурной силы (а потом и политической), образовалась около 50-х годов, в конце царствования Елизаветы Петровны, когда собственно и завершилось поступательное движение к власти дворянства в целом. Вплоть до этого времени русское правительство, в основном делавшее дворянское дело, было еще связано торговыми навыками Петровской эпохи. Страну держали в руках дельцы, полуфеодалы-полуторгаши.

Правительство Елизаветы не всегда способствовало исчезновению этих традиций, хотя оно и уступало напору дворянских требований. Большую роль в стране не только при Анне, но и при Елизавете играл двор, организованный не то на манер барского помещичьего дома, не то на манер дворца азиатского деспота.

До середины XVII столетия, в течение четверти века, вся официальная культура, возглавлявшая умственное движение высших классов, имела правительственно-придворный характер. Она была создана не только по приказу центральной власти, но и существовала на потребу ближайших практических целей той же власти. Наука, искусство были делом, ближайшим образом касавшимся именно двора и правительства как государственного аппарата. Они обслуживали не столько те общественные группы, которые поддерживали монархию и ради которых она действовала, сколько рабочий механизм самой этой монархии. Наука была прежде всего прикладным знанием, в задачу которого входила практическая помощь политическим, промышленным, военным и т. д. мероприятиям власти и связанной с нею верхушки общества. Литература и искусство входили в ритуал эстетической пропаганды монархии, ее ближайших целей и намерений, обосновывая в то же время ее права на власть. Ни собственная творческая инициатива, ни самостоятельная мысль, отличная от предначертаний власти, ни адресование художественного слова к партикулярным лицам помимо единственного лица монархии или, вернее, единственной цели всех идей — центральной власти были невозможны. Вся новая дворянская культура мыслилась как один из видов «службы», предписанной всей стране петровской

реформой. Литературное произведение не должно было выражать индивидуального сознания своего автора (его характера). Оно не стремилось также выражать концепцию абсолютной истины в рациональных ее формулах, существующих якобы вне конкретного исторического закона и обычая; концепцию, дающую возможность тому, кто считает себя постигшим эту истину, защищать ее даже против велений конкретной исторической власти — идею независимой дворянской интеллигенции. Литературное произведение, как и всякий другой факт культуры, было правительственным актом и субъективно обосновывалось в своем бытии и данном своем содержании не структурой личности творца, не структурой рационалистической нормы истинного — должного, а лишь структурой политического момента с точки зрения рабовладельческой и торгашеской монархии.

Фактически судьбами и направлением науки, искусства, литературы в 30-е и 40-е годы заправляли немногочисленные, как бы специально выделенные для этого вельможи, придворные правительственные дельцы. Их трудно назвать меценатами, поскольку они были лишь орудиями «меценатской» деятельности центральной власти, чиновниками по делам культуры. Но они составляли ядро читательской группы по отношению к литературе; это были «ценители», определявшие своим одобрением или неодобрением направление литературы. Они «поощряли» писателей и ученых, они покровительствовали им в жизни и в карьере, предпринимали издания их сочинений и присылали им на дом корзины с яствами, беседовали с поэтами о стихосложении, требовали от них од и речей, разбирали их ссоры и тяжбы между собой, устраивали для них «высочайшие милости», журили их, если находили это нужным, и помогали им иногда открыть то Московский университет, то Академию художеств. Типичны в ряду других и наиболее значительны по своему влиянию были: князь Никита Юрьевич Трубецкой и Иван Иванович Шувалов.

Первый — образцовый делец из тех, которых подготовила Петровская эпоха и выковала эпоха дворцовых переворотов. Хитрый, циничный карьерист, готовый на все для успеха при дворе, жестокий и беспринципный человек, умевший и льстить и предать с одинаковой находчивостью, Трубецкой в течение более чем 20 лет, при 5 царях, занимал самые высокие посты в государстве. Он был, может быть, самым законченным представителем племени дельцов той эпохи, когда петровская государственная машина падала под ударами помещичьего наступления. Именно такие авантюристы-бюрократы, рвавшие на части власть и богатства, доставшиеся им, испытанные в интригах, чаще всего кончавшие жизнь в ссылке, в опале или на плахе, и

составляли в основном русский императорский двор в 30-х—40-х годах. Именно такие вельможи составляли в то же время основную аудиторию литературы эпохи Третьяковского, Кантемира и даже Ломоносова.

Никита Юрьевич Трубецкой был образованным человеком; его другом был Кантемир, обращавшийся к нему и в стихах. По желанию Трубецкого было издано известное поэтическое состязание между Третьяковским, Ломоносовым и Сумароковым, имевшее целью разрешение сложного спора в области теоретической поэтики — перевод 143 псалма. Трубецкой и сам писал стихи — нежные салонные песни.

Когда наступили новые времена, при Екатерине II, одним из первых деятелей прежних времен, попавших в опалу, был Трубецкой. Другим опальным был Шувалов. Оба должны были сойти со сцены вместе с культурой, начальниками которой они были.

Между тем в доме Трубецкого выросли не только его сыновья, деятели литературы и дворянской общности 70-х — 80-х годов, но и его пасынок, Херасков, один из вождей дворянской интеллигенции. В доме Шувалова происходили столкновения Ломоносова, корифея придворно-официальной русской литературы, с Сумароковым, родоначальником школы искусства независимых дворян-интеллигентов. В самый год своего «падения» Шувалов приласкал девятнадцатилетнего рисовальщика и чертежника, необразованного, но усердного юношу, гвардии кондуктора Гаврилу Державина.

В начале 50-х годов Шувалов был далек от сочувствия недовольным элементам дворянства. Он был слугой монархии, пресекавшей всякое недовольство. Он был человеком другого склада, чем Трубецкой; он был и моложе его на 28 лет. Но его роль при культуре была такая же, как роль Трубецкого. И тем не менее, объективно, в силу того направления, которое принимала общая политика монархии, именно Шувалов был последним меценатствующим чиновником русского двора. Гости шуваловского салона не захотели более служить, а захотели заявить свое право независимых помещиков на свое мировоззрение.

Круг распространения дворянской литературы 30-х — 40-х и даже 50-х годов был очень незначителен. Кроме вельможной группы, командовавшей литературой, ею интересовалась придворная молодежь, «высший свет», состоявший в то время не только из олигархов-аристократов, но и из проходимцев, иностранных авантюристов, ловких карьеристов-парвеню. Не обладая родовой культурой европейского типа, и те и другие обладали лишь в малой степени и культурой благоприобретенной. Но ими и замыкался круг потребителей литературы, если не считать профес-

сионалов ее и высшего ученого духовенства (что почти совпадало). «Публики» как некоего неопределенного, неограниченного психологического фона применения идеологического воздействия литературы в сущности не существовало; потребители литературы были наперечет известны в лицо и по именам, и произведение распространялось в списках с наименьшей легкостью, чем в печатных оттисках.

Стимулируя создание придворно - правительственной культуры, вельможи, люди «высшего света», не работали сами ни в искусстве, ни в науке, по крайней мере не работали профессионально. Они, т. е. власть, заказывали культуру специалистам-мастерам этого дела, которых они готовы были обучать за счет казны, так же, как заказывали мастеру мебель и ковры для зал императорского дворца. Они нанимали для писания стихов и прозы, для работ в лабораториях, для университетских лекций мастеров слова и мысли, не принадлежавших к высшему придворному кругу, но готовых служить ему, намерениям и интересам его и всех, его поддерживающих. В науке работали по большей части наемные иностранцы; в литературе — наемные писатели, большей частью «природные» россияне. Это были выходцы из низших классов, чаще всего из духовенства, единственного общественного слоя, хоть сколько-нибудь грамотного. Из «духовного звания» происходил Тредиаковский и, повидимому, Голеневский, А. Дубровский, Кондратович. Из торговых казенных крестьян происходил Ломоносов. Все эти люди (настоящих литераторов в дворянской культуре тогда было вообще наперечет — несколько человек) были профессионалами науки и искусства. Они относились к своей работе скорее как к ремеслу, чем как к выполнению руководящей идейной общественной функции; они хотели быть хорошими, полезными исполнителями, а не вождями общества. Их профессия заключалась в изготовлении научных теорий и трактатов, в изготовлении од и торжественных речей, в пропаганде правительственных взглядов, а не в отвлеченном культивировании истины и морали, не в стремлении возглавить общество на правах его мозга и воли; словом, они были мастерами цеха культуры и вовсе не хотели быть интеллигентами в том смысле, как ими были писатели последующей эпохи. Они пошли на службу чуждому им делу, чуждому классу, видя в этом классе гегемона в политике и в культуре и не зная других возможностей строить культуру. Руководить своими читателями они, слуги этих читателей, не могли.

Конечно, это не значит, что литература в это время не играла существенной общественной роли, не была двигателем в социальной жизни. Как и всегда, литература свою миссию выполняла, выполняла ее так, как этого требовали

история и класс, данной литературой обслуженный. Но люди, делавшие предметы культуры, в то время не составляли еще интеллигенцию того класса, который был носителем идей этой культуры; литература говорила не от их лица, а от лица их господ и заказчиков.

Что же касается «господ», т. е. самих заказчиков культуры, то они появлялись в ней преимущественно в качестве дилетантов. Трубецкой писал стихи, но не был литератором. Дилетантом в литературе был, конечно, и В. Н. Татищев не в пример Ломоносову и Миллеру, что не мешало ему, конечно, быть одним из весьма немногочисленных ученых людей эпохи так же, как не помешало ему написать много томов. Татищев был одиночка. Группы, «среды», окружавшей его, не существовало. Единственный человек из «света», не по-дилетантски занимавшийся литературой — Кантемир. Но указание на него несколько не доказывает существования придворной интеллигенции, активно работавшей в культуре. Нельзя забывать также, что сатиры Кантемира так и не были изданы при его жизни, как не были изданы и песни его друга Никиты Трубецкого. Ранний предтеча дворянского классицизма 60-х годов, Кантемир стоял в стороне от столбовой дороги профессиональной литературы 30-х—40-х годов.

Сферой приложения силы искусства и мысли был в первую очередь дворец, игравший роль и политического, и культурного центра, и вельможного-дворянского клуба, и храма монархии, и театра, на котором разыгрывалось великолепное зрелище, смысл которого заключался в показе мощи, величия, неземного характера земной власти. При дворце в порядке вспомогательных учреждений или филиалов существовали и Академия Наук и вельможные салоны. В сложном ритуале дворцовой жизни, в котором всякому участнику, начиная с монарха и кончая пажом, была предписана определенная роль, искусство занимало большое место. Торжественная ода, похвальная речь («слово») и были наиболее заметными видами официального литературного творчества; они жили не столько в книге, сколько в церемониале официального торжества. За ними шли салонные песни и необходимый во всяком придворном быту театр — училище манер и слога, пропагандист придворной эстетики и идеологии. Оды, речи, трагедии писал Ломоносов; кроме того, он оставил много «надписей», предназначенных функционировать не как произведения только словесного искусства, а как словесные расшифровки праздничных иллюминаций. Поэзия, художественная литература вообще в это время существовала не сама по себе; она фигурировала как элемент синтетического действия, составленного живописцем, церемониймейстером, портным, мебельщиком,

актером, придворным, танцмейстером, пиротехником, архитектором, академиком и поэтом — в целом образующего спектакль императорского двора. Само собой разумеется, что и стиль литературных произведений — отвлеченный, отрешенный от реального быта, условный, торжественно-напряженный, рассчитанно-сложный; самый язык — до заумного великолепный, иррациональный, приподнятый и славянизмами, и специфически-блестящим лексическим подбором, и свободным от пут обыденной привычки словоупотреблением; весь облик стихов и прозы был отчетливым проявлением того придворного склада мысли и вкусов, которые могут быть по образцу немецкой литературы характеризованы термином «барокко». Мировоззрение ученого-поэта, работающего над построением большой оды: Анне Ивановне или Елизавете Петровне, пропагандирующего мероприятия власти — войну, научную работу Академии и т. п. так же, как и развлечения императрицы, уносящегося в абстрактный пиитический восторг в окружении образов и тем живописи, пиротехники и архитектуры его эпохи, столь же типично для этого придворного стиля. Наивысшим проявлением его в России было творчество Ломоносова.

Конечно, вовсе нельзя представлять себе, что все дворянство или даже все столичное дворянство довольствовалось только дворцовым искусством и не искало иных способов идеологического и эстетического насыщения. Оды Ломоносова, «Езда во остров любви» Тредиаковского, торжественные речи, надписи и мадригалы не могли удовлетворить литературных и интеллектуальных потребностей всего дворянства; они шли лишь в верхушечный круг его. Остальные же или вовсе ничего не читали и довольствовались устным фольклором, как и их «подданные», крестьяне, или же читали литературу, завезенную им еще Московской Русью; в первую очередь читалась псалтирь и вообще церковная, житийная и нравоучительно-религиозная письменность; затем повести, новеллы, сказки в духе Бовы, может быть, кое-какие вирши (песни) и опять устный фольклор. Все эти рудиментарные для данной среды литературные образования долго еще жили в «низах» дворянства, долго еще оказывали противодействие новой дворянской культуре, развивавшейся в «верхах» класса.

3

В середине XVIII века уже сравнительно значительный слой дворянства взялся за созидание этой новой культуры, причем взялся сам, а не при помощи наемников, и взялся не по приказу власти, а независимо от нее, намереваясь, наоборот, повлиять на самую эту власть.

Это случилось тогда, когда поступательное движение дворянства, его претензии докатились до крайних своих проявлений. Пока живы еще были петровские навыки власти, пока помещичья политика не дала еще достаточных всходов в области культуры, двор со своим вельможным кружком и штатом вымуштрованных специалистов владел монополией европейской культуры, предоставляя всем подданным без различия сословий сохранять свою вековую культуру, для дворянства становившуюся уже бескультурьем.

Но политические завоевания дворян-помещиков не проходили бесследно и для культурного движения. Ряд крупных политических побед сделал дворянина-помещика господином страны. В 30-х годах он уже вполне осознавал свою власть. Он освободил Анну Ивановну от олигархов, рассчитывая на «милости» и «вольности» политического характера. Надежды оказались преждевременными, олигархия не сдалась окончательно, а деспотия, попрежнему опасавшаяся помещицей «воли», ограничивала власть дворянской массы как политикой торговых людей, так и политикой вельмож-олигархов.

Однако помещик все более становился рабовладельцем. Земля и труд крестьянина перестали быть для него платой за службу и сделались его собственностью. Оставалось добиться «свобод», свободы от обязательной службы в первую очередь и добиться закономерного участия в правительственной деятельности; первое было достигнуто позднее, второе не было достигнуто никогда.

При этом средства и орудия культуры оказались в руках высшего слоя родового состоятельного дворянства, крепкого и экономической независимостью и «связями». Если бедный дворянин не мог получить хотя бы образования, необходимого для служебной карьеры, и на всю жизнь оставался каким-нибудь армии поручиком; если он был лишен в быту предметов «цивилизации», стоивших отчаянно дорого, и по своему умственному и бытовому складу более походил на крестьянина, чем на цивилизованного европейского жантильома, то, наоборот, помещик, являющийся потомственным владельцем изрядного числа «душ» и потомственным обладателем традиции служебных успехов, уже в 40-х—50-х годах свободен от каких бы то ни было пут. Даже обязательная служба не стесняет его, так как он может выбрать для себя или синекуру, или специально почетную должность, открывающую легкие пути «вверх». Он может стать, напр., если его влечет область культуры, администратором при университете (Херасков), или же получить место адъютанта при сильном вельможе (Сумароков), или даже просто сделаться офицером гвардии,— все дороги для него открыты, и успехами в жизни он обязан, как ему

кажется, не правительству, а своему роду, своему сословному положению, своему происхождению.

Так, с самых первых шагов в жизни юный представитель дворянского элита хочет осмыслить свою власть как законное наследие предков и ощущает себя солью земли, центром и мозгом страны.

В этом убеждении его укрепляет и то, что именно он получает более широкие возможности культуры, чем все остальные группы населения страны. В столицах он строит свою дворянскую культуру. И средства и досуг у него есть; он добывается и открытия образовательных учреждений. В этой области он состоит в союзе со всем дворянством, стремящимся к образованию как к пути к карьере и обходу обязательной солдатчины; но пользуется достигнутыми в этом смысле результатами более всего именно он, дворянин верхних слоев, состоятельный помещик, крепкий и родом и имением. После того как под давлением дворянской общественности в 1732 г. был основан Шляхетный кадетский корпус, его с первых же лет стали наполнять дети «столбовых» помещиков. Кадетский корпус был основан не для кучки вельмож и не для детей «верховников». Борьба за места в нем шла между мелкой шляхтой и крепкими помещиками; борьба была неравная; шансы шляхты были слишком невелики. Образование стало в первую голову делом тех, кого еще дома начинали учить французскому языку, кто мог, не довольствуясь непышным кадетским пайком, пополнять его и денежной и натуральной поддержкой из дому, кто мог содержать при себе своего собственного слугу, и т. д. Образование шло впрок тому, кто мог с успехом фигурировать при дворе (это входило в распорядок жизни кадет) и кто имел родовую традицию служебных мест. Неудивительно, что кадетский корпус стал рассадником культуры именно дворянской аристократии. Кроме того, и помимо учебных заведений, учителя, книги, салоны, знакомства, придворные и непридворные балы, встречи с иностранцами, журналы, театр — все это создавало комплекс, в сфере влияния которого мог воспитаться человек с известным минимумом культуры и цивилизации, человек, социальное самосознание которого складывалось на основе крепостничества и сознания своей власти и независимости, а политические чаяния были направлены к существенной задаче — реализовать в политическом законодательстве, в структуре государства полноту этой самой власти и независимости. В самом деле, независимость была едва ли не наиболее существенным достижением экономически прочного слоя дворянства в середине XVIII века. Правительство, как таковое, в малой степени распространяло свою власть на помещика, подчинившего себе это правительство *de facto*

и не зависящего от него экономически. Каждый помещик-рабовладелец, довольствуясь доходами, собираемыми со своего владения, чувствовал себя господином и царьком по отношению к этому владению. Он — бесконтрольный хозяин своей вотчины, «отец», судья, законодатель и монарх для своих подданных, окруженный своим маленьким «двором», имеющий свои тюрьмы, свою полицию, издающий для своих крестьян уголовный кодекс, как и правила морали, покровитель и глава своей «поместной» церкви; словом — во всем в пределах своей маленькой страны сходный с императором и царем, как бы самостоятельный владетельный государь, в свою очередь подчиненный централизующей власти императора всероссийского. Но эта централизующая власть оказывалась вовсе не настолько обширной, как власть самого помещика. Здесь отчетливо проявлялось истинное соотношение вещей. Императорский трон стоял крепко благодаря власти помещиков, а не наоборот; это понимал каждый независимый помещик; он владел крестьянами как хозяин, а император всероссийский не должен владеть им, помещиком, как своим рабом, — скорее он, помещик, направляет действия императорской власти.

Тем более император не владел помещичьими крестьянами. Выходило в результате так, что помещик был высшей властью над крестьянами, над собой же подобной неограниченной и безапелляционной власти не видел или не хотел видеть. Он чувствовал себя феодалом, подчиненным императору как первому среди равных, как вождю российских полновластных помещиков. Он, русский помещик, осознает себя аристократом и требует осуществления своих аристократических прав во всех областях жизни; возникает политическая, этическая, эстетическая программа действий, осуществляется идеология независимых русских дворян XVIII века.

4

Вскоре после основания кадетского корпуса в 1732 г. в него поступил Сумароков, которому было тогда 14 лет. В 1743 г. в корпус поступил десятилетний Херасков. Еще ранее, в 1738 г., поступил Елагин. Тогда же учились или служили в корпусе Адам Олсуфьев, А. А. Нартов, И. И. и П. И. Мелиссино, И. Шишкин, С. Порошин и др. будущие литераторы. Одновременно с Сумароковым в корпус учился П. А. Румянцов.

Кадетский корпус был учреждением нового типа для России не только потому, что он осуществлял часть новой политической программы дворянства, но и потому, что он осуществлял новый тип культуры и культурного человека,

значительно отличающегося от того, который был в основном построен Петровской эпохой. Время технических школ, время практицизма, преобладания точных знаний прошло. С самого начала своего существования корпус сделался дворянским университетом. Военная муштра, а вместе с нею и специальные военные знания отошли на второй план в системе образования, дававшегося корпусом. Наоборот, история, география, юридические науки, языки, затем фехтование, танцы — весь этот круг общеобразовательных и светских дисциплин и навыков выдвинулись вперед. Основной педагогической задачей корпуса стало воспитание образцовых жантильменов, вполне цивилизованных, обладающих элементарными гуманитарными знаниями, умеющими себя держать в обществе. Корпус готовил не работников, как петровские школы, а начальников. Практику студенты проходили во дворце. Корпусное начальство было поставлено перед необходимостью заниматься обучением европейским приличиям и культуре быта дворянских сынков, прибывавших в учебное заведение часто неотесанными парнями с замашками своих родителей, воспитанных в школе Петра I; не легко было отучить их держать в комнатах-дортуарах собак, разводить грязь, безобразничать. Отучали, впрочем, усердно, не стесняясь ни поркой, ни иными суровыми карами. Нужно было добиться превращения русского помещика в «рыцаря» на западный лад. Кроме наук, кадетов обучали не только танцам, но и декламации (в корпусе преподавалось множество наук, и студент мог специализироваться в той или иной области; вообще прохождение курса не было унифицировано). Кадеты упражнялись в исполнении трагедий на придворном театре с неменьшим усердием, чем в верховой езде или французском языке и, вероятно, с большим, чем в фортификации. В особенности отчетливо этот салонно-аристократический стиль приобрело корпусное воспитание при Елизавете, когда и в личном составе служащих корпуса произошли последовательные перемены: германское делячески-бюргерское влияние заменилось влиянием французским, которому суждено было сыграть столь большую роль в образовании психики русского дворянского интеллигента. Идеал голландской верфи уступил идеалу Версаля. В системе гуманитарного образования, как и в системе светского воспитания, в корпусе существенное место занимало искусство, и в том числе литература. Сохранилось предание, не слишком достоверное, что уже в 40-х годах (или даже еще раньше) в корпусе существовало литературное общество. По многим биографиям Хераскова странствовало совсем мало достоверное известие, якобы он уже в корпусе писал стихи и даже задумал «Россиаду». В этих преданиях,

независимо от точности сообщаемых ими фактов, сохранено общее правильное воспоминание: в корпусе занимались литературой. Еще императрице Анне Ивановне кадеты подносили сочиненные ими в ее честь стихотворения, среди которых были и сумароковские. Позднее традиция занятий театром и литературой в корпусе не прерывалась, повидимому, вплоть до 1759/1760 года, когда в корпусе издавался журнал «Праздное время, в пользу употребленное». В корпусе была библиотека, выписывалось много иностранных газет и журналов.

Первым крупным успехом корпусной педагогики в сфере литературы был именно Сумароков. Родовой аристократ, он первый взялся за литературное дело профессионально, стал создавать литературу для своего класса своими руками и начал строить искусство не двора только, а дворянства. Именно поэтому он вовсе не был самодуром, когда заявлял, что он является начинателем новой русской литературы.

Данную литературу, т. е. данную эпоху литературного развития, начал действительно он. Впервые он адресовался в своем творчестве не к монарху, не к кучке его приближенных, словом, не к официальному аппарату власти, а к партикулярному читателю; однако, не к неизвестной, неопределенной массе далеких читателей, а к группе дворянских интеллигентов — одного социально-культурного типа с самим поэтом. Или иначе: впервые он заговорил не от лица власти, не как штатный правительственный чиновник, которому поручено пропагандировать и разъяснять веления власти, однако и не от лица индивидуума, личности, характера, а от лица отвлеченной схемы прекрасного и должного, которая субъективно реализовала мировоззрение той же группы дворянских интеллигентов.

Важно то, что литература оторвалась от правительства. что высказывание художественного слова перестало быть официальным. Носители литературы стали отличать себя, свое сознание и цели своей деятельности от сознания, деятельности и целей власти. Началась борьба, которая могла или окончательно подчинить власть той дворянской прослойке, которая выделила свою идейную верхушку в лице дворянской интеллигенции, или кончиться поражением этой прослойки, побежденной другими группами дворянства, подчинившими власть себе.

Императрица Екатерина II, вступив на престол, предоставила Сумарокову пенсию и взяла на себя расходы по изданию всех его сочинений. Это не было той платой за службу трону и двору, которую выдавали Тредиаковскому или Ломоносову. Это было частичной капитуляцией двора перед литературой или, вернее, перед дворянством, несущим

эту литературу¹. Когда курс власти изменился и альянс ее с независимыми помещиками-аристократами порвался, Сумарокову пришлось плохо. Он, родоначальник литературы этой группы, попал, конечно, в немилость. Екатерина смеется над ним; делает ему выговоры, ее чиновники помыкают им; он кончает жизнь в бедности, в состоянии полупопального заштатного деятеля.

Не случайно, что и ближайший ученик Сумарокова Херасков происходил из аристократической среды. Его отец — знатный румынский боярин, перешедший вместе со своим феодальным главой к Петру во время Прутского похода и получивший и почетное звание (майора кавалергардов) и светские связи. Мать Хераскова — из Рюриковичей, урожд. княжна Друцкая-Соколинская. Отчим его (Херасков лишился отца, когда ему был один год от роду, и мать его через год вышла замуж вторично) — Никита Юрьевич Трубецкой, о котором шла речь выше. Родня Хераскова — вся аристократия: Салтыковы, Румянцовы, Черкасские, Нарышкины, Вяземские, Ржевские и т. д. и т. д. Так же, как Сумароков, Херасков получил прекрасное образование, знал языки, много читал. Еще более, чем Сумароков, он был независим в своей литературной деятельности от двора и правительства. Его журналы «Полезное увеселение» и «Свободные часы» издавались от Московского университета, в котором он служил; но эта связь с властью, единственная, была номинальной; никаких следов и признаков того, чтобы что-нибудь ограничивало свободу действий Хераскова в журнале, нет; наоборот, журнал носит отчетливый отпечаток работы и направления той группы писателей, во главе которой он стоял. Эта группа в основном состояла из литераторов того же биографически-социального типа — из аристократов, вообще состоятельных помещиков, не связанных лично с аппаратом власти.

Алексей Андреевич Ржевский, ближайший сотрудник Хераскова, был Рюриковичем; Ржевские были когда-то князьями смоленскими. Два брата Нарышкины, Алексей и Семен Васильевичи, литераторы той же группы, принадлежали к высшей родовой знати. Богатый помещик А. Г. Карин — один из трех братьев Кариных, богатей (у Ф. Г. Карина было 7000 душ), которые сохраняли еще несколько тип просвещенного дилетантизма, но существенно отличались от вельмож-меценатов прежнего времени своей принципиальной партикулярностью, подчеркнутой независимостью, удаленностью от двора, службы, власти,

¹ Конечно, я вовсе не хочу сказать, что монархия до 1762 г. была независимой силой, не имевшей социальной опоры в той или иной общественной группе. Но дело в том, что она опиралась на иные группы дворянства, не на те, которые выдвинули Сумарокова.

удаленностью, обеспечивающей для них свободу действий и мнений. В. И. Майков происходил из старинного рода, крепкого традициями. В. М. Приклонский, один из литераторов того же кружка, двоюродный брат Сумарокова — того же родового круга, что и он. «Хорошее», стойкое состоятельное дворянство представляли братья Фонвизины, Денис и Павел.

Кроме этих писателей, к той же литературной группе примкнул и ряд других, иного личного происхождения: заудалых дворян-бедняков (Аничков, Богданович) или же поповичей (Золотницкий, Рубан, потом отошедший и переметнувшийся во враждебный лагерь, и др.). Но именно независимые аристократы образовали облик группы, владели интеллектуальной гегемонией и лишь как их сподручные, работавшие на них, т. е. в том смысле и направлении, которое было дано именно этой социальной группой помещицкой интеллигенции, работали другие.

В середине 50-х годов выяснилось, что европейское образование дало свои плоды. Когда в 1755 году Академия Наук начала издавать свой журнал, к нему потянулись все силы молодой интеллигенции. В первую очередь Сумароков, который неизменно в каждую книжку журнала хотел давать свой материал; он хотел занять первое место в единственном периодическом издании. За ним пошли начинающие: Херасков, Ржевский, С. Нарышкин, Нартов, Порошин и начинающий уже Елагин. Так, академический журнал стал первым приютом народившейся группы. Но это был компромисс. Редактором журнала был все-таки Миллер, немецкий бюргер-гелертер. В Академии, с одной стороны, слишком сильны были элементы импортированной из Германии учености, чуждой и социальному типу и кругу интересов молодых русских аристократов; с другой стороны, Академия была слишком официальным, казенным учреждением, чтобы с ней могла ужиться новая независимая дворянская общественность. Миллер — с одной стороны, Ломоносов — с другой. Будучи врагами в науке и мировоззрении вообще, они оба были в равной мере чужие Нарышкину и Хераскову; неотесанные специалисты знания, мученики наук, продававшие ее российской монархии, простые люди, проводившие годы в далеких странствиях ради собирания материалов для исследований, проводившие дни и ночи в дымных лабораториях, на строящихся фабриках, мастера крепостной индустриализации, фанатики ученых званий, жившие в деревянных покойчиках, вспоминая за кружкой пива о своей буйной студенческой молодости и о медных грошах, давших им образование, счастливые скромным чином, брошенным им императрицей, старательно гнущие перед ней спину и усердствующие в сочинении ей похвал-

ных стихов — эти академики, как русские, так и немецкие, были в самом существе своей культуры и своего социального самоощущения врагами людей круга Хераскова. Недаром, когда люди круга Хераскова заняли руководящие посты в Московском университете, а ученые заняли в нем кафедры, вскоре же начались нелады. Профессора оказались в положении солдат — «простонародья» под командой офицеров голубой крови. Им делали выговоры за непорядки, за грубость, за неподобающее поведение в питейном доме и т. д., а также за неподобающие идеи, за буржуазное вольномыслие (1).

Понятно, что альянс аристократов с академическим журналом был лишь временной мерой. Как только свои журналы появились при Кадетском корпусе и Московском университете, аристократы обосновались там — это были их собственные журналы.

Именно Московскому университету суждено было стать вторым и значительно более организованным штабом новой группы. Основанный в 1755 году по инициативе и по проектам Ломоносова и Шувалова, он должен был обслуживать, с одной стороны, аппарат власти, выковывая кадры мастеров для правительственной политики и экономики, а с другой стороны, и в еще большей степени, дворянскую массу, средних и даже мелкопоместных дворян. Университет был основан именно в Москве, в центре страны, куда легче было послать своих сыновей и небогатым помещикам. Недаром в указе о его открытии объяснено, что Москва была выбрана по соображениям, в которых главную роль играло следующее: «1. Великое число в ней живущих дворян и разночинцев. 2. Положение оной среди Российского государства, куда из округлежащих мест способно приехать можно. 3. Содержание всякого не стоит многого иждивения. 4. Почти всякой у себя имеет родственников или знакомых, где себя квартирую и пищу содержать может...». Эти аргументы имели значение именно для небогатых дворян. Далее говорится и прямо о помещиках, которые воспитывают домашними средствами «детей своих, не щадя иные по бедности великой части своего имения»; им-то и должен помочь университет (Ежем. соч., 1755, I, 101—102).

При университете были открыты и две гимназии: одна для дворян, другая для «разночинцев».

Однако, все руководство университетом было в руках аристократов, связанных с кружком Кадетского корпуса, с молодой культурой русских интеллигентов из родовой знати. Университет сделался рассадником пропаганды дворянских верхов в широких кругах дворянства и даже в среде поповичей, наполнявших его «разночинскую» половину. Он сделался крепостью, в которой окопались дворянская

мысль и дворянская общественность, хотевшая не подчиняться правительству, а диктовать ему свои условия, — пока же настаивавшая на своей незаинтересованности в соучастии во власти, на частном характере своей пропаганды.

Литература на первых же порах стала одним из основных звеньев как учено-образовательной, так и общественной деятельности университета. Литературный курс, празднества с обязательными выступлениями поэтов и прозаиков, усиленные занятия студентов упражнениями в словесности, типография, на ряду с газетой и расписаниями лекций печатающая поэмы и трагедии университетских работников (и не только их), вскоре и театр, организованный именно при университете, наконец, целая серия журналов, издававшихся при нем — все это определяло обилие литературных интересов, скопившихся именно здесь. Чиновниками университета состояли: Херасков, Веревкин, Поповский, потом Богданович — целый ряд писателей. Херасков же заведывал и театром, и типографией, и библиотекой университета. Университетское образование само по себе имело отчетливо выраженный гуманитарный уклон. Опять и здесь, — несмотря на наличие «разночинской» гимназии при университете, несмотря на наличие в числе студентов множества поповичей, несмотря на внутреннюю оппозицию, несомненно бывшую в среде профессоров (1), — преобладающий тон университетской интеллектуальной жизни давали дворяне, во главе которых стояла та же группа независимых аристократов-интеллигентов. Они положительно захватывали узловые пункты культуры.

5

Их мышление о мире как в сфере социально-политической, так и в сфере этико-эстетической обосновано общими для них принципами, крепко связанными с их ощущением своего места в общественной системе страны. Они видели в механизме общества прежде всего иерархию несмешиваемых, взаимно подчиненных и четко разграниченных в своих государственных функциях сословий. Власть помещика представлялась им обоснованной прежде всего именно такой иерархией, в свою очередь основанной на «разумном» распределении обязанностей между несходными частями государственного организма¹ и, с другой стороны, предписывающей специфические этические, бытовые, эстетические, культурные и политические нормы каждой из групп, включенных в эту иерархию.

¹ Соотношение частей организма понималось в свою очередь как механический конгломерат их.

Концепция новых дворянских мудрецов была такова: иерархическая скала сословий опирается на логическую классификацию; на ту же логическую схему опирается наука о моральной и умственной культуре. Ergo: ступени и единицы той и другой классификационной системы должны совпадать. Иерархия сословной должна соответствовать иерархия культурных ценностей, прежде всего ценностей морали и познания. Право рождения оказывается для них правом благородства во всех смыслах этого слова, правом достоинств, но не личных, а осмысленных на месте человека в слепой схеме иерархии. С этим связаны многочисленные рассуждения в стихах и прозе, вышедшие из-под пера писателей сумароковской школы, о том, что дворянин, занимающий высшее место в сословной иерархии, обязан занимать его и в иерархии духовных ценностей, обязан быть образованным, храбрым, честным и т. д. — рассуждения, наводняющие литературу середины века и вовсе не обязывавшие их авторов к демократическим или уравнительным политическим взглядам.

Та же замкнутая, рационально-логически укрепленная, заранее данная и непререкаемая система отвлеченных ценностей лежала в основе художественного мышления и поэтического творчества середины XVIII века. В это время поэзия считалась литературой по преимуществу; проза в основном отходила к области практической речи; между тем речь художественная мыслилась тогда как отрешенная, противоположная практической. Последняя находила свое место в газете, в учебнике, в анекдоте, в авантюрном романе, словом, во всех словесных образованиях, не входящих в ограниченный круг законных и признанных типов произведений, в образованиях, не имевших ни канонизованных образцов, ни ясно сформулированных правил. Эти образования не становились жанровыми, т. е. не включались данным эстетическим сознанием в систему классификации, создававшую особый оттенок при восприятии каждого отдельного произведения. Непоэтическое произведение не могло не восприниматься как случайное, прямо направленное к внехудожественной цели, тогда как ода, трагедия, басня, эклога и др. существовали в атмосфере самодовлеющего достоинства, создаваемого их местом в жанровой классификации, и функционировали в общественной жизни именно как таковые (я опять говорю не об объективном их бытии, а о субъективном переживании принципов их бытия определенной социальной группой, переживании, в свою очередь, являвшемся объективной исторической реальностью и в качестве таковой предстающей историку как объект его изучения). Произведение воздействовало на сознание прежде всего своей жанровой схемой, содержанием, свой-

ственным данному жанру и осуществленным в конкретном произведении постольку, поскольку оно являлось частным случаем, одной из возможных реализаций общей идеи жанра. В обществе каждый отдельный человек мыслился как одно из проявлений единого сословного типа и находил основу и оправдание своего социального бытия в системе сословных рубрик; также и в эстетическом мышлении каждое отдельное произведение мыслилось как одно из проявлений единого жанрового типа, закона, идеи жанра, органически присутствующей в нем; каждое произведение живет не своим единичным, неповторимо-индивидуальным и личным «содержанием», не той конкретной пользой, которую оно принесет обществу, не силой внутренней убедительности индивидуального человеческого голоса, звучащего в нем, а своею закономерной зависимостью от эстетически-ценностных рубрик; польза же и убедительность — результаты всей системы в целом и результаты послушания законам системы со стороны каждого произведения. Безликая власть единого закона подчинения в сознании людей сумароковского круга тяготеет над всеми фактами социального мира, над людьми и произведениями искусства; и те и другие как единицы — ничто; они становятся всем лишь как представители общего закона, рода, класса, лишь включаясь в систему.

В дворянском мышлении середины XVIII века поэзия — это прежде всего «язык богов», сама себе довлеющая система «высокого» или вообще ценного, в чистом виде разумного; она отвлеченна. Искусство, вообще прекрасное, мыслилось абсолютно, т. е. наиндивидуально, обще вне различий душ, эпох, народов или культур. Здесь дело было не в том, что поэзия не говорила о злобе дня; наоборот, Сумароков и некоторые его ученики настойчиво говорили о ней, и многие их произведения могут (а может быть, и должны) быть истолкованы как своего рода передовые статьи; здесь важно то, что поэзия в сознании аристократической интеллигенции не вырастала из быта, а парила над ним, что ее авторитет был авторитетом абсолютной истины, а не авторитетом человеческого документа.

В частности, абстрактное «я», от лица которого ведется речь в произведении данной системы мировоззрения, не совпадало и не стремилось совпасть с воображаемой или реальной личностью писателя, как единичного человека. Тема произведения также обща, хотя та отвлеченная истина, которую оно высказывает, или тот отвлеченный рационалистический анализ психологической схемы общего типа homo sapiens, который оно раскрывает, могут в конечном счете быть приложены к самым конкретным фактам современности. Это приложение могло входить в расчеты автора,

но оно не должно было открыто проникнуть внутрь произведения, т. е. явно составить его конструктивный принцип или конструктивную часть.

Семантический принцип школы не менее того отрешает слово, речь от непосредственно реалистического осмысления. Слово истолковывается как математический знак; оно замкнуто в круг рациональной понятности, оно определено и терминологически ясно. Оно ищет оправдания своего эстетического бытия, принципа своей активности в сфере своих отвлеченно-познавательных возможностей, но не в простом, бытовом значении речи, функционирующей «как в жизни», не в возможностях индивидуальной образности или творчестве новых значений. Даже стихотворные размеры подчинились единой вне-индивидуальной схеме отвлеченно-должного в искусстве. Преобладание ямба, сочетаемого с привычными синтаксическими ходами, сливает огромные массы речевого материала множества произведений ряда поэтов как бы в единый монолит. Этот ямб становится чем-то в роде родового признака поэзии, в котором заключены все реальные ритмические возможности стиха. Несколько иначе — в песнях и многих псалмах Сумарокова: здесь ритмический узор живет музыкально, почти сам по себе; он не рождается из отдельных слов, а предписывается словам, он над словами и как бы до них. Конечно, связь с музыкой сказалась в этом; песня жила в сознании искусства только как текст на напев; недаром Сумароков не печатал своих песен. Значит, размер стиха и здесь звучал как скользящая форма, как нивелирующий принцип.

Ученики Сумарокова сгладили его метрическое разнообразие. У них сложные ритмические образования исчезают; даже простые трехсложные размеры становятся редкостью, исключением. Ямб 4-и 6-стопный, 4-стопный хорей шлюфуются от долгого употребления; поэзия живет в кругу немногочисленных интонационно-ритмических мотивов.

«Чистите, чистите!» — был единственный совет поэту, который Херасков, уже старик, заученно повторял своим молодым друзьям^(?). Это было стремление очистить неизменную абсолютную истину от накипи жизни, т. е., иначе, оградить культуру от практических интересов множества людей. Практика, реальные чаяния и стремления множества людей ниспровергали незыблемость дворянской культуры. Отвлеченная ценность истины оказывалась ценностью собирательного сословного интеллекта, желавшего быть реализацией этой истины. Порабощенность социальных «низов» оправдывалась как закономерное подчинение аморфной массы, не организованной интеллектуальным светом схем истины, тому сословию, которое воплощает, именно не несет с собой, не добывает и хранит для себя, а органически воплощает

эту истину. Аристократия в социальном строе — та же интеллектуальная истина, что поэзия в сфере словесных фактов; масса «смердов» — это стихия практического слова, лишенная рационально-системной основы, но имеющая ближайшие цели в конкретной практике.

Поэзия сумароковцев была социально реакционна уже по самому принципу своего художественного строения. Идеал отвлеченно-прекрасного в данных условиях реализовал консервативность, идею неподвижной системы должного, ту же идею, которая в социальном плане опрокидывалась сословным ретроспективизмом и слепотой на реальное развитие истории, в конце-концов бьющей слепца. С другой стороны, отрешенность от явных целевых мотивировок реализовала мировоззрительную пассивность, свойственную людям, стремящимся сохранить или, в лучшем случае, исправить, а не разрушить и строить. Люди типа учеников Сумарокова видели в своих социальных стремлениях не столько желание нового, сколько требование восстановления исконных прав, свойственных им по рождению и по закону их отвлеченной мысли. Идеи прогресса они не понимали.

Понятно, что отрешенная, рационализированная поэзия учеников Сумарокова, искавшая опоры в теории более, чем в жизни, разделявшая теорию и жизнь, поэзия в высшей степени «литературная» и формальная, что, конечно, не мешало ей быть весьма активной и социально значимой по существу, — такая поэзия стала делом лишь специфически культурных людей, делом, близким к высокому знанию. Эрудиторная сущность ее была очевидна. Для того, чтобы ее создавать и для того, чтобы полноценно воспринимать ее, необходимо было войти в замкнутый круг литературного мира, литературных понятий, а также овладеть сложной техникой литературной работы, нужно было отрешиться от «нехудожественного» мира. Дворянское искусство стремилось замкнуться в сферу творческой активности, якобы отторгнутую от иных сфер деятельности и требующую особой подготовки от желающего приобщиться к нему. Тем самым круг возможных адептов искусства (подлинного искусства в представлении данной группы) сузился до крайности и совпал с кругом людей, которым по праву рождения дарована специфическая культура. Поскольку новая европейская культура людям типа Сумарокова представлялась делом вовсе не общечеловеческим, а сословным; поскольку она мыслилась не только как право и достояние родового дворянства, но и как его обязанность; поскольку она представлялась специфической сущностью и оправданием бытия и власти дворянина — культура вообще, и поэзия в частности, приобрели отчетливые черты характерно сословно-классового занятия

и сферы творчества. Поэзия окопалась от вторжения непосвященных всей сложной аппаратурой высокого знания. И здесь не существенно то, что Сумароков писал не только высокие псалмы, но и «низкие» басни и эпитаграммы; и басни и эпитаграммы составляли особый мир, к которому надо было приобщиться сословной культурой, учебой, знанием, добываемым лишь в данной социальной среде.

В конце-концов, в чисто житейском плане выработался примерный путь, по которому должен был идти начинающий поэт; были установлены как бы правила, обычаи, согласно которым определенные этапы прохождения искусства давали поэту право на его творчество, как бы патент, гарантирующий его подготовленность, его литературную культуру и степень его посвященности. Так, поэты выходили из Московского университета, из кружка Хераскова, служившего в том же университете и объединявшего вокруг него молодые литературные силы. Группа Хераскова была штабом и академией, литературным центром независимых дворян. Она воспитывала своих учеников и питомцев в нужном для нее, в принятом ею как истинное направлении. В конечном счете она не только могла воспитать дворянского сына-интеллигента, уезжающего проводить каникулы в дедовскую вотчину, она могла перевоспитать и поповича, поступившего в университет на правах разночинца, *roturier*, как писали в протоколах университетской конференции того времени. Но равных путей для своих и чужих не было. Свои, по праву рождения получившие культуру, должны были стать командирами, строителями культуры; чужие, получившие ее лишь в порядке выслуги, путем отречения от своего лица, путем социального эпитонства, могли стать чернорабочими культуры, исполнителями чужих приказов, слугами искусства. Примечательно, что впоследствии большинство разночинцев покинуло знамена своих учителей и перевоспитателей. Одни, наиболее глубокие и сильные, стали строить идеологию русской мелкой буржуазии, враждебную вскормившей их идеологии херасковцев (напр., Аничков, Золотницкий); другие переметнулись к партии Потемкина, к культуре Державина, к тем или иным культурно-идеологическим образованиям, которые выросли и вступили в борьбу с гегемонией аристократически-помещичьей культуры в 70-х годах и которые были ближе им по всему складу их социального бытия и самосознания (напр. Рубан).

Характерно также, что разночинцы, перевоспитываемые аристократами, были именно поповичами, а не купцами. Купец-буржуа представлял более внутреннее сопротивление для перевоспитания в аристократическом духе, чем представитель церкви, которая сама была дифференцирована

в России в смысле своих классовых связей. Кроме поповичей, перевоспитывались и мелкие бедняки-дворяне; однако и они оказывались едва ли не менее гибкими, чем поповичи. И те и другие попадали в университет или в кружок Хераскова нередко из духовной академии, иногда проучившись в ней несколько лет. Академия также оказалась отчасти в сфере влияния херасковцев, но все же на поэта, принадлежавшего только к культуре духовной школы, можно было уже смотреть косо; так, литературные враги В. Петрова (сторонники школы Сумарокова, тогда как Петров был поэтом чиновно-придворного кружка), нападая на него, писали, что он «обучал риторике не знаю в каком-то монастыре» (Смесь, 1769, стр. 119. Петров преподавал в Заиконоспасской Московской академии, где он и учился), или что он прежде продавал свои стихи «в Москве на некотором мосту» (Трутьень, 1769, лист 12); здесь уже — барский намек на «низкий» социальный тип культуры и творчества Петрова³⁾. Однако, в академии учился ряд сотрудников херасковской группы — В. Санковский, В. Рубан, В. Золотницкий (в Киевской академии, где до Московской академии учились и первые два писателя); Д. Аничков и М. Пермский учились в семинарии (и, вероятно, А. Вершницкий); но все они потом перешли в университет и все начали свою литературную деятельность в журналах Хераскова. И. Богданович, служивший в университете и, повидимому, учившийся в нем, жил в доме Хераскова и был чем-то в роде его ученика и воспитанника В. И. Майков, вовсе не выходец из «низов», родовой помещик, к тому же полковник, человек с положением, выступает в литературе лишь после того, как проходит через кружок Хераскова, и печатается впервые в журнале этого кружка (Полезное увеселение, 1762). В этом и в других журналах группы появляются впервые имена целого ряда поэтов и прозаиков; другие писатели, напечатавшие прежде по одной или нескольку пьес, впервые раскрывают здесь более полно свое творчество; всего писателей, которые обязаны своим литературным развитием «Полезному увеселению», было двадцать три.

Поэт данной группы, типический поэт дворянской интеллигенции, проходил ясный штампованный путь; от него требовался специальный ценз. Мышление авторитетами делало необходимым знание их, осведомленность в «образцах»; восприятие литературы как замкнутой сферы, кружковство требовало от поэта отчетливого представления обо всем опыте традиций кружков; жанровая классификация обязывала поэта к твердому усвоению жанровых канонов, всех норм и «правил» классической поэтики. Литература застывала в устойчивых консервативных навыках; не успев расцвести, она готова была одряхлеть. Развивался

ретроспективизм, уважение к старинным поэтам; прошло немного времени, и появились научные и любовно приготовленные издания «классиков» — Ломоносова, Сумарокова; стали издавать еще более старых, вплоть до Симеона Полоцкого (Новиков в «Вивлиофике»); тот же Новиков издал первый большой исторический труд о русской литературе, свой «Опыт исторического словаря о российских писателях». Так литература сама стала университетом, школой дворянской культуры; и для того, чтобы стать поэтом, надо было прежде пройти весь курс обучения по определенной программе.

Во всяком случае, именно сумароковские ученики, видимо, впервые в данном периоде культурного развития преодолели кустарщину в интеллектуальной культуре и создали единство группы, укрепленной общими социально-психологическими тенденциями, совместно выступившей в области идеологии. В конце царствования Елизаветы Петровны они вступили в общественную жизнь в качестве носителей особой миссии идеологической пропаганды. Эта пропаганда становилась делом их жизни. Они приписывали своей морализующей деятельности существенное значение. Ни государственная служба, ни даже ученье как таковое не могли быть исчерпывающим содержанием, центром деятельности ни для кого из них. Они были заняты другим. Они были «добродетельны», вернее, они хотели воплотить в своей жизни идеи доступной их социальному самосознанию, рационально обоснованной добродетели. Это не было только фактом их личных биографий. Если Херасков совместил свою историко-культурную роль со своей личной биографией, стал, по крайней мере в глазах современников, живым резонансом, Стародумом, человеком по образу и подобию «философических» и художественных концепций эпохи, то, например, А. А. Нартов ни под каким видом не был Правдиным; его жизнь ушла в другую сторону; его личный моральный характер сильно нуждался в оправдании; ради карьеры он, видимо, не разбирался в средствах (впрочем, и социальный его облик — в лично биографическом плане — несколько иной, чем, например, Ржевского или Хераскова). И все же в молодости Нартов принадлежал к той же группе, что и Херасков, потому что все они объединялись не столько сходством характеров, сколько классовыми тенденциями, задачей творчества в жизни и в искусстве: возделывать моральный рай в кругу московского и петербургского дворянства или, иначе, стремиться к тому, чтобы дворянство выполняло предугазанную ему сословной схемой роль ума и совести страны. Они составляли дружеские группы — Ржевский и братья Нарышкины, Богданович и Домашнев и т. д.; в этих двойственных и тройственных союзах совместно соз-

давали (в творчестве более, чем в быту) тип человека, презирающего внешние блага, углубившегося в самосовершенствование, в книги, проводящего жизнь среди высоких идей, окруженного избранными и не менее его добродетельными друзьями, создавали этот тип, этот образ как бы вне своей личной жизни, как идеальный облик бытового сознания дворянина, правомерно занимающего высокое место в сословной лестнице и претендующего на самостоятельность, на руководство всем обществом в целом.

Будучи интеллигентами, они хотели добиться подлинной власти над умами своих собратьев, родовой поместной знати, а вслед за нею и всех вообще дворян, и потому, претендуя на роль просветителей, они облекались авторитетом книжной мудрости; но они хотели также «исправлять нравы» и создавали в этом смысле подобающий пьедестал для себя в области бытовых представлений о поэте — конечно, не о поэте, как единично-неповторимой личности, но в духе общих принципов их мировоззрения, о поэте как носителе определенного типа сознания.

Поэт оказывался избранником добродетели, отрекшимся от тщеты мелких дел и развлечений в роде карт или пустых салонных разговоров.

Однако, все это не дает права говорить о литературной личности Хераскова или Ржевского или кого угодно из данной группы поэтов. Вообще говоря, облик поэта-моралиста и резонера стоял вне литературы, как бы над нею; он становился мотивировкой активности всей литературы в целом, отчасти оправданием авторитета литературы, но не специфицировал художественной индивидуальности ни отдельного произведения, ни группы произведений, объединенных именем автора (как это было у Веневитинова или Дениса Давыдова).

Житейский, даже официальный путь литераторов из дворян-интеллигентов и в последующие десятилетия оказался сходным, типическим. В последующих главах будет еще итти речь об этом; в последние же годы царствования Елизаветы Петровны и при Петре III они работали вдали от официальной государственной жизни, от двора и даже не смешиваясь с дворянским «светом», на который они смотрели как на паству. Не имея возможности овладеть вполне правительственной властью, они ушли в литературу. Здесь, подкрепленные своими «солдатами» из семинаристов, они образовали достаточно мощное движение, в начале 60-х годов определившееся окончательно. Так дело шло до самого переворота в июне 1762 года. Но уже с 1760 года группа выступает в литературе как организация, работающая по известной идейной программе, — выступает сомкнутым строем в собственном журнале «Полезное увеселение».

Русская журналистика родилась в середине XVIII столетия. Опыты издания журналов до 1755 года оказывались неудачными, журналы были нежизнеспособны. Придворная кружковая литература не нуждалась в журнале, тем более не нуждалась в литературном журнале. Связанность официальной программой деятельности и узость писательского круга не могли предоставить достаточных возможностей для такого сложного предприятия, как издание журнала. Не было и того массива общественной мысли, известной группы общества, на который опирался журналист более позднего времени. Художественные произведения становились известными всему вершущему кругу читателей без всякого журнала — в печати ли, или в рукописи, или в изустном чтении. Журнальная полемика заменялась эпиграммами и памфлетами в стихах и прозе, также находившими пути успешного распространения вне печати: наконец, критика заменялась по преимуществу разговорами и спорами в салоне вельможи или в кабинете ученого.

Конечно, так дело обстояло только в «верхнем» слое литературы, создаваемой вокруг двора и новой европеизированной вельможной культуры. Ниже располагалась значительно более широкая масса читателей иного, архаического типа. Журнал был им пока что недоступен.

С 1755 по 1760 г. в России издавалось три журнала с литературным материалом. В первом из них, «Ежемесячных сочинениях» (1755—1764) изящная словесность стояла едва ли не на последнем месте. Журнал имел научный и научно-популярный характер; в нем печатались статьи по истории, астрономии, сельскому хозяйству и лишь между прочим и в небольших дозах стихи Сумарокова, новеллы Вольтера и т. п. К тому же большая часть художественной прозы и даже кое-что из стихов шло в журнале в порядке сочинений в области умозрительного знания, философии или морали. Выходивший в 1759—1760 гг. журнал Кадетского корпуса «Праздное время, в пользу употребленное» состоял почти исключительно из прозаических переводных статей, главным образом на морально-философические темы; это — в первую очередь журнал учебный. Молодые дворяне упражняются на его страницах одновременно и в российском слоге (и демонстрируют знание иностранных языков), и в морали, необходимой и подобающей «рыцарю» — российскому феодалу, и в познании «людских» бытовых правил, приличий, и в полезных для помещика или служащего дворянина практических науках; в журнале печатались и статьи по ботанике, сельскому хозяйству, военному делу и т. д. В «Трудолюбивой пчеле» Сумарокова (1759) художественная ли-

литература в большом почете; но и здесь много места уделено истории, грамматике и т. п. Проза преобладает над стихами. Однако же именно в «Трудолюбивой пчеле» впервые в русской литературе была реализована попытка организовать журнал не на основе деятельности правительственного учреждения и объединить литературный материал по внутренним признакам неофициального характера; если журнал Сумарокова не очень четок по своей философской и политической программе (хотя и та и другая есть), то он явственно собран вокруг творчества одного писателя, обладающего определенной, осознанной и непримиримо последовательной литературно-общественной программой. Между тем попытка Сумарокова удалась не совсем. Формы литературной жизни предшествующей эпохи не дали вполне осуществить создание литературного журнала. Сам Сумароков воспитался тогда, когда писатели делали свое дело единолично, не помышляя об объединениях, на литературу смотрели как на почти домашнее дело, а в столкновении художественных систем видели по преимуществу личные ссоры однокашников. К 1759 году уже выросла группа учеников Сумарокова; они уже дают свои произведения в его журнал, они готовы сплотиться в литературную, да и не только литературную «партию»; но Сумароков, очевидно, не умел быть вождем группы. Писатели его школы не смогли сделать из его журнала орган школы. «Трудолюбивая пчела» — почти единичное дело Сумарокова. Он пользуется помощью своих учеников в меру необходимости. Журнал несет отпечаток одной личной воли. Ранее Сумароков издавал отдельно свои произведения, теперь он издает их разносоставным сборником (см. майский номер журнала, целиком состоящий из его вещей), включая в него ряд произведений своих учеников. Так, в журнале было помещено всего 130 стихотворений, из них 114 было написано Сумароковым; остальные 16 принадлежали 8 поэтам (6 из них поместило по 1 стихотворению, 1 — два и 1 — восемь).

Автор «Известия о некоторых русских писателях» (Лейпциг, 1768) писал о Сумарокове: «Ежемесячное издание под заглавием «Трудолюбивая пчела» не только основано им, но и состоит большею частью из его трудов». Новиков в словаре писал: «Трудолюбивая пчела, ежемесячное 1759 года сочинение, издано им и большею частью наполнено его стихотворными и прозаическими сочинениями» (Материалы для ист. русс. лит., изд. П. А. Ефремова, 1867, стр. 102 и 133) ⁽⁴⁾.

Первым настоящим литературным журналом, органом определенной писательской группировки, было «Полезное увеселение», выходившее с начала 1760 по июнь 1762 г. в Москве при Московском университете под руководством Хераскова ⁽⁵⁾. Этот журнал открывал серию московских

периодических изданий 60-х годов («Свободные часы» — 1763, «Невинное упражнение» — 1763, «Доброе намерение» — 1764). В «Полезном увеселении» помещались только такие произведения, которые могли быть отнесены к изящной словесности. Кроме стихов, печатались беллетристические размышления на моральные темы, разговоры в царстве мертвых, философические анекдоты и т. п. В противоположность «Ежемесячным сочинениям» весь этот материал осмыслялся здесь в ряду художественной литературы, в зависимости от окружающего его материала, от общей установки журнала, наконец, от стилистической обработки самих статей. За два года (1760—1761) в «Полезном увеселении» лишь дважды появляются прозаические вещи (весьма небольшие), имеющие отчасти характер деловых статей, но и они посвящены вопросам изящной словесности. Это — работы И. Соколова «О комедиях и трагедиях, что они или исправляют, или портят наши нравы» (1760) и Я. Булгакова «Рассуждение о том, что словесные науки приносят ли какую пользу в военном состоянии» (1761). Впрочем, обе статьи могут быть отнесены к жанру литературно обработанных речей, в литературе того времени входивших в круг произведений изящной словесности.¹

Если в середине XVIII века поэзия, стихотворство считались литературой по преимуществу, то «Полезное увеселение» в этом смысле было первым литературным журналом эпохи; стихи в нем преобладают над прозой. Нередко целый номер журнала (он выходил до конца 1761 г. еженедельно, а в 1762 г. — помесечно) состоял сплошь из стихов. В этом отношении «Полезное увеселение» характерно отличается от всех журналов XVIII века. Дело в том, что проза в сознании дворянской литературы до самого почти конца XVIII века — литература второго ранга (за вычетом торжественных речей и т. п., т. е. ораторской прозы); в то же время и журналистика чаще всего помещалась в нижнем этаже системы художественных ценностей, или же она выпадала из замкнутого мира этих ценностей. Признаком художественного была отрешенность от исторически индивидуальной реальности, приближение к общеобязательной нормативной схеме мысли. Между тем, журнал — злободневен и непосредственно направлен на данную историческую среду. Если бы журнал вовсе лишился этого отпечатка

¹ В 1762 г. характер журнала несколько пошатнулся. Между прочим, в нем в этом году были помещены 2 статьи Домашнева: «Рассуждение о пользе математики и физики» и «О стихотворстве». Впрочем, и они не нарушают общего облика журнала, именно как издания, посвященного целиком изящной словесности. Из статей, помещенных в 1760—1761 г., наиболее отвлеченный характер имеет «Рассуждение о бессмертности души человеческой» Д. Аничкова (тогда еще студента) — П. У. 1761, стр. 25—37.

литературного отклика на события, если бы он совсем утратил связь со злобою дня, то, конечно, не было бы оснований вообще для сохранения журнальной формы, т. е. прежде всего для периодического выпуска в свет, для системы подписчиков и проч. Итак, журнал, как словесное произведение, не мог, повидимому, отвечать требованиям, предъявлявшимся в дворянской литературе к эстетическим ценностям высшего достоинства. Издание П. У.¹ было попыткой поднять понятие о журнале на более высокую степень и переосмыслить представление о злободневности на основе философического уточнения все тех же идей, руководивших художественным мышлением данной социальной группы. Создатели П. У. были «любомудрами» своей эпохи; более культурные и более современно мыслящие люди, чем большинство окружавшей их молодежи, они понимали идеи, свойственные этой молодежи и вообще всему социальному кругу, поддерживавшему их, иначе, чем другие. Отказавшись от внесения в свой журнал тем, затрагивавших внешние события сегодняшнего дня, они сочли, повидимому, возможным сохранить журнальный характер своего издания, выдвинув как основу его внутреннюю, идейную и литературную злободневность. Русское, в частности московское, дворянство дико: оно не видит, не знает истины, прежде всего моральной истины, затем философической вообще, эстетической в частности; необходимо немедленно приступить к воздействию на общество; необходимо раскрыть глаза современникам, показать им отвлеченную чистую рациональную истину и доказать им нелепость заблуждения. Это — дело первейшей политической важности, поскольку мораль и культура осознаются как обязанность, обратной стороной имеющая право крепостничества и государственной власти. Задача журнала злободневная, животрепещущая, но содержание его вечное, вневременное. Постепенно, от номера к номеру, небольшими дозами, каждую неделю журнал будет бить в одну точку, настойчиво преследуя свою цель; он учит, агитирует — журнальная форма продиктована отчасти методическими соображениями. Так, самой идеей журнала предопределены и его содержание и весь его характер. В то же время журнал может войти в круг высших проявлений литературного творчества. Именно потому, что на него возложена высокая миссия возвестить истину (мыслимую рационалистично, вневременно и отвлеченно), он должен отринуть рассмотрение конкретных вопросов жизни данного времени. Общая, всечеловеческая мораль, вернее мораль, обязательная для высшей интеллектуальной общественной группы всякого

¹ В дальнейшем эти буквы будут сокращенно обозначать: «Полезное увеселение».

общества, по представлениям руководителей П. У., и есть та конкретная мораль, которая нужна московскому дворянству. Остальное — мелочи и преходящие тени истории, предоставляемые низшей литературе. Таким образом, стихи смогли овладеть дворянским журналом. Удержаться на таком понимании журналистики деятелям П. У. не удалось. В последующих изданиях данной группы проза все возрастает вместе с интересом к «прозаическим» родом творчества.

«Полезное увеселение» — первый русский журнал с направлением, журнал, объединивший весь материал, помещаемый в нем, на осознанной идеологической платформе вне правительства и его инициативы. Правда, П. У. издавалось при Московском университете, редактор его, Херасков, был служащим университета, а целый ряд сотрудников был связан с университетом: одни учились в нем, другие служили. Тем не менее «Полезное увеселение» не может считаться только университетским журналом; в числе активнейших сотрудников его были люди, к университету не причастные, да и в содержании его было бы трудно усмотреть какую-либо связь с деятельностью университета (за вычетом нескольких «Рассуждений», имеющих характер школьных упражнений).

«Полезное увеселение» — журнал определенной литературной группы. Характерен такой факт: Андрей Андреевич Нартов, сотрудничавший в «Полезном увеселении», жил в Петербурге. Это видно из того, что его комедии ставились на сцене в Петербурге, а не в Москве, что его Ода и Эпистола 1762 г., перевод «Генриха и Пернилы» и другие произведения 1760—1765 гг. напечатаны в Петербурге, что он с 1765 г. принимал активное участие в работе Вольно-экономического общества в Петербурге (он в это время продолжал службу там же, где был и в 1760—1762 гг.). Следовательно, несмотря на трудности сообщения того времени, Нартов считал необходимым печатать свои произведения в московском журнале¹, тогда как он мог, конечно, поместить их и в «Праздном времени, в пользу употребленном», издававшемся в Петербурге (при Кадетском корпусе, где он учился в свое время). Очевидно, что он избрал московский журнал как такой, направление которого соответствовало его образу мыслей. Так, перед русским писателем едва ли не впервые стал четко вопрос об идеологической ответственности, связанной с участием в том или ином издании, а перед журналом — вопрос о подборе сотрудни-

¹ Он или присылал свои произведения в Москву, или же давал их в журнал в отдельные приезды в Москву. Оба эти предположения подтверждаются тем, что все подписанные полным именем произведения Нартова в журнале помещены четырьмя группами, отделенными друг от друга большими промежутками: в июне 1760, в августе 1760, в феврале 1761 и в январе 1762 г.

ков по признаку общности взглядов. Сумароков также присылал свои произведения в «Полезное увеселение» из Петербурга.

Мы можем предполагать, что сотрудники «Полезного увеселения», жившие в Москве, составляли дружескую группу, организованный кружок. Новиков (а вслед за ним и Болховитинов) в своем словаре говорит об участии в «Полезном увеселении» писателей, подписей которых в этих журналах мы не находим, например М. И. Веревкина («много... стихотворных сочинений, напечатанных им в «Полезном увеселении» в 1761 г.»¹ между тем, в 1761 г. в «Полезном увеселении» было помещено только два анонимных стихотворения (в 1762 г.—одно). То же и о А. Ф. Каменской (впоследствии Ржевской) и о единоутробном брате Хераскова, Н. Н. Трубецком.² Следовательно, указание Новикова не точно. Но ведь он составлял свой словарь в 1772 г., ведь он был лично знаком с сотрудниками московских журналов, пользовался советами и справками Сумарокова и т. д. Может быть, правильнее всего было бы понять его неточность в том смысле, что данные писатели принадлежали к группе Хераскова, входили в его кружок. Если это так, становится понятной ошибка Новикова: он помнил состав кружка поэтов, издававших журнал, но мог забыть, кто именно из этого кружка и что печатал в нем. Отсюда возникает мысль о том, что дружеская группа московских писателей существовала в начале 60-х годов и что она была еще многочисленнее, чем это можно было предполагать по числу сотрудников журнала; последних было в «Полезном увеселении» всего 25.

Возможно, что группа П. У. явилась наследницей (или продолжением) общества при Московском ун-те, об основании которого в 1757 г. говорит Шевырев (Ист. Моск. ун-та; 1855, стр. 52). Впрочем, никаких сведений о существовании этого общества с 1758 по 1760 г. в литературе, кажется, не имеется.

Я не буду говорить здесь о тех художественно-конструктивных принципах, которые лежали в основе творчества сотрудников «Полезного увеселения». Они были выразителями единого литературного направления и почти все в большей или меньшей степени осуществляли и продолжали в искусстве пути Сумарокова. Будучи учениками Сумарокова, они перерабатывали его наследие в духе растущего рационализма и морализма.

¹ Указание Новикова на 1761 г. достоверно, так как в 1760 г. Веревкин был в Казани.

² Новиков пишет, что их стихотворения помещены в каких-то, ежемесячных сочинениях; но до 1769 г. в Москве издавались только «Полезное увеселение», «Свободные часы», «Невинное управление» и «Доброе намерение». А в 1769 г. Ржевская умерла.

Херасков и его группа как бы усиливают моральный вес литературы, культивируя морально-философические темы в пределах целого ряда жанров. Но такие темы, по их взглядам, не необходимы для того, чтобы искусство было правильным искусством, построенным по тем канонам, которые они, сумароковцы, признали истинными. Так, например, эклоги или многие из элегий, помещавшихся в «Полезном увеселении», лишены моральных тем и тем не менее входят наравне с другими в творческую работу группы, не выпадают из системы школы и программы журнала. Ригористический утилитаризм в понимании искусства, воспринятого преимущественно в плоскости тематики, был чужд группе Хераскова.

Укрепив журнал единством литературной идеологии, сотрудники «Полезного увеселения» укрепляли его и на сознательном отношении к вопросу о роли литературы в обществе, о задачах их журнала в частности.

Дворянской (и не только дворянской) литературе XVIII века было свойственно представление о том, что разумное слово способно творить чудеса. Бедствия мира происходят от неразумия, оттого, что истина неведома людям. «Порочные» люди не видят того, что порок нелеп, а добродетель необходима и полезна. Стоит раскрыть людям глаза, и все пойдет хорошо: порочные немедленно исправятся, и жизнь людей станет прекрасной. Результаты такой операции должны сказаться мгновенно. Предполагалось, что несколько литературных произведений могут успешно оздоровить общество. Автор «Драматического словаря» 1787 года считал, что Сумароков «много успел в разных своих сочинениях в рассуждении умягчения нравов» и что ему «воспитание много обязано»; он заявляет, что из-за стихов Сумарокова прекратились плутни подьячих, долгие тяжбы и т. д. Сам Сумароков, обращаясь к императрице с жалобами, объяснял ценность своего творчества и необходимость поддержать его следующим образом: «Здесь театр надобнее, нежели в Петербурге, ибо и народа и глупостей здесь больше. Ста Молиеров требует Москва, а я при других делах по моим упражнениям один только» (письмо от 4 июля 1769 из Москвы. Летоп. р. лит. и древн., т. IV, 1862, отд. III, стр. 31); или: «Желал бы я видети в Москве основательной и порядочной театр, а особливо, что здешние нравы великой поправки требуют»... (письмо от 26 марта 1772. Летоп. р. лит. и древн., 1859—1860, кн. 6, стр. 60); или: «Естьли угодно вашему императорскому величеству видети в Москве театр, и чтоб можно было приступить особливо к поправлению здешних развратных нравов»... и т. д. (письмо от 30 апр. 1772, там же, стр. 64);

или: «А я думаю, что и комедии мои не меньше поправки сделать могут, сколько принести увеселения и смеха, а комедии Москве и ради прогнания невежества премудрому вашему правлению всеконечно угодны быть должны, и России они всеконечно много плода принесут (там же, стр. 65. П. Н. Сакулин, Русская лит., М., 1929, т. II, стр. 212).

Рассуждения о пользе, проистекающей от литературных произведений, изданы в XVIII веке; их много и в «Полезном увеселении» (6). «Чтение книг есть великая польза роду человеческому», — такова первая фраза первой статьи «Полезного увеселения»; статья эта вводная, программная; в ней говорится об искусстве чтения и о выборе книг, о том, что «нужно читать книги умеючи»; автор статьи, по всей вероятности, Херасков. Но сразу же, давая пропагандистскую установку журналу, он уточняет круг людей, на которых направлена пропаганда: «Чтение книг есть великая польза роду человеческому, и гораздо большая, нежели все врачеванье неискующих медиков. О сем можно сомневаться тому, кто книг не читывал; однако великая разность читать, и быть читателем. Несмысленной подъячей с охотой читает книги, которые писаны без мыслей, купец удивляется, по их наречию, виршам, сочиненным таким же невежею, каков сам он; однако они не читатели». Граница между литературой, сторонником которой является Херасков, и «низовой» литературой «третьего сословия» проложена четко и укреплена непримиримым классовым самосознанием аристократа. Постулируя различие сознания людей разных классовых групп, в его понимании — разных сословных рубрик, Херасков, однако, твердо стоит на признании только одного из этих типов сознания полноценным в смысле адекватности его абсолютной рациональной истине — именно только сознания дворянина. Однако, по его мысли, сознание это не дано в своем предельном и совершенном виде, так сказать, только лишь фактом рождения дворянина в дворянской семье.

Родовая культура мысли и положение в сословной иерархии предоставляет дворянину (настоящему, родовому дворянину) возможность приближения к познанию истины. Наука и искусство призваны прояснить в сознании дворянина потенциально заложенное в нем представление об истине; пропаганда словом призвана добиться реализации этого прояснения в общественной морали. В результате именно литература, приводя дворянство к сознательности в области мысли, вершит важнейшее дело осуществления дворянства как такового, поскольку несознательный дворянин — тот же «мужик», и именно постижение абсолютной истины дает ему права власти, тогда как все другие сословия пробавляются своими частными, конкретно-исто-

рическими, связанными с практикой их быта, словом, не «чистыми», не подлинными «правдами». Сумароков писал:

Какое барина различье с мужиком?
И тот и тот земли одушевленный ком.
И если не ясней ум барской мужикова,
Так я различия не вижу никакова.

(Сатира «О благородстве», напеч. в 1774 г.)

Культура, которую хочет пропагандировать Херасков космополитична; это характерно для дворянской культуры вообще. В том же 1-м номере журнала помещена статья «Письмо», тоже, повидимому, принадлежащая перу Хераскова, в которой речь идет об истинной науке в противоположность формальному геллертерству. Автор этой статьи, также не лишенной характера программности, презирует ученость академического типа, ученость профессиональную, но не реализуемую в морали. Речь идет о философии, от которой автор требует, чтобы она воплощалась в сознании, а не набивала память «глупого педанта», «школьного философа» конкретными знаниями и терминами. Сама по себе установка статьи, без сомнения направленной против профессионалов-ученых, может быть, против университетских профессоров, примечательна. Не менее того интересно и определение истинного философа: «философ не что иное, как гражданин всего света, спутник добродетелей, ненавистник пороков, истолкователь таинств природы и указатель пути, которым человеку к блаженству достичь можно». Итак, прежде всего «гражданин всего света».

Убеждение в быстром воспитательном эффекте литературного произведения не один раз было сформулировано: на страницах «Полезного увеселения».

Как-будто бы диссонансом во всем этом оптимистическом хоре звучат стихи Сумарокова (они не были изданы при его жизни):

Грабители кричат: бранит он нас!
— Грабители! не трогаю я вас,
Не в злобе, в ревности к отечеству дух стонет;
А вас и Ювенал сатирую не тронет.
Тому, кто вор,
Какой стихи укор?
Ворам сатира то: веревка и топор.

(П. С. С., IX, 125).

Я не знаю, когда было написано это стихотворение, но не думаю, чтобы в нем проявилось какое-нибудь временное настроение, разочарование, мысль, противоречащая всей установке Сумарокова и его школы. Ни Сумароков, ни Херасков не думают исправлять «мужиков». Их творчество рассчитано на культурное сознание, т. е. на сознание, культивированное дворянской идеологией. Между

тем «грабители» и «воры», о которых говорит в своей «эпиграмме» Сумароков — это ведь «подьячие», откупщики и т. п. люди, т. е. мещане, «мужики», люди, чуждые теоретической мысли, как ее понимает Сумароков, люди, недоступные пропаганде рациональным словом. Их Сумароков, действительно, никогда «не трогал». Он, действительно, обращался не к ним, а стремился к ущемлению их под влиянием «рвности к отечеству»; он не хотел исправить их резкими выпадами против них, а обращался со своими обвинениями «подьячих» к дворянству и дворянской власти, добываясь усиления помещичьего режима, консолидации дворянства против третьего сословия, правительственной политики, направленной против дельцов из «неблагородных». Эти последние — неорганизованная масса, которая призвана повиноваться, а не действовать самостоятельно. Некультурность (с точки зрения норм помещичьей культуры) — закон ее существования, вместе с практицизмом и рвачеством. Пропаганда истины среди них была бы не только бесцельной, но и неправомерной, незаконной. Более того, Херасков и его сотоварищи скоро убедились в том, что и дворянство не все целиком имеет права интеллектуального процветания, что оно не все может выполнять функции мозга государственного организма. Приходилось еще более сузить сферу воздействия идеологического слова, ограничив ее именно лишь кругом культурных помещиков, самостоятельных и в экономическом и в умственном отношении, и кругом людей, подчиненных влиянию этой помещичьей культуры. Ни правительственные чиновники — сверху, ни «чернь» — не только недворянская, но и дворянская — не могут входить в число избранных.

Насколько просто и конкретно понимали участники П. У. полезность, организационно-воспитательную роль того литературного увеселения, которое они хотели доставить окружающему их дворянскому элите, видно из произведений, открывающих журнал в 1761 г. (ведь и название журнала извлечено из формулы Горация — *Miscere utile dulci*, ставшей общим местом). Приступая к изданию журнала, Херасков и его единомышленники думали, что под влиянием их проповеди московское дворянство начнет быстро исправляться, покидать пороки, становиться добродетельным и культурным. Им казалось, что такая метаморфоза может произойти почти сразу, может быть, в несколько месяцев. Они твердо верили в силу истины. В эпистоле Хераскова, напечатанной в № 19 П. У. (май 1760 г.) речь идет о пороках, прикрывающихся личиной добродетели:

Поддай о! Диоген, поддай светило мне,
Которым бы я мог проникнуть мрак сердец,
Притворства снять покров и обличить коварство;

Представить злостью злость, лукавый дух лукавым.
Как части дерева, чрез сырость разрушась,
Прельщают нас в ночи, имея ложный блеск:
Так души, в кои все пороки вкоренились,
Приемля чести луч, когда на них блеснет,
Исчезнет ложный свет, откроется порок...

Конец эпистолы совсем знаменателен:

. в свете добродетель,
Лишь только в тех живет, в ком мысль и сердце чисто,
И что притворной дух, где злобы яд кипит,
Есть то, что мы зовем невинных душ врагом,
Который день и ночь род смертных искушает,
Невидим будучи, сердца влечет в погибель.
Избавиться сего, других орудий нет,
Как лишь в душе своей всечасно свет иметь,
И оным прогонять всех лицемеров тени,
Которыми они покрыв нас развращают,
Когда в сердцах своих огонь чистой мы возжем,
Как тень пороки все пред светом пропадут:
Отложит наш Тартюф тщеславно лицемерство;
Увидим в щедрых мы немало Гарпагонов;
И пышные тогда окажут слабый ум;
Ласкатели у всех в презрение придут;
Увидим множество сердец мы развращенных,
Которы кажутся совсем нам непорочны;
Как их покров спадет, завянут лавры те,
Которые они осмелились носить;
Порок поглотит ад, возникнет добродетель,
И счастье общее в сей век златой умножит.
Так света нужного поищем мы в себе,
Зажжем в сердцах сей огонь, в покое будем жить.

Очевидно, что здесь изложена морально-пропагандистская программа не только журнала, но и деятелей, сгруппированных вокруг него.

Ты пением своим невеж увеселишь,
И грубость их сердец как Амфион смягчишь.

— говорит Херасков в другом месте, обращаясь к поэту (Письмо П. У., 1760, декабрь, № 21) и выше объявляет, что поэзия должна очищать умы читателей.

Однако время шло, а пропагандистская деятельность журнала и его сотрудников не приносила ощутительных результатов. Наоборот, эта деятельность вызвала в московском обществе неприязненные отклики. Рядовое московское дворянство вовсе не было довольным тем, что его начали учить и наставлять непризванные к этому властью люди. Без сомнения, старозаветное российское бюрократически рабское мышление продолжало преобладать и в дворянской среде. Страх перед властями и еще больший страх перед всем, не апробованным официальной властью, должен был заставлять чураться неофициальных учителей жизни, настаивавших притом на своей неофициальности. Авторитет истины

и культуры дворянской морали, во имя которого они действовали, не мог поколебать авторитета тайной канцелярии и, наоборот, становился подозрительным в ее присутствии; идеи же независимости от правительственной машины вольных помещиков представлялись, конечно, идеями если и заманчивыми, то во всяком случае, совершенно непозволительными. Это были вольнодумные идеи.

Что же касается вельможной верхушки дворянства, то она должна была видеть в самом факте существования и деятельности Херасковского кружка нечто антиправительственное, подрывающее основы; также должны были смотреть на него и «подьячие», т. е. чиновники, весь служебный аппарат власти. Не более сочувственно могли относиться к группе «Полезного увеселения» читающие «мещане», купцы и прочие представители нарождающейся интеллигенции третьего сословия в той части, которая не подпадала влиянию дворянских литераторов; для этих — херасковцы были врагами по самому существу своей социальной позиции. Итак, дело русских дворянских просветителей-феодалов оказалось неблагоприятным. Херасков в стихотворении «О клеветнике» (П. У., 1760, март, № 10) говорит о злобных сплетниках:

Не мстит ли бог тому, кто кровь свою поносит,
Кто всюды о своих домашних зло разносит?
Что ж сделал тот ему, кто спеть что не умел?
Обидно ли ему, что худо я запел?
Чем тот ему вредит, кто в роскошах воздержен,
Влюбившейся за что ругательству подвержен?
Нанес ли зло ему, что с кем-нибудь дружусь;
Что он ругательством, я книгой веселюсь?
За что досадою в нем мысли закипели,
В беседе что друзья без ссоры просидели?...

Повидимому, нарекания «клеветников» вызывали и собрания кружка, и аффектацию дружбы как одного из пунктов его моральной программы, и самое литературное творчество кружка. Недаром «Полезное увеселение» считает необходимым вести развернутую пропаганду дружеских союзов, как низовых ячеек единого союза образцовых дворян (помимо многократного отражения этой темы в стихотворных «письмах» см. напр. перевод Я. И. Булгакова «О дружестве», 1760, октябрь, № 16 или «Станс» И. Богдановича, 1761, май, № 17, стр. 151). Недаром также тема «клеветника» — одна из наиболее часто всплывающих в журнале. С удивительной настойчивостью, в самых различных жанрах говорят о злых сплетниках и клеветниках сотрудники Хераскова и в первую очередь он сам. У них выходит так, что клеветники — самые опасные люди в обществе, и борьба с ними стоит для них на первом плане, среди основных разделов их работы⁽⁶⁾. Не довольствуясь

журналом, Херасков выносит ту же борьбу в комедию («Не-навистник», написанную в 1770, представленную в 1779 г., «Безбожник», 1761 г.). Без сомнения, клевета сильно мешала кружку «Полезного увеселения»; работать ему приходилось во враждебном окружении. Тема «клеветников», по виду столь невинная, столь обще-моралистическая и далекая от конкретных фактов исторической действительности, вскрывается таким образом как тема социальной борьбы, вполне конкретной и острой. Хераскову и его сотрудникам необходимо было не только бить врага, представляя «клеветника» злодеем, но и отвести от себя подозрения весьма бдительной власти, представляя врага «клеветником», т. е. заверяя всех и каждого, что враждебные обвинения — ложны, что ничего злокозненного в деятельности кружка нет. Позиция журнала была таким образом достаточно двусмысленна, не слишком прямолинейна. Иначе и быть не могло; ведь «просветители» были помещиками, и правительство даже и в это время было им не чужое, так же, как «общество» (?).

Во всяком случае то, чего ждал и что предвещал Херасков в своей эпистоле, не произошло. Прошел год, и исправление нравов не наступило. Группе пришлось пересмотреть свои позиции и притти к заключению, что порицанием пороков не добьешься исправления порочных, что задача по линии культурной борьбы состоит в укреплении дворянской интеллигенции как таковой, в подготовке ее к дальнейшей положительной работе.

Первый номер «Полезного увеселения» состоит из двух эпистол-«писем» (А. Нарышкина к Ржевскому и Ржевского к А. Нарышкину) и статьи Хераскова (под названием «Письмо»). Херасков пишет: «Думая о предприятии нашем, продолжать сочинения, размышляю: могли ли прошлогодние принести какую пользу? Намерение, которое мы имели при издании оных, клонится к защищению добродетелей, к обличению пороков и увеселению общества. Все сие имело ли свое действие, сомневаюсь. Вижу я беспристрастными глазами и со внутренним сожалением, что порок обличен мало. Скупой, видя зеркало презренной своей страсти, любит, и думает, что другого в нем видит; клеветник, читая о своем гнусном пороке, плещу из того имеет, и на собственное свое обличение острит жало; гордой возносится, и недостойным слуха своего почитает то, что сердце его укротить должно. Невежа безумием называет, до чего разум его достигнуть не может. Мот излишним временем почитает взглянуть на изображение его страсти; завистник теми же злобными глазами смотрит на лице свое, и тем же вредным языком ругательства о нем рассеивает; словом, каждой порок черпает из того другую злобу.

Или сила сочинений развратные сердца слаба поразить была, или вредные страсти так отвердели, что их ничто поколебать не может. Сие бы, привело в отчаяние, если бы размышление не подало некоторого удовольствия и ободрения духу. Сию мысль сообщаю всем трудящимся в сем сочинении, которых искусство, разум и способность к одному намерению клонились; дабы и из неудачи некоторой полезной плод извлечь можно было.

Я хочу в начале изъяснить то примером, что требует открытого доказательства. Когда человеки еще не имели искусства созидать себе от лютой непогоды убежища, тогда от зною в тени деревьев укрывались, град и дождь в шелаши их загоняли, от стужи в земных пещерах защищались: подобно сему утесненная добродетель в сердцах любителей ее покоится, похвалами и оправданиями, которые сердца трогают и к ней обращают, она питается, обличение пороков есть ее жертва; чем больше она провещателей ее славы приятностей и красоты слышит, тем над страстями выше возвышается; и самой великолепной храм ее имени стоит то, что поражая пороки остроумно ее превозносят.

Сей дар частью она и от нас приемлет; ибо много сердец ею обитаемых прославлениями ее наслаждаются, и удовольствие, которое на многих лицах любителей добродетели при чтении наших песней в похвалу ее изображается, вливает обратное удовольствие в сердца тех, которые превознести ее искусство имели.

Пускай же гибнут пороки в своем неистовстве, пускай их злоба самих их терзает, пускай истина и обличение им не чувствительны, и мы в сем намерении неудачны, то по крайней мере, прославляя по нашей возможности добродетель, и сделав удовольствие ее любителям, пользу и увеселение обществу принести могли». На этом кончается «Письмо»⁽⁸⁾.

Таким образом пропагандистской роли во-вне Херасков предпочитает теперь организаторскую роль внутри круга посвященных. Общий характер моралистической тенденции журнала тем более определяется; это — издание, имеющее целью самовоспитание дворянской интеллигенции. Не борьба, а учительство, вернее, таинство на глазах у публики — вот задача журнала. Он должен обнаружить и прославить истину; остальное приложится.

Отвлеченность морального учительства, характерно осуществляющая типические формы мысли и деятельности русских феодалов XVIII века, торжествует здесь свою победу, но в то же время провозглашается отказ от прямой борьбы в угоду подготовке и собиранию сил. Время борьбы еще не пришло. Мы присутствуем при нарастании волны, еще не достигшей достаточной силы для ударов, при созревании группы, пока еще только воспитывающейся для борьбы.

Между тем сроки близились, и если одних неудача первой попытки борьбы словом за свои этические и бытовые (и обще-социальные) идеалы заставляла думать о передышке, о необходимости ухода во внутригрупповую работу, о воздействии на общество примером, то других, может быть, аналогичные неудачи заставляли притти к обратным выводам: борьба словом должна была замениться вооруженной борьбой; литература должна была уступить место политике, и вместо кружка литераторов должны были начать действовать заговорщики. В самом деле, прошел год — и вместо Хераскова заговорил Никита Панин; вместо издания журнала люди того же круга и той же культуры попытались путем переворота захватить власть в свои руки. Поза не-официальности любомудров и моралистов кружка Хераскова вскрылась тогда в своей сущности, как выражение антиофициального, оппозиционного настроения. Недаром поэты П. У. так мало писали похвальных од. Как только переворот произошел, они попытались сделаться именно официальными литераторами, они пошли на службу своему правительству. Подготовка кончилась.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. Дворянская честь и воспитание дворянства.— 2. Классовое расслоение в идеологии Сумароковской группы.— 3. Борьба с „подьячими“ и „откупщиками“.— 4. „Борьба с „двором“.— 5. Тяга в деревню.— 6. Этика писателей дворянской фронды.— 7. Отношение их к церкви.

1

Как социальная сила, слой состоятельного, среднего и высшего дворянства к середине XVIII века был консервативен. Он стремился обосновать свои завоевания как родовую традицию. Обоснование это было в сущности ложно; тем не менее оно прививалось необычайно быстро и прочно. Русский помещик, владевший крепостным трудом в достаточном количестве, чтобы заниматься культурой и высшей политикой, чувствовал себя аристократом. Консервативность социальной позиции связывалась у него с идеей традиционализма, незыблемости родовых преданий власти, культуры и морали. При этом русская псевдо-аристократия обращалась больше к представлениям о западно-европейской знати прежних времен, чем к подлинным фактам своей истории; эти представления дополнялись ретроспективными фантазиями.

В старой русской исторической науке не мало говорили о борьбе «породы» и «чина» в русском дворянстве XVIII века. «Чину» была открыта дорога табелью о рангах. Однако, в сущности дело здесь было не столько в табели о рангах, сколько в конкретной каждодневной практике монархии. Выслуга дворянства чинами была делом не простым и не частым в XVIII веке; жалование дворянства камердинерам, истопникам, конюхам, певчим (и затем откупщикам, «предпринимателям») — вот что беспокоило столбовых помещиков, поскольку эти камердинеры вместе с дворянством получали чаще всего сотни и тысячи душ, поскольку в их руки попадали нити императорского бюрократического ап-

парата. Вопрос о степени зависимости дворянства, представляющего собою незыблемый институт, от произвола деспота, от конкуренции родовой земельной аристократии с новыми жалованными магнатами занимал в середине XVIII века представителей этой аристократии. Во всяком случае, идеология литераторов круга Сумарокова и Хераскова так же, как идеология политических деятелей круга Панина, словом, дворянской интеллигенции, составившей полу-оппозиционную силу к началу 60-х годов, была идеологией «породы», хотя бы идеологизированной *quand même*.

Щербатов удивлялся тому, что в старину Петр I, «не разбирая ни роду ни чинов, бивал приближающих к нему. Не может сие в наших обычаях, им же введенных, не странно показаться, и многие из нас конечно восхотят скорее смертную казнь претерпеть, нежели жить после палок или плетей». (Сочинения, т. II, 1898, стр. 40).

В самом деле, идея неприкосновенности личности дворянина и связанные с нею представления о дворянской чести, о *point d'honneur*, обязательном именно для дворянина, и только для дворянина, так же как привилегия носить шпагу предоставлена ему для защиты своей неприкосновенности, — «дело новое, прививное для нашего шляхетства XVIII столетия», прививающееся только во второй трети этого столетия (Романович-Славатинский. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права, изд. 2-е, Киев, 1912, стр. 61). В это же время начинают строиться теории норм поведения дворянина как бытовых, так и этических. Пропагандой последних занималось, например, «Полезное увеселение». Пропаганда бытовых норм выразилась и в уроках шляхетного корпуса, и в увлечении театром, и в культуре придворной жизни, и в культуре салонов вообще, и в моде приглашать для своих детей французских учителей, и, наконец, в издании особых книжек вновь после «Юности Честного Зеркала». Тут и «Наука быть учтивым», переведенная с французского языка и изданная в 1774 году «Обществом старающимся о напечатании книг» и потом переизданная дважды, в 1780 и 1787 гг., преподающая правила хорошего тона, или в другом роде — «Экономия жизни человеческой, или сокращение индейского нравоучения»... и т. д., переведенная с французского «лейбгвардии преображенского полку сержантами князь Егором и Павлом Цициановыми», изданная четыре раза (1765, 1769, 1781 и 1791 гг.) при Московском университете, содержащая сводку правил социально-бытовой этики (эта же книга имела и другие переводы); или «Друг девиц», сборник наставлений для дворянских девушек, переведенный с французского же Павлом Фонвизиным и изданный при Московском университете в 1765 г., или «Светская школа или отеческое на-

ставление сыну о обхождении в свете чрез г. Ле-Нобль, с франц. перев. С. Волчков» 1761 и т. д.¹ Изданием таких книжек занимались не макулатурщики и книжные спекулянты, как в XIX веке, переводили их не ремесленники пера из «низов» мещанской литературы, а, наоборот, они изготовлялись на вершинах дворянской культуры и рассчитывались на распространение в среде образцовой дворянской молодежи.²

Проблема воспитания дворянина становится одной из центральных в мировоззрительных и практических исканиях, и именно прежде всего в кругу аристократической помещичьей интеллигенции, которая в своей литературе детально и многократно пытается разрешить эту проблему в плоскости идеи о сословных добродетелях, сословной культуре, сословной чести. Родовые культура и честь должны были, по замыслу носителей данной идеологии, прививаться дворянскому ребенку с первых же дней его жизни. Херасков горячо протестует против обычая поручать детей нянькам, мамкам или дядькам из крепостных, что мешает исполнению необходимого плана воспитания. Фонвизин на протяжении всей своей драматургической деятельности неоднократно возвращался к вопросу о воспитателях и воспитании дворянских детей. Вопросы воспитания наполняли журналы, вызывали специальную литературу, потом, в пору частичного прихода к власти интеллигентов-аристократов, реализовались в практике екатерининских институтов, в реформе кадетского корпуса; потом, уже в пору падения данной общественной группы, ушедшая в оппозицию часть ее окапывается вновь в Московском университете, и тут же вырастает Московский благородный пансион, цитадель дворянской культуры, донесшая херасковские традиции мировоззрения в измененном виде, но в непрерывной преемственности вплоть до поколения Жуковского.

Дворянская честь, дворянский тонор, *point d'honneur* — это основа дворянской этики. К словам Щербатова своеобразной иллюстрацией может служить письмо Сумарокова к И. И. Шувалову от 23 мая 1758 г. Его, Сумарокова, родоначальника дворянской литературной интеллигенции, во дворце, в комнатах Шувалова, граф Чернышев обругал ворм. Он в отчаянии; он оскорблен еще более, чем был оскорблен Ломоносов, когда тот же Шувалов мирил его с тем же Сумароковым. Но разница в том, что Сумароков оскорблен не только как человек, но и как дворянин; свое

¹ В моем экземпляре «Науки быть учтивым» (1774) есть надпись владельца — князь Василья Мышицкого.

² Ср. также напр. статью «Рассуждение о приятностях сообщества» (Еж. Соч., 1756 г., I, 153), своего рода трактат о светском быте, переведенный Александром Воронцовым, которому было тогда 15 лет.

ошельмованное дворянство он выдвигает на первый план, а не уязвленное самолюбие, как таковое. «Я не граф, однако дворянин, я не камергер, однако офицер и служу без порока двадцать семь лет... Кто думал, что это мне кто скажет когда-нибудь, потому только, что он больше моего чину и больше меня поступи по своему счастью имéет»... и т. д. и т. д. И опять: «*apresent je voi Monseigneur que ce peut que d'être Poete, gentilhomme et officier. J'ai ne pas dormi toute la nuit et i'ai pleurée comme un enfant, не зная, что зачать*»... «а впрочем гр. Чернышев напрасно меня побить хвалился, ежели это будет, я хочу быть не только из числа честных людей выключен, но из числа рода человеческого. Monseigneur, suis je esclave que d'être traitée ainsi? Suis-je son domestique? Я подвергался великому несчастью, только советую, чтобы никто, в ком есть хоть капля честной крови, нападений не терпел, а что я стерпел, тому причиною дворец и ваши комнаты. Впрочем, верьте, что его сият. гр. Черн. может меня убить до смерти, а не побить, ежели мне рук не свяжут, а в том честию моею вам милость. г-дрь клянусь, да и никакова доброва дворянина или офицера; а что я остался еще будто спокоен *après ce grand coup*, я остался *par embarras et je n'avait point de présence d'esprit*, чтобы вздумать, что делать, а притом боялся прогневать вас; *tout ma vie est changée et il 'ne me reste plus qu'a mourir*».

Удивительна в этом письме смесь нового представления о дворянском гоноре со старозаветным рабством. Сумароков уже знает, что оскорбление словом непереносимо для дворянина, что оскорбление действием для него хуже смерти, он апеллирует к понятию «честной крови», — характерная формулировка сословного признака «благородного» — и к клятвам своею честью. А в то же время он только плачет как ребенок и «не знает, что зачать», — не может «вздумать, что делать» в таком случае. Пройдет два-три десятилетия, и дворянин, вскормленный культурой, начинателем которой и был Сумароков, не будет сомневаться, — он твердо усвоит необходимость кровавого «удовлетворения» за оскорбление дворянину. Еще позднее, дворянин и офицер не мог бы продолжать свою карьеру, будучи оскорблен (ср. в «Маскараде» у Лермонтова) и не получив удовлетворения. Но Сумароков, видя, что он ошельмован, и не ищет удовлетворения по той причине, что он был во дворце и у Шувалова и боялся «прогневить» вельможу. Кроме того, Чернышев мог не принять вызова Сумарокова и, может быть, поступить с ним «деспотически». Положение, значит, объективно было такое, что Сумароков, хоть и дворянин, не был равен Чернышеву, и не потому, что тот был титулован, а потому, что он был именно граф, т. е. принадлежал к жалованным властителям страны (русская аристократия

исконно не имела титула графа)¹ потому что он был камергер, вельможа в силе при дворе. Тщетно Сумароков напоминал о своем офицерстве. Это был скользкий путь; чин, выслуга, не могли быть крепким основанием для гордости и неприкосновенности. Петр I колотил палкой генералов; но когда Константин Павлович обидел двух польских офицеров-дворян, приказав им во время развода взять ружья и маршировать с солдатами, то, хотя приказание великого князя тут же было им отменено, поднялась трагическая история. В виде протеста три офицера этого полка кончили с собой. Один из оскорбленных потребовал дуэли с Константином и, когда его арестовали, пытался повеситься. В конце концов Константин публично извинился перед ним и согласился на дуэль, которая, однако, не состоялась. Вся эта история демонстрирует традиции исконно-аристократической феодальной культуры. У Сумарокова их не было, он создавал их сам. Он требует равенства с Чернышевым как дворянин, ощутивший свои права на высшее положение в стране, но наталкивается на грубую реальность: власть все еще в руках чиновников-дельцов, авантюристов и выскочек, конечно, творящих дворянскую политику, но связанных еще с петровскими методами и с петровской социальной программой. Делец-придворный не хочет признать власти «породы», он держится не только за «чин», но и за «царскую милость» в первую очередь, т. е. противопоставляет силе независимого помещика силу монархии, опиравшейся на множество шляхты, на жалованные латифундии и фабрики, на торговые пути страны. Сумароков уже имеет программу, но еще не реализует, по крайней мере в данном случае, борьбу за нее. Между тем, он осознает себя как угнетенную культурную силу; он чувствует себя как Вольтер, он — оппозиция существующему порядку, он — недовольный; он готов, вероятно, сопоставить свое положение с положением оппозиционной мысли во Франции и себя — конечно, не с Руссо, но во всяком случае с Монтескье.

Конфликт между пережитками феодального страха перед представителями центральной власти и ростом нового представления о дворянской чести, как основном законе общественного поведения данной социальной группы общества, был разрешен учениками поколения Сумарокова против центральной власти. В 1778 году на Фонвизина сильное впечатление произвела история, почти что свидетелем которой он был в Париже, а именно «поединок дюка де Бурбона с королевским братом, графом... Граф в маскараде показал неучти-

¹ Графство было введено в России при Петре I. Характерно, что бывали случаи отказа дворян, в особенности аристократов, от этого титула; об отказе Раевского, Ермолова и Нарышкиных говорит Е. П. Карнович, «Родовые прозвания и титулы в России». 1886, стр. 207—208.

вость дюшессе де Бурбон, сорвав с нее маску. Дюк, муж ее, не захотел стерпеть сей обиды, а как не водится вызывать формально на дуэль королевских братьев, то дюк стал везде являться в тех местах, куда приходил граф, чем показывал ему, что ищет и требует неотменно удовлетворения. Несколько дней публика любопытствовала, чем сие дело кончится. Наконец граф принужденным нашелся выйти на поединок. Сражение минут с пять продолжалось и дюк оцарапал его руку... После чего они обнялись и поехали прямо в спектакль, где публика, сведав, что они дрались, обернулась к их ложе и аплодировала им с несказанным восхищением, крича: браво, браво, достойная кровь бурбона! Я свидетелем был сей сцены, о которой весьма желал бы знать мнение вашего сиятельства» — дипломатично заканчивает Фонвизин этот пассаж своего письма к П. И. Панину от 20—31 III 1778 (П. С. С., 1888, стр. 899). Короче и совершенно без того легкого оттенка шутовности, который свойствен письмами к Панину из-за границы, пишет Фонвизин о том же самом происшествии сестре (11—22 марта, т. е. за 9 дней до приема к Панину; П. С. С., стр. 958), называя сцену в опере, свидетелем которой он был, «весьма приметальной».

Высокие идеалы дворянской чести, не терпящей ни малейшего урона, чести, в специфических формах осуществляющей законы этики в применении к дворянству, подробно разработаны в трагедии того времени, созданной примером Сумарокова и бывшей именно в первую очередь училищем норм поведения, мысли, поступков, даже внешних манер для аристократизирующегося слоя дворянства. Трагедии не устают повторять, долбить в одну точку, навязывать своим слушателям сентенции и примеры, касающиеся стойкой, незыблемой, сверхчеловеческой этики дворянской чести. К этому, ведь, и сводится сущность неизменной коллизии «должности», «долга» с любовью так же, как значительное число прямых наставлений, произносившихся перед публикой трагическими актерами.

Закон «долга» абстрактен и сверхличен. Это и есть закон «чести», т. е. закон сословного назначения, заранее определяющий оценку всех конкретных поступков подведомственных ему людей. По схеме дворянских интеллигентов XVIII века поведение человека подчиняется такому закону, разному и специфичному для каждой сословной группы. В человеческой психической конституции как бы борются две стихии: случайная, индивидуальная, бытовая, конкретная стихия влечений, личных характеров, материальных потребностей, и разумный закон поведения, извлекаемый не из психологической данности, а из сущности идеи общества как организма, дедуцируемый из общей схемы всеобщего равновесия всех общественных и мировых

сил. Первая стихия обозначалась иногда в рационалистической терминологии эпохи как «страсти» (*les passions*), вторая — как «разум» (*la raison*), точнее, в специфическом применении разума для норм поведения мозга общества — дворянства, сосредоточивающего в себе и культуру и власть, т. е. всю сумму истины, как «честь». Честь является прерогативой дворянства в силу его культуры, его власти и прежде всего в силу его независимости как экономической, так и политической (таков был необходимый постулат). Остальные классы общества могут руководиться практикой, страстями, индивидуальными человеческими импульсами и стимулами; такое подчинение страстям неизбежно обрекает их на рабство по отношению к «разуму», хотя бы насильственное рабство. Без твердого подчинения их той общественной группе, которая осуществляет в своем поведении идею чести, т. е. руководится не личными мотивами, а законами должного — «низшие» группы общества попросту погибли бы; люди, поощряемые страстями, пожрали бы друг друга. Наоборот, «честь» требует от человека прежде всего величайшей внутренней дисциплины, полного отказа от личных стремлений к счастью, позволенных в психологическом плане каждому «смерду». Для того, чтобы ввести в норму личные стремления смерда (они признаются по существу антиобщественными) есть палка, вложенная в руки «разумного» класса общества. Но кто введет в норму стремления самого «разумного» класса? Очевидно, он сам; он осуществит в своем поведении полноту истины, добровольно преодолев личные стремления каждого из своих членов. Таким образом, «честь» оказывается не только принципом поведения для «благородного», но и правом господства над «неблагородными», над себялюбивой чернью; с другой стороны, классовая мораль дворянского рационализма имеет тот смысл, что «честь» есть великая жертва. Право господства над другими есть в то же время обязанность господства над собой, необходимость полной власти над своими эгоистическими переживаниями. Тут дело идет не только об ответственности за «малых сих», но и об абсолютном подчинении своей воли принципу всеобщей покорности. Только слив свою волю с волей рационально мыслимой идеи должного, дворянин имеет право (и обязан) требовать покорности от народа, потому что, вообще говоря, власть принадлежит только идее, схеме и доверяется людям лишь в меру воплощения ими в своей психике этой идеи.

Так величайший эгоизм порабощения всего народа кучке вооруженного штыками и книгами дворянства облекался в идеологию полного отказа от эгоизма, в идею жертвы дворянства, приносящего свои личные цели, практические стремления на алтарь отечества, принимающего на себя тяжкую долю разума и руководителя простых людей, в свою

очередь покупающих отчуждением своей политической воли право хотеть личного преуспевания, жить своими личными стремлениями, горестями и радостями.

Вот именно этот пафос чести, жертвы, отречения от своих «страстей», преодоления в себе человеческого во имя дворянского и движет множество литературных пружин в стихах, прозе и, может быть, прежде всего в трагедии, созданных интеллигентской группой аристократии 50-х—60-х годов. В этом заключалась в первую голову пропагандистская роль трагедии 50-х годов, трагедии Сумарокова первой поры его драматургического творчества. Идеи «долга», коллизия долга и любви вовсе не были тогда простым «литературным», сюжетным мотивом, бьющим на увлекательность или общечеловеческий эмоциональный эффект. Это были темы социальной, философской, политической злободневности, темы, строившие тактику и мировоззрение передового в культурном отношении слоя дворянства, к первому поколению которого принадлежал Сумароков. Сцена превратилась в опытную лабораторию, в которой всенародно демонстрировалась структура дворянской чести в действии, т. е. в подавлении «страстей», — в назидание и пример для публики, состоявшей в значительном числе из тех же дворян, добившихся культуры и стремившихся захватить власть в свои руки. И не случайно, что большинство трагедий Сумарокова оканчивается счастливо, так же как и то, что в них столь ярко, со всей примитивной прямолинейностью этических оценок, свойственных «творцу Семиры», показаны добродетели положительных героев.¹

Добродетельный герой, воплотивший в своем поведении правила чести (ведь он — властитель людей, вельможа или князь, по «правилу» трагедии), по закону истины должен получить и право и возможность управлять людьми, получить и возмездие — счастье за исполнение долга — отречения от счастья. Наоборот, герой, не исполнивший этого долга, т. е. не выполнивший своего назначения в мире, должен быть наказан, должен погибнуть, так как он выпал из схемы распределения психологических путей по сословиям; он — хуже «черни», выполняющей то, что ей положено выполнять, больше чего от нее и требовать нельзя.

Действие трагедий Сумарокова происходит чаще всего в древней Руси. Конечно, отвлеченность всего философ-

¹ Об этой особенности трагедий Сумарокова я писал в свое время в статье «О Сумароковской трагедии» (Поэтика, I, 1927). Я не могу остановиться здесь на вопросе о влиянии на Сумарокова, как трагика сентиментальной драмы, современной ему Франции, вопросе весьма существенном и заставляющем пересмотреть традиционные взгляды на «классицизм» Сумарокова. Однако отмечу, что французские идеи кардинально меняли свой облик, попадая в социальную среду, питавшую творчество Сумарокова.

ского, этического и эстетического мировоззрения поэта реализовалась и в том, что историчность их совершенно условна. На сцене — дворяне, русские дворяне вообще, и это связывает происходящее на сцене с зрительным залом тесными узами ближайшего примера. Но, с другой стороны, древняя Русь подчеркивала исконный, древний, неизменный характер чести, добродетелей, привилегий и традиций русских феодалов.

Проецируя идеалы настоящего на прошлое, при том положении, что практика настоящего явно расходилась с идеалами как в плоскости «нравов», социальной психологии, так и в плоскости политики, идеологи дворянской фронды истолковывали это расхождение как падение, порчу исконно существовавшего нормального положения вещей, настоячиво требующего восстановления (9).

Эта идеализация несуществовавшей русской дворянской древности, впоследствии приобретшая несколько иной смысл, проявилась явственно уже у сумароковской группы (традиция ее началась еще раньше) и сразу же оказалась связанной с борьбой против новомодных увлечений молодежи, т. е. против усиленного бытового влияния более передового в социальном смысле Запада, в частности Франции. Против развращения нравов, против того типа дворянина по моде, которого называли «человеком нового света», восстает в 1760 г. Херасков в статье «Непристойной титул»; здесь всем порокам противопоставлены добродетели прежних времен (видимо, XVII и начала XVIII вв.), когда «предки наши» «жили с скрытым именем, но с открытым сердцем», великодушно прощали обиды, когда человек «упражнял свои мысли к установлению в цветущем состоянии своего рода, обращал сердце к любви ближнего и пекся заслужить имя сына отечества»; о таком предке Херасков пишет, что он «в осторожности проводит честно и спокойно век свой», «любя истину, пред лицом сильного не страшится защищать ее, а лести и клеветы избегает», — словом, был и «милосерд», и «полезен свету», и «просвещен разумом», и в итоге, выводит Херасков, «постоянен» (П. У., 1760, 1, 137—138); постоянство, устойчивость, неизменность — лучшая похвала в его устах. Характерны также признаки, выбранные им для идеализации старины: независимость, стойкость в защите истины против «сильных»; это — подготовка образа Якова Долгорукова, ставшего легендой, знаменем и политическим лозунгом в дворянской литературе, находившейся в оппозиции к центральной власти, образа аристократа, резко выступившего против деспотических замыслов монарха, героя феодальной части и непокорности. Долгорукова в течение нескольких десятилетий воспевали и к его имени апеллировали; воспоминанием о нем

старались поднять двух независимости в дворянстве; ему могли и подражать; так, легенду о нем хотел воскресить, имитируя его, лидер дворянской партии независимых феодалов П. И. Панин. Еще к Пушкину имя Долгорукова попало, полное накопившихся вокруг него смыслов и воспеваемых («И был от буйного стрельца Пред ним отличен Долгорукой» и др.).

Примечателен также порядок тех вопросов, которые по Хераскову подлежат наибольшему вниманию идеального человека — дворянина: процветание «своего рода» в первую очередь, потом уже «любовь к ближнему», наконец, получение имени сына отечества; итак, в иерархии признаков общественных и человеческих добродетелей и свойств, которые Херасков пропагандирует, у него устанавливается такое взаимоотношение: прежде всего дворянин есть член рода, т. е. аристократ, потом уже человек и гражданин.

Культ своего рода, забота о его процветании, интерес к своим детям именно как к продолжателям рода, заботы о браке и наследниках своей родни — все это характерно проявляется в данной группе вместе с интересом к своим предкам, с тенденцией подчеркнуть свою родовитость, связать свою судьбу с историей своего рода. Сумароков с нескрываемой гордостью подробно останавливается на изображении геройского поступка (древние добродетели!) своего предка во время стрелецкого бунта («Второй стрелецкий бунт», отрывок, написанный, по видимому, после 1768 г. П. С. С., VI, 226—227: ср. у Пушкина выдвигание своих предков в исторических вещах).

2

Социальная психология аристократической группы русской дворянской интеллигенции строилась в тех же тонах, что и основы их социальной идеологии. По существу, это была психология крепостников, несмотря на политическую оппозиционность деспотии, свойственную им. Согласно их взглядам, слои общества с необходимостью должны дополнять друг друга, являясь отдельными членами организма, связанными своей принадлежностью организму, но никоим образом не сливающимися. Вообще в мире виды не эволюционируют, и перехода от одного к другому, как правило, быть не должно. То же и в общественном «теле». Если дворянство — его мозг и воля, т. е. его голова, то крестьянство — его ноги.

Вся эта теория пустила глубокие корни. В середине XVIII века действительно с достаточной последовательностью владела политической мыслью страны полубюрократическая, полуфеодалная система сословного бытия чело-

века. Каждый человек должен был принадлежать к одной из немногих строго разделенных рубрик, на которые было разделено население страны. При этом он именно должен был принадлежать кому-либо, лицу или корпорации; как личность самостоятельная, он не имел права существовать. Он должен был быть или крестьянином такого-то помещика, такого-то села, такого-то ведомства, или посадским человеком такого-то посада; дворянство, ранее номинально принадлежавшее короне и армии, теперь стремилось освободиться и стать наверху лестницы подчинений.

Разделенность общественных слоев и составляла основание и социального и культурного мироощущения, психологии того слоя дворянства, о котором идет речь. Его сознание опирается на идею абсолютной истины, но никоим образом не на идею общеобязательной и общедоступной истины. Каждая из сфер культуры и вообще общественного бытия практически осуществляется разное каждой из рубрик-частей общества; полнота реализации данной общественной функции является лишь общим итогом всех различных воплощений заданий каждого сословия. Дворянство же не только имеет свои практические функции, не сходные с функциями других сословий, но еще и функцию идеологическую: оно знает, осознает всю истину в его отвлеченно-идейном облике, тогда как другие сословия знают ее лишь в пределах своей части ее практического осуществления. Это связано с организационной, якобы координирующей и направляющей ролью дворянства в обществе. Поскольку его общественная функция — руководство всем обществом, ему открыта и вся истина; поскольку же общественная функция крестьянства — лишь добывать обществу хлеб или вообще производить продукты потребления, — ему доступна и нужна только часть истины, вернее, другая истина, не «чистая» и отвлеченная, а приспособленная к нуждам и задачам его существования. Идея абсолютной истины, заключенной в мышлении «непрактических» людей, отрешенных от конкретных практических задач (от производительного труда) и преодолевших в себе личные стремления (такими людьми могут являться лишь «благородные» дворяне), отвлеченной истины, недоступной людям, занятым индивидуальными, конкретными, практическими целями и переживаниями, — связывается в сознании русских аристократов-интеллигентов с концепцией нескольких разделенных, относительных истин во всех областях жизни. Нечего и говорить, что существовавший в 50-х годах аппарат правительственной власти — с данной точки зрения — был погружен в практицизм и лишен подлинного идейного направления, что закрывало от него абсолютную истину целиком.

«Разумен, кто взнести не хочет выше меры
И счастлив, кто своей не покидает сферы»,

формулирует основное положение своей общественной этики Херасков. (Нравоучит. басни, 1764, стр. 29).

Мораль, принятая каждым слоем общества, должна быть иная, чем у другого.

Сумароков, начинатель в литературе и мировоззрении, и эту основную проблему выразил в исчерпывающей яркостью. В своей книжке «Первый и главный стрелецкий бунт» (1768 г.) он описывает кровопролитие во время восстания. Все соотношения, установленные, по его мнению, природой, разрушились. Те, кто были хороши, когда и поскольку они повиновались, нетерпимы в качестве свободных граждан. По Сумарокову в такие моменты познается истинная сущность общества. Он пишет:

«Прервала чернь узы свои: нет монаршей власти: скипетр и законы бессильны: властвуют и повелевают рабы: сыны отечества молчат и повинуются (сыны отечества, противопоставленные «рабам», без сомнения — дворяне. Гр. Г.). Семимое естественное право, что все человеки равны! Благородные люди никогда толпами к варварскому действию не приступают. Рабам принадлежит раболепная покорность; сынам отечества — попечение о государстве; монарху — власть; истине — предписание законов. Вот основание общенародного российского благосостояния».

В этой заповеди феодального мышления каждое слово знаменательно. Каждый из трех указанных в ней элементов общества — рабы, дворяне, т. е. власть направляющая, элемент, заключающий в себе источник власти, наконец, монарх, т. е. власть исполнительная — имеет точно отграниченную сферу действия и согласный с нею закон поведения, мораль. Четвертый элемент общества — истина. То обстоятельство, что она поставлена в один ряд с другими тремя, показывает, насколько отвлеченно, понятийно представлял себе Сумароков и дворянство, и рабов и центральную власть, — именно как идеи, как классификационные единицы общественных функций, а не как конгломерат личностей. Самой истине принадлежит законодательная власть. Но мы знаем, кто призван осуществлять полноту истины: те же «сыны отечества», преодолевшие практически индивидуальную стихию жизни.

Закон морали рабов — раболепная покорность. Никакой отрицательной оценки Сумароков не вкладывает в эти слова. Таков закон этого слоя общества. Раболепство не есть порок, и покорность не есть несчастье. И то и другое — предписания, нормы, такие же безразличные и безликие, как нормы культуры, мысли и воли для «благородного». В басне «Есоп и кощун» Сумароков изображает в лице Есопа идеального раба. «Есоп обык Внимать и

исполнять господско слово» (кн. II, пр. 31, 1762),— он образцово покорен и усерден в беспрекословном исполнении барских приказаний. Конечно, в глазах «барина», народ— это глупая, грязная, скотоподобная чернь. Но все это не делает отдельных представителей этой черни дурными только потому, что они принадлежат к ней; они идут путями, необходимыми для их «породы». Хуже, если они рядятся в несвойственные им признаки культуры или домогаются несвойственной им власти. Ведь крестьянин— существо другой породы, чем дворянин.

«Дворянство различествует званием (написано, видимо, ошибочно знанием. /р /) и одеянием от черни народной и монахов: для чего же не иметь оному понятий различных о том, что нужно знать ему в жизни? Такие ли прилично ему мысли иметь о верховном существе, какие в монастырских уставах и школьных уроках?»,— эта отчетливая формулировка идеи о множественной, сословной истине принадлежит, по преданию, Г. С. Сковороде (см. П. Житецкий. «Энеида Котляревского и древнейший список ее в связи с обзором малорусской литературы XVIII века». 1900, стр. 50).

В итоге идея множественности истин и жизненных путей оправдывает крепостничество как институт, обеспечивающий равновесие социальных функций. «Не надобно премудрости солдату, но полководцу без нее обойтись нельзя». «Солдат установлению следует, — пишет Сумароков, — но предписание устава требует просвещенного полководцу ума; тако и учение потребно предводителям народа, а всему народу его имети не можно... Народ утверждает предписанными им уставами, которых благо ему понятно, а сами они систем не составляют». («Некоторые статьи о добродетели», п. II. Написано в 1774—1777 г. Напечатано в П. С. С. в VI томе). Несколько ниже (там же, п. VIII) Сумароков как будто бы противоречит сам себе: «Многие думают, будто просвещение только одним начальникам имети надобно; но блаженство общества состоит не в начальниках одних, и не в одних знатных господах. Когда-де, говорить, люди все просвещенны будут, так не будет повиновения и, следовательно, никакого порядка. Сия система принадлежит малым душам и безмозглым головам». Однако, противоречие оказывается мнимым. Каждому обществу Сумароков предлагает свое особое просвещение или, если точно передать его мысль, свою сознательную мораль: все члены общества должны быть мудры и добродетельны, хотя каждый по-своему: мудрость начальника никогда не станет мудростью раба, и наоборот. Сумароков предлагает читателю вообразить общество, целиком состоящее из Сократов. Что бы стали делать эти Сократы, захотели бы они повиноваться начальству или нет? «Собралися бы Сократы и,

посоветовав, выбрали себе конечно или-государей или государя. Монархическое правление, — я не говорю деспотическое, — есть лучшее; так сии Сократы, посоветовав, избирают себе государя, вельмож и начальников, которым они еще больше повиноваться будут, имея здравый рассудок: предпишут они ненарушимые законы, свяжут и себя и вельможей теми законами, которые они сами устави́ли. Сократистопник не будет имети презрения, ибо он почтен от того, кому он печи топит, и тем его он только меньше, что начальник его больше, нежели он, трудится: он топит печи, а тот судит и распоряжает. Сверх того могут люди все быти просвещенны; но качества просвещения суть разноличны. Тот законник, тот пиит, тот воин, тот живописец, тот астроном, и так: хотя разум и равен у людей, но уже и качества просвещения делают различие между ними».

Практически, в реальной обстановке социально-политической борьбы в России в середине XVIII века, вся эта теория означала требование со стороны крупного дворянства кастовой замкнутости своего сословия, отграниченного претензиями на аристократические традиции культуры, разума и добродетели. Вопрос идет о том, чтобы «осадить» конкурентов в борьбе за влияние и власть, указать им их подчиненное место.

Молодой Богданович в опромном «Письме к С.... Д.... (т. е. к Сергею Домашневу, Гр. Г.) о средстве, как можно человеку приближаться к покою» (П. У., 1761, II, 9—14) останавливается на проблеме социального расслоения.

Причины есть тому, что все живут неравно:

Когда начало лишь покажется весны,

То земледельцы все, оставя сладки сны,

Оставя дом, идут с сохой еще в те поры.

Как соловей не пед приятностей авроры:

И вместе на поле они с зарей начнут

Определенной, сей природою им труд

Та водит светлые бразды свои на небе,

Те делают бразды, стараяся о хлебе;

Та темноты ночной тем прогоняет мрак,

Тем счастливым нельзя быть инак, а не так.

Во весь трудяся год, труда не ощущают,

Как пользу от того себе воображат.

А протчие иной путь к счастью обрели...

Далее речь идет о купце, художнике и др., из которых каждый, видимо, творит «определенный сей природою им труд» и все получают именно ту возможность счастья, которая им предписана, а никак не иную. Даже богатство пригодится лишь тому, кому оно предписано законом разумного общества; оно освобождает человека от труда и предоставляет ему возможность заниматься культурой; значит, оно нужно людям, представляющим в обществе разумную

стихию, способным полезно использовать его, а другим оно не нужно или даже пагубно. Так оправдывается имущественное неравенство «благородных» и «черни».

Богатство глупо так, как прах, или как дым,
Но естели мы через то наш разум богатим,
С делами добрыми нимало непорочно...
...Разумному дает богатство праздно время,
А время праздное дало науки нам.
Богатство, следственно, излишно дуракам...
...Богатство с разумом источник в жизни благ...

Общее правило таково: не в свои сани не садись; «раб» или «подьячий», или «откупщик», — одним словом не дворянин, — пусть не пытается проникнуть в несвойственную ему сферу жизни и деятельности. С величайшей прямолинейностью, со всей грубостью классового подавления говорит об этом тот же Богданович (ему было тогда 18 лет) в своей «Басне» (П. У., 1761, 1, 102):

Казалось глупому ослу там не довольно
Кормиться на лугу, хозяин где гонял.
То было у реки: осел не пожелал
Есть каждый день одно, и поплыл самовольно
На тот чрез воду край: казалась там трава
Приятнее ему. Хозяин с криком стонет,
В реке осел, что тонет.
Но втуне были те слова».

Глупый осел — смерд, непокорный гоняющему его, но попечительному барину, увяз в речной тине.

Он сам тому виною,
Что в тине должен умирать.
Не удалось ему насытиться травой,
Ни кожи мужику с него содрать.
Познай моих, читатель, силу слов.
Великие стада найдешь таких ослов,
Противясь что судьбине,
Излишнего хотят, своим не сыты всем;
Но вовсе погибают тем,
Осел как глупой в тине.

Краткую, но выразительную формулу дает четверостишие, включенное в кургановский письмовник:

Мужик, не забывайся, что ты рожден мужик,
Боярин, не ломайся, что чином ты велик;
Мужик рожден пахать: паши и не ленись;
Боярин помогать: об этом и пекись.

Это было мировоззрение, нацеленное отрицавшее законность бунта, стремления к изменению социальных взаимоотношений, посягательства на status quo; а между тем оно разрабатывалось и служило орудием борьбы в среде таких людей, которые составляли оппозицию, которые стремились к перемене руководства страной, к изменению структуры власти, которые в конце концов не только сочувствовали, но и послужили одной из основ переворота, вооруженной рукой

попытавшегося осуществить смену политической линии правительства. Идеологически концы с концами сводились просто: Сумароковцы протестовали против нарушения закономерно-установленного деления общества на классы, в политике же добивались не изменения, а восстановления закономерно-истинного положения вещей. Нормативность мышления была в практике их идеологической борьбы палкой о двух концах.

Сумароковцы говорили: «Мужику» хорошо жить в рабстве и грязи, дворянину в довольстве, дающем ему возможность культивироваться и властвовать. Один осел попал в болото, в грязь; он стонет, так как не может выбраться из нее. Прибежали лягушки и хохочут над его стоном: «А мы здесь век живем, но слез не проливаем, И весело мы жизнь свою препровождаем; Знать он дурак»...— все это рассказано А. Ржевским в басне: «Лягушка и осел» (П. У., 1761, I, 177).

Одна из самых ходких в творчестве сумароковских учеников нравоучительных тем сводится к повторению правила: всяк сверчок знай свой шесток; недовольство подвергается решительному осуждению.

Не рассмотря своих бед истинну притчину,
Неправо иногда виним свою судьбину.

Всю собственну вину приписываем ей,
И говорим: о! как я беден в жизни сей!
Из бед не выхожу, терплю беды, напасти;
Я лучшия сея достоин в свете части.
К сему в пример я притчу приложу,

Про муху расскажу,
Которая свой век в довольстве провожала
Везде летала,

Всегда сыта была,
И что хотела, то пила.
Но нет, того ей не довольно,
Разлакомилась больно.
Иное начало желание пленять,
И захотелось в пчельник ей погулять.

И в улей полетела,
На соты прямо села,
Как в масле сыр, она купалася в меду,
И потонула.

Узнав свою напасть, там муха вспомянула:

В какую впала я беду!
И вижу, что сама я от себя пропала;
Но поздно уж теперь проступок свой узнала:
Зачем нелегкая меня сюды вела?
Без меду на свете спокойно б я жила.

Это — басня А. Карина (П. У., 1761, II, 24). Муха и пчела имеют разные потребности; характерна ясно выраженная в барском пренебрежительном тоне этой басни тенденция проповедывать резиньяцию для других, «низших», которым и то хорошо, если они могут пить воду и быть сыты.

Идея ословного разделения функций общественного организма четко сформулирована и в басне Сумарокова «Осел и хозяин» (кн. 1, б. 6, 1762):

Всяк делай то, что с склонностию сходно,
Не то лишь, что угодно,
А то, что сродно.

Далее эта жестокая заповедь феодала раскрывается полушуточно, но достаточно определенно:

Не плавает медведь в Балтийской глубине,
Синица не несет в Неве яиц на дне,
Белуга никогда не посещает рощи,
И на дубу себе гнезда не вьет олень:
Луна во время светит ночи,
А солнце в день:
Труды все разными вещами.

И у людей:
Тот кормит мужиков, в харчевне щами,
Тот сеном и овсом в конюшне лошадей:
Что кстати, то и краше.

Потребен пиву хмель, а патака на мед,
Для бани жар, а в погреб лед,
Для чая сахар, масло каше.

Сумароков готов приравнять разделение людей в обществе к разделению животных на птиц, рыб и т. д. Речь идет о различных породах. Дальше идет речь о некоем осле (едва ли не о крестьянине, холопе идет здесь речь), претендовавшем на положение вполне дворянское:

Какой то человек лелеил день и ночь
Собачку,
Любил ее как дочь
И сделал ей потачку,
Ее любя,
Лизать себя.

Осел то некогда увидел,
Работу тяжкую свою возненавидел,

И говорит он так:
Я долго был дурак.
И суетно трудился:
Вить я не подрядился,
И не подрядчик я:
Не терпит честь моя,
Чтоб я не рассердился,
И чтоб не возгордился,
И чтоб еще служил
И в беспокойстве жил.

Я должности моей давно уже стыдился:
Отныне буду я собачке подражать,
Мешки, кульки на мне не станут раз'езжать,
Не для безчувствия осел на свет родился.
Вскочил, хозяина ногами охватил,
И высунув язык, оскалив зубы,
Кладет помещику большой язык на губы,
А он его за то дубиной колотил.

Социальный конфликт разрешается просто — при помощи дубины. Очевидно, Сумароков убежден в том, что осел «для безчувствия на свет родился». Само собой

разумеется, то обстоятельство, что басня заимствована у Лафонтена, нисколько не снимает с Сумарокова ответственности за ее содержание, тем более, что Сумароков сильно изменил Лафонтеновскую басню. У французского баснописца тема басни («L'âne et le petit chien») иная. Он начинает: «Ne forçons point notre talent, Nous ne ferions rien avec grâce: Jamais un lourdaud, quoi qu'il fasse. Ne sauroit passer pour galant. Peu de gens, que le ciel chérit et gratifie, Ont le don d'agrèer infus avec la vie»... и далее в виде иллюстрации приводится рассказ об осле и собачке, лишенный прямой социальной установки. Самый конец басни гораздо мягче, чем у Сумарокова.

Приведу еще некоторые примеры той же характерной мысли в «притчах» Сумарокова. Вот «Мышь и слон», басня, заимствованная у Лафонтена, у которого она открыто направлена против буржуа, претендующих на равенство с дворянами («Le rat et l'elephant»):

Вели слона, и отовсюду
Сбегается народ.
Смеется мышь: бегут, как будто к чуду:
Чего смотреть, когда какой идет урод?
Не думает ли кто, и я дивиться буду?
А он и чванится, как будто барин он:
Не кланяться ль тогда, когда тащится слон?
Сама я спесь имею ту же,
И знаю то, что я ничем его не хуже.
Она бы речь вела
И более;
Да кошка бросилась не ведаю отколе,
И мыши карачун дала.
Хоть кошка ей ни слова не сказала:
А то, что мышь не слон, ей ясно доказала.

В притче «Олень и дочь его» (кн. II, пр. 14, 1762) идет речь о том, как олень, хотя и пытается опротестовать свой собственный страх перед «высшими» в лице собаки, хотя и подымает бунт против нее, но — «услышу только лай, забудуся и бегу». Отчетлива и притча «Свеча» (кн. II, пр. 36, 1762):

В великом польза, польза в малом,
И все потребно, что ни есть;
Но разна польза, разна честь:
Солдат, не можешь ты равняться с генералом.
Свеча имела разговор,
Иль паче спор:
С кем? с солнцем: что она толикож белокура,
И столько ж горяча.
О дерзкая свеча!
Великая ты дура,
И солнцу говорит: светло ты в день,
А я светла в ночную тень.
Гораздо менее в тебе, безумка, жиру,
И менее в тебе гораздо красоты:
Избушке светишь ты,
А солнце светит миру.

В притче «Лев и клоп» (II, 59) говорится, что «львы с клопами не дерутся»: слишком уж львы выше клопов. В притче «Осел дерзновенный» (II, 60) посрамляется нахальный осел, который осмелился сказать льву «Здорово, брат». Лев думает: «Естли б ты по б л а г о р о д н я й был, Так ты бы ету речь, конечно, позабыл, И с нею бы ты ввек ко мне не припехнулся, То ведая тогда, Что братом лев ослу не будет никогда». В притче «Деревенские бабы» рассказывается, как женщины не захотели прясть, а захотели пахать, т. е. делать работу, которая свойственна мужчинам. Мужья стали прясть, «а бабы все пахать и сеять идут. Бесплодны нивы, будто тины, И пляшет худо вертено: В сей год деревне не дано Ни хлеба ни холстины» (кн. IV, пр. 52). Характерна притча «Горшки» (кн. V, пр. 39):

Себя увеселять,
Пошел гулять
Со глиняным горшком горшок железной.
Он был ему знаком и друг ему любезной.
В бока друг друга стук,
Лишь только слышан звук:
И искры от горшка железного блистались;
А тот не долго мог ийти,
И более его нельзя уже найти;
Лишь только на пути
Едины черепки остались.
Покорствуя своей судьбе,
Имей сообщество ты с равными себе.

Несравнимость психологии дворянина и «подлого» человека, повидимому, имеет в виду притча «Свинья и конь» (кн. V, пр. 46):

Свинья сказала то коню:
Дружочик, я тебя виню,
Что ты дурачеству даешь безумно дань,
Почто выходишь ты на брань,
Когда между собой в войне герои трутся,
А попросту дерутся,
И в нужде сей тобой стремятся овладеть?
Не лучше ли тебе и дома посидеть?
Ей конь отвечает: Я знаю, ты свинья;
А я
Ущерба там себе нимала не встречаю,
Где я прославиться для пользы света чаю.

Или вот начало притчи «Пахарь и обезьяна» (1759, Тр. Пч., стр. 362):

Мужик своим трудом на свете жить родился;
Мужик пахал, потел, мужик трудился;
И от труда
Он ждет себе плода.

Сумароков считал, что он сам родился не для того, чтобы жить на свете своим трудом.

Идею сословного распределения моральных качеств выразил ясно Богданович в «басне» (П. У., 1761, II, 79), представляющей собою, повидимому, обработку народного

рассказа (по словам самой «басни»). Речь идет о неуместной смелости. «Коза с рождения медведя не видала»; пойдя в лес, она увидела, как «другую козу... медведь в берлоге ест», но подумала, что «у них великие лады»; словом, она попала в лапы к медведю и погибла.

Мораль такова: смелость — качество, подобающее не всякому человеку, но необходимое тому, кто предназначен быть героем, т. е. без сомнения, военачальником или вообще начальником людей.

И в людях множество таких найдется коз,
Которых смелость погубила.
Отненным счастьем судьбина наградила
Того, кто взрос
И кончил век без храбрости в покое,
Кого не тронула несчастье никакое;
А смелость только быть должна в прямом Герое.

К счастью для дворянского отечества, «рабы» и не имеют никаких поползновений к несвойственной им моральной и умственной культуре, по крайней мере крестьяне, — так представляла дело именно аристократическая литература до пугачевщины. Наоборот, купцы или «подьячие» нередко пытаются сесть не в свои сани, — и их за это усиленно преследует литература сумароковского круга.

Конечно, даже крайние крепостники данного толка допускали иногда, что, может быть, когда-нибудь крестьянин станет культурным человеком и, следовательно, сможет уже не быть рабом. Но такая мысль, если она и появлялась, представлялась как бы вне истории, лишь как отвлеченный идеал; притом же и тот с трудом воображимый культурный крестьянин, повидимому, должен, по мысли людей круга Сумарокова, пахать землю на дворянина, т. е. содержать его, а сам довольствоваться культурой, по существу отличной от дворянской. Кроме того, сами дворяне-интеллигенты не только ничего не делали, чтобы приблизить культуру к крестьянам, но им и в голову, очевидно, не приходила возможность делать что-нибудь в этом направлении. Иное дело — политические реформы в области крепостного права; но о попытках указать власти на необходимость таких реформ — ниже.

Дворянски-аристократическая культура середины XVIII в. нисколько не жантильничает с крестьянином, смотрит на проблему классового расслоения и на проблему внеэкономического принуждения «раба» открытыми глазами, не пытаясь прикрыть ни того, ни другого. Пасторальные поселения, приглаженные, богатые, чистенькие, поющие миленькие куплеты, полные нежных и высоких чувств, появились в литературе под влиянием других исторических условий. Теперь дворянская литература груба по отношению к «мужику».

Дворянские интеллигенты никогда не выступали против палки как высшего аргумента социального подавления. Сумароков, походя, поколотил даже чужого слугу за то только, что тот пришел к нему с поручением от своего барина, которого Сумароков не переносил. Кнут как мера воздействия для порочных из «низших» сфер общества неоднократно упоминается с сочувствием в его произведениях.

У Сумарокова есть басня «Мужик и кляча» (II, 11, 1762). Мужик везет навоз на кляче. На дороге грязь. Кляча не может везти дальше. Мужик просит о помощи Геркулеса: «Кричит мужик и кланяется в ноги, Валяясь в грязи среди дороги». — Далее, в том же уничижительном тоне: «Низшел тотчас С Олимпа глас: Навозу никогда, дурак, не возят боги; Однако я Твой воз подвину: Сними свинья, с телеги половину» и т. д. Мужик — свинья, дурак, валяющийся в грязи. Тот же тон в применении к крепостному и у Хераскова, несмотря на общеизвестное мягкосердечие его личного характера; здесь дело было, конечно, не в добродушии или злобности характера, а в более принципиальных классовых предпосылках конкретного мышления. Протестуя в статье «Примечание о воспитании» (П. У., 1760, II, 151) против того, что дворянских детей в малолетстве отдают на руки крепостным воспитателям, Херасков пишет: «Приемы и обхождение с ребенком тех тварей, которые няньками и мамками называются, еще и медических глупые». Мамка — обязательно пьяница; она — «безумная» мамка (1. е. безмозглая). И ниже: «некоторые отцы и матери полагаются на приставленных к детям своим, будто бы они в сердце их семена доброй природы положить могут. Это достойно сожаления: может ли такая мрачная тварь, как пьяной дядька или глупая мамка подавать какие добрые примеры младенцу, когда они сами ни доброй природы, ни хороших примеров не имеют»... и т. д.

«Крестьяне наши никаких благородных чувств не имеют», писал Сумароков еще в 1767 году, отрицая возможность и полезность постановки вопроса об отмене крепостного права в законодательном порядке.

Но если крестьянин в глазах интеллигентов-аристократов «мрачная тварь», впрочем, как и всякое животное, безответственная и невинная, то дворянин должен быть образцом добродетели и разумности.

Как бы программой группы, подведением итогов по вопросу о дворянстве является сатира Сумарокова «О благородстве», написанная между 1771—1773 гг. (напеч. в 1774 г.).

Сию сатиру вам, дворяня, приношу!

Ко членам перьвым я отчества пишу.

Дворяня без меня свой долг довольно знают,

Но многие одно дворянство вспоминают,

Не помня, что от баб рожденных и от дам,
 Без исключения всем праотец Адам.
 На толь дворяня мы, чтоб люди работали,
 А мы бы их труды по знатности глотали?
 Какое барина различье с мужиком?
 И тот, и тот — земли одушевленный ком.
 И естли не ясняй ум барской мужикова,
 Так я различия не вижу никакова.
 Мужик и пьет и ест, родился и умрет,
 Господской так же сын, хотя и слаще жрет,
 И благородие свое нередко славит,
 Что целый полк людей на карту он поставит.
 Ах! должно ли людьми скотине обладать?
 Не жалко ль? может бык людей быку продать?

Вся эта тирада звучит как будто бы антикрепостническим пафосом. На самом деле, ничего похожего на антикрепостничество в ней нет. Наоборот, Сумароков твердо укрепляет свои крепостнические позиции, но не теорией принудительного рабства, а теорией рационального распределения общественных функций. Взгляды ранних теоретиков естественного права на рабство как на своего рода договор, служащий возможным основанием гражданского равновесия, отошли в прошлое. Сумароков не поддерживает теории общественного договора даже в той форме, которую излагал Феофан Прокопович. Дворянин, нарушивший закон сословных функций, столь же презрен, как крестьянин, нарушивший его; он становится вне общества, становится изгоем, потому что дворянином он перестает быть. Павел I, выученик той же дворянской партии, которая выдвинула Сумарокова, как одного из своих литературных идеологов, именно так и разрешил вопрос о дворянском праве; дворянин как таковой был еще в 1762 г. освобожден от телесных наказаний; это была привилегия «благородства», т. е. родового «благого» строя ума и воли. Павел поступал так: провинившихся дворян он лишал дворянства и подвергал телесному наказанию. В этом вопросе он последовательно, хоть и с сильным опозданием, реализовал сумароковские взгляды.

Сумароков протестует против права дворян проиграть в карты или продать крепостного в розницу. Это был один из кардинальных пунктов его социальной программы. В 1767 году в замечаниях на екатерининский Наказ он заявил, что «продавать людей как скотину не должно»; между тем, никакого порицания крепостного права вовсе не заключалось в этом требовании прекратить продажу крепостных. Именно в этих замечаниях на Наказ Сумароков изложил точку зрения последовательного крепостника и противника эмансипации крестьян на любых основаниях. Но такова была общая позиция группы, к которой он примыкал: крепостное право не есть личное рабство; нельзя думать так, что «мужик» принадлежит «барину», как собственная вещь; на-

оборот, оба они принадлежат системе повинностей. Крепостной крепко своему «долгу», закону, а не лицу своего хозяина. Поэтому хозяин и не имеет ни малейшего права торговать крестьянами в розницу, т. е. отрывая их от земли, от своей среды, в конце концов от выполнения свойственной им общественной функции.

Право дворянина, прежде всего, в культуре,— заявляет Сумароков в своей сатире:

А во учении имеем мы дороги,
По коим посклизнуть не могут наши ноги.
... А во дворянстве всяк с каким бы ни был чином,
Не в титле, в действии быть должен дворянином:
И не простителен большой дворянской грех.
Начальник, сохраняй уставы больше всех!
Дворянско титло нам из крови в кровь лиется;
Но скажем: для чего дворянство нам дается.
Коль пользой общества мой дед на свете жил,
Себе он плату, мне задаток заслужил...
... Для ободрения пристойный взяв задаток,
По праву ль без труда имею я достаток?
Судьба монархине велела побеждать,
И сей империей премудро обладать;
А нам осталось, во дни ея державы,
Ко пользе общества, в трудах искати славы.
Похвален человек, не ищущий труда,
В котором он успеть не может никогда.
К чему способен он, он точно разбирает;
Пиитом не рожден, бумаги не марают.
А естли у тебе безмозгла голова,
Пойди и землю рой или руби дрова:
От низких более людей не отличайся,
И предков титлами уже не величайся!
... Достоин я, коль я сыскал почтенье сам:
А естли ни к какой я должности не годен,
Мой предок дворянин, а я не благороден.

Повторяю: никакой антидворянской тенденции в этом замечательном стихотворении, конечно, нет. Наоборот, задача его — обосновать и укрепить сословные привилегии «благородных». Сатирические ноты его имеют характер жестокой дворянской самокритики. Здесь Сумароков приближается к Щербатову, промившему «падение нравов» русского дворянства. Но тот же Щербатов, как только на дворянство поднялась рука «посторонних», едва лишь в екатерининской законодательной комиссии в присутствии депутатов от «смердов» поднят был вопрос о правах дворянства, заявил, что российский дворянский корпус — есть добродетельнейший во вселенной. Требование от дворянства определенных заслуг и качеств в порядке оправдания его привилегий и выполнения его общественной функции, сразу же превращается в утверждение наличия этих заслуг и качеств, как только вопрос ставится не внутри дворянства, а вне его.

Та же дворянская самокритика, острая, но направленная именно на защиту дворянства как первенствующего

сословия, составляет одну из основ всей литературной, продукции независимо-аристократической партии помещиков. Достаточно напомнить таких писателей, как Фонвизин, или же, в иной плоскости, Майков с его «Игроком Ломбера». Речь шла о пропаганде общественной активности верхнего слоя помещиков, о прививке ему определенных взглядов на его социально-политическую роль; необходимо было внушить такому помещику, что он не только имеет право, но и обязан управлять страной; это — его дело. Стыдно ему играть в карты, модничать, бездельничать. Он обязан служить отечеству, т. е. властвовать им; он призван заседать в советах, направляющих правительство, водить армии, хозяйничать «в уездах». Активизация, культурнейшего слоя дворянства, которой добивалась его литературная самокритика, ставила вопрос о захвате политической власти, требуя в то же время от каждого участника прав и льгот данного слоя — участия в его политическом движении. В этом смысле понятие о свободе от обязательной службы сводилось к мысли о свободе от обязательной службы в царской армии (или даже канцелярии), но не к свободе от общественной деятельности вообще; наоборот, свобода от царской службы развязывала руки для руководства деревней и для работы внутри своей социальной группы. Так вопрос стоял именно для культурного руководства верхнего поместного слоя. Для «массового» дворянина он стоял проще: это была полная свобода от обязательств.

3

Следует оговориться, что вопрос об активизации политической деятельности и социального самосознания дворянства во всей полноте и остроте стал в литературе партии Сумарокова и Панина (и их преемников) в 60-х и потом в 70-х годах, в связи с той практической борьбой, которую вела эта партия. Тем не менее, основные вехи, по которым должна была пойти социальная борьба, были намечены в литературе сумароковской группой с самого начала ее образования. Враги были опознаны сразу же и с двух сторон одновременно. С одной стороны — это придворная «знать», дельцы, захватившие власть в государстве, «тесною толпой стоящая у трона» «чернь»; с другой стороны — это «подьячие» и «откупщики», т. е. купцы, мещане и бюрократы, стремящиеся к политической и экономической мощи путями, идущими вразрез с теми, по которым хотели вести страну либеральные помещики.

Поток нападений в стихах и прозе на подьячих, на откупщиков, на сановных негодяев-выскочек, начатый Сумароковым, ни в малой мере не есть выражение интереса к тем или иным сатирическим темам вообще. Это вовсе и не

такая сатира, как сатира на дурное воспитание у Фонвизина или на плохих стихотворцев у Сумарокова. То была сатира в полном смысле слова внутриклассовая, рассчитанная на исправление недостатков своего же брата по классовой группе; здесь же мы имеем острую социальную борьбу, нападения, рассчитанные на уничтожение врага. Так же обстоит дело и с сатирой на петиметров Елагина. Она вызвала столь резкую и острую полемику, конечно, потому, что была направлена из лагеря Сумарокова, передовой поместной интеллигенции, против придворной клики; именно Сумарокова и Ломоносова были здесь символами социальных течений внутри привилегированных группировок общества. Имя Сумарокова, своего литературного вождя и политического лидера, Елагин выдвигал против имени Ломоносова, поэта придворных льстецов и рвачей. Сатира на петиметров — выпад против партии П. И. Шувалова. Сатира Сумарокова и его учеников против «знати», как и против «подьячих», не является сатирой против обычных в современном обществе преступлений как таковых или же против преступников определенной категории (напр., взяточников) в плоскости общеэтического или общеправового мышления. Их борьба с подьячими была борьбой двух социальных сил, причем все возможности литературного ошельмования были использованы ими против врагов их социальной группы. Этика была здесь лишь фактом производным; сущностью была политика, окрашивавшая социальные оценки в этические тона.

Кого называет Сумароков, так же как его ученики, подьячими? Вовсе не специально судебных чиновников; да таких чиновников, собственно говоря, и не было, поскольку не было разделения властей и, напр., все отрасли правительственной деятельности на местах сосредоточивались в тех же учреждениях. «Подьячие» Сумарокова — это чиновники вообще, весь бюрократический аппарат власти, это та власть в стране, которая мотивируется не «благородством» своих представителей, а местом в бюрократической машине. В конце концов «подьячие» — это не столько наследники дьяков московской Руси, сколько представители петровской реформы в сумароковской современности. В стройную иерархию феодальной системы государства, измышленной в качестве идеала представителями сумароковской ориентации, «подьячий» не укладывался. Сумароков готов был примириться с идеей полного искоренения «подьячих» — они были плеведами общества. Однако они имели силу. Они были дельцами, приказчиками, на которых положились придворная верхушка, обладавшая ключами богатств, как земельных, так и промышленных, и которым она доверила черную работу управления страной. Плотной стеной стали

они вокруг центральной крепости власти, заключавшей все возможности личного благосостояния, как карьерного, так и экономического. В сущности, и сама верхушка центральной власти все еще в значительной степени состояла из них же, подьячих. В самом деле, ведь только в целях политической борьбы, желая напомнить о «подлом», «грязном» происхождении людей «крапивного семени», Сумароков изображает их чаще всего именно нечистоплотными смердами. Он же называет подьячим и вельможу К. Е. Сиверса, своего начальника, с которым он вел неудачную борьбу. «Подьячий» победил; у Сумарокова крупные неприятности; он в отчаянии; между тем дело ведь ясное — подьячего поддерживают его собратья, составляющие отчасти и русское правительство. Почему Сиверс подьячий? Потому что он не русский дворянин («священной Римской империи графом» называет его иронически Сумароков в статье «О путешествиях» П.-С. С. IX. Сиверс сделался шведским бароном в 1745 г. и австрийским графом в 1760 г.), потому что он чиновник, т. е. составляет часть бюрократического аппарата власти, но он вовсе не мелкий писец-взяточник, а чиновник в чести, вельможа. Но еще в 1743 г. французский посол Далион писал о выскочках из низов, пролезавших в окружение Елизаветы Петровны и упоминал при этом Сиверса, который, мол, несколько лет назад был ливрейным лакеем (Р. Арх., 1892, III, Письма из России во Францию в первые годы царств. Елиз. Петр. Письмо от 21 июня (2 июля) 1743 г.). Именно эти «подьячие» в лентах и звездах, получавшие не только дворянство, но и графские титулы, получавшие вместе с тем и крепостных, и заводы, и откупа, дававшие помещика не только средней руки своей конкуренцией и в экономике и в политике, именно они-то и были главными врагами группы Сумарокова. Немцы эпохи Анны Ивановны, как и иностранцы — да и не только иностранцы петровской эпохи, — почти сплошь были такими «подьячими». В течение тридцати лет шла борьба вокруг тех элементов буржуазного развития внутри феодальной системы, которые не доразвились в петровское время. В елизаветинское время правительственная борьба привела к неустойчивому равновесию. Дельцы-подьячие, сыгравшие в свое время на поражении олигархов, готовы были блокироваться с остатками партии, разбитой не их руками. Фактическая власть в стране последовательно переходила к помещикам, наиболее сознательной группой которых были владельцы крупных родовых поместий. Экономика страны, все еще в основном сельскохозяйственной, давала опору и силу верхним слоям помещичьего класса, довершавшим дворянскую реакцию после-петровской поры. Но специфическое положение помещика из столбовых между трех огней —

магнатов земли и крепостной промышленности, купцов и мелкой барщинной шляхты — объективно толкало его на экономическую конкуренцию со всеми этими группами и, отсюда, толкало на политическую борьбу с ними. В поместье такой помещик стал царьком, но правительство было не совсем в его руках, не в руках аристократа, фактически оказавшегося не крупнейшим, а средним помещиком. Все эти подьячие и откупщики и вельможи, ставшие подьячими и откупщиками, не только мешали глазу поместной аристократии, не только мешали ей осуществить свои политические притязания, но и держали ее в страхе жестокой полицейской системой управления и сильно стесняли ее экономическую деятельность как конкуренцией, так, в особенности, системой монополий и откупов.

К последним годам царствования Елизаветы недовольство правительством в среде столичного дворянства возросло до последней степени. И народившийся гонор дворянской чести и социально-политическое самосознание поместной аристократии были подавлены. Двор и правительство отделились в представлении ведущей группы дворянской интеллигенции того времени от «народа», т. е. от них же, культивировавшихся помещиков. Фаворитизм казался единственным принципом власти. Произвол ее становился нетерпимым, поскольку он исходил не от руководителей дворянского общественного мнения, а шел помимо, иногда и против них. Наглое расхищение богатств кучкой приворных возмущало помещиков, считавших, что все богатства страны принадлежат им. Некультурность двора, необразованность императрицы, полное отсутствие стремления у вельмож прикрасить благовидными моральными предложениями рваческую практику, дикость полуазиатского, полумещанского быта правительственной верхушки — все это вызывало презрение у вождей поместной аристократии, интеллигентов, теоретиков и литераторов.

Характерными представителями этой эпохи оказались Шуваловы, не столько Иван Иванович, сколько его родня, Петр Иванович и Александр Иванович. Александр ведал тайной канцелярией; он держал в руках полицейскую опору власти. Петр явился типическим и наиболее ярким человеком в кругу последнего поколения дельцов перед екатерининским переворотом. Проектер и торгаш, он выкачивал из казны миллионы, обманывал царицу на каждом шагу, опутал весь двор подлейшими интригами, представлял себя спасителем империи, т. е. более бесцеремонный, чем другие, решался предлагать более жестокие мероприятия по линии вытягивания денег на наряды императрицы из населения страны; он захватил в свои руки монополии, душившие население, но приносившие ему огромные доходы,

мошеннически присвоил себе за гроши казенные заводы и основательно разорил их, наконец, просадил на сумасшедшую роскошь все свои несметные капиталы и оставил после себя миллионные долги. Аферист у трона, державший в руках и нити ряда отраслей экономики страны и управление бюрократической машиной, наводившей рабочий трепет на всех сверху донизу социальной лестницы, Петр Шувалов вызывал ненависть у помещиков не только своей деятельностью, но и самим своим человеческим обликом, методами своей «работы», «неблагородной» повадкой.

Такой человек, как Петр Шувалов, был в истории русского правительства, конечно, наследником традиций Меншикова, но никоим образом не ставленником или представителем русских независимых помещиков. Это был аферист, спекулянт и чиновник, но не аристократ. Он извлекал средства не из поместья как своей родовой собственности, а из своего положения при дворе, из спекулятивных операций. Те же его враги хотели, чтобы им предоставили полную власть в поместье, выдвигая как лозунг свое бескорыстие в отношении к центральному аппарату правительственной власти. С другой стороны, борьба продолжалась вокруг проникновения чиновников в круг дворянства. Родовые помещики выступали против новых дворян, конечно, бывших не столько дворянами по выслуге, сколько дворянами по протекции. Они хотели укрепить свой «корпус», не хотели делиться с другими ни землями, ни крепостными, ни силой, которую они накопили в своих руках. Идеи родовой культуры, аристократических традиций, дворянской чести призваны были именно укрепить незыблемые основы и недоступность дворянского «корпуса». Дворянство как «благородство» чести, морали, культуры, не могло быть пожаловано; оно могло явиться лишь результатом традиции (в исключительных случаях противоестественной одаренности допускалось, что может появиться плебей, достойный стать благородным, но и только). Так определились конкретные враги: подьячие всех родов, бюрократия, как вельможная, временщицкая, так и низовая. Все это — чернь, отнявшая власть у подлинных ее носителей, незаконный напор на стране помещиков.

Тут же рядом стоят и купцы, не удовлетворяющиеся ролью старинных посадских людей; они тоже лезут в дворяне или, по крайней мере, претендуют на влияние. Они наступают на дворянскую экономику и в качестве фабрикантов, и в качестве торгашей, и в качестве откупщиков. Они легко договариваются с подьяческим правительством. Вельможи становятся откупщиками, торгашами, заводчиками; торгаши заводят себе палаты, владеют крепостным трудом на фабриках и под видом фабрик; писаря, канцеля-

ристы становятся вельможами и богатеями. Все это — враги помещика, идущего иными историческими путями, желающего поставить ставку на деревню, а не на город, и желающего всю страну вогнуть в железное повиновение схеме простейших взаимоотношений — помещика, крестьянина и слуг помещичьих, купца и мещанина.

По существу, дело шло о том, допустить ли существующее положение вещей, или создать правительство аграриев, не исключаящее промышленного и торгового развития, но вводящее его в тесные рамки крепостнической схемы общественного устройства при изъятии всех подлинно и непосредственно-капиталистических элементов, равно как всей бюрократической оболочки правительственной власти. Такая программа была почти фантастична, не только потому, что она имела против себя сильных врагов — «подьячих» и «откупщиков», но и потому, что она была более чем ретроспективна, хотя борьба против бюрократической деспотии, хотя идеи общественности (дворянской) и законности (все же крепостнической) делали ее субъективно политически либеральной по отношению к существовавшему режиму. К тому же объективные условия все же заставляли этих ретроспективистов-аграриев фактически готовить пути будущего капиталистического перерождения деревни, пока что — в пределах оброчных отношений.¹

Ожесточение, с которым Сумароков нападал на «подьячих», совершенно понятно. Это было дело его жизни; вопрос шел и о его политических убеждениях, и о его личном быте, благосостоянии, карьере и даже имуществе. Он и лично не мало сталкивался со своими врагами. В компании придворных дельцов и фаворитов он не был свободен и не мог добиться права на достаточное уважение ни как поэт, ни как дворянин. Историю с Чернышёвым, обругавшим его, я указал выше. В 1759 году началась война Сумарокова с Сиверсом, по работе в театре директором которого был Сумароков и который находился в ведении гофмаршала Сиверса. Впоследствии богач из «смердов» Демидов доставил Сумарокову много затруднений материального характера. Сиверса Сумароков, как я уже говорил, обзывает «подьячим». «Озлобленный мною род Подьяческий, которым вся Россия озоблена, изверг на меня самого безграмот-

¹ Что же касается фабрик, то ни наличие их, ни количество не решает до конца вопроса о структуре общества, породившего их. Фабрика могла предполагаться или допускаться программой обеих борющихся групп — как Шуваловыми, так и Паниными. Ведь у ученика Сумарокова, В. И. Майкова, была в именье фабрика; впрочем, сам Сумароков был решительно против заведения фабрик дворянами. Во всем этом существенно: какова была социально-экономическая структура труда на фабрике, как устанавливались в ней соотношения классовых сил, как организовался процесс производства.

ного из себя подъячева и самого скаредного крючкотворца. Претворился скаред сей в клопа и взполз на Геликон, ввернулся под одежду Мельпомены и грызет прекрасное тело ее» и т. д. и т. д. вплоть до выпадов против домашних учителей, домашних секретарей, камердинеров и поваров, вылезавших в чины и дворянство — обо всем этом рассказано в статье «О кописгах» (Трудол. пчела, стр. 757 и П. С. С., т. IX). Эта статья, помещенная в последней, декабрьской, книжке журнала Сумарокова, должна была объяснить необходимость прекратить издание. Это было одно из крупных и явных столкновений представителя народившейся группы поместной аристократической интеллигенции, Сумарокова, с правительством. Журнал вообще выходил в свет не без трений с цензурой официальной правительственной организации, Академии Наук. Академия и ее деятель Ломоносов, ученый, поэт и организатор на службе у двора, ставили палки в колеса журналу. Одновременно разворачивались трения Сумарокова по театру, по мелочным поводам, но неизбежные по существу. Трения эти привели Сумарокова к взрыву. Он объявил, что отказывается решительно от драматургического творчества. Статья «О кописгах» — откровенная и дерзкая демонстрация перед правительством, жалобы на императрицу и угроза ей. Дело вышло из-за пустяка. Сиверс запретил служившим при театре кописгам, списывавшим сумароковские произведения, носить шпаги (шпага — символ «благородства») и тем унижил театр, искусство и, косвенно, Сумарокова. Это запрещение было утверждено свыше. Сумароков жаловался, но тщетно. Все это он и описывает в статье, аргументирует свое требование уважить его секретарей, требует различия между ними и подъячими, которые не носят шпаг, называет себя жесточайшим неприятелем подъяческого рода, грозит, что «никто больше не пойдет по стопам моим, когда мне от тебя такое воздаяние» (от тебя — Мельпомены, здесь — от Елизаветы Петровны или ее правительства), и клянется, что «доколе ее определение не отменится, я больше ничего Драматического писать не стану и слова своего я не отменю». Об этом своем отказе от драмы Сумароков писал и позднее. Но трения с властью, поддерживавшей «подъячих», не только «отвратили» Сумарокова от театра. Он принужден был закрыть журнал (были и материальные затруднения с ним). Тот же последний номер его заканчивается многозначительным стихотворением «Расставание с Музами»:

Для множества причин
Противно имя мне писателя и чин;
С Парнасса нисхожу, схожу противу воли,
Во время пущего я жара моего,
И не взойду по смерть я больше на него:
Судьба моей то доли.

Прощайте, музы, навсегда!
Я более писать не буду никогда.

Сумароков уступает силе, но считает нужным заявить об этом во всеуслышание; он не считает уже нужным молчаливо покориться, а, наоборот, вступает в борьбу. На страницах журнала окапывается дворянская оппозиция власти, пока что проявляющаяся по незначительным, повидимому, поводам, но тем не менее принципиальная и социально значимая. Здесь важно то, что Сумароков находит возможным выносить свое столкновение с властью на суд читателя. Это столкновение предстает вовсе не как личная ссора с представителями власти: Сумарокова преследуют подьячие (т. е. бюрократическая власть), которые мстят ему за его литературную борьбу с ними. Прекращение журнала под давлением бюрократии является, следовательно, в изображении Сумарокова, цензурно-полицейским разрешением борьбы литературы с аппаратом власти (по крайней мере, с одной из его прослоек). Сумароков истолковывает прекращение журнала как поражение в политической борьбе. С другой стороны, Сумароков апеллирует к суду общест-венности, настойчиво, как только он мог по цензур-ным условиям, опубликовывая все это дело и выступая в нем не столько как обвиняемый, сколько в качестве обви-нителя. Видимо, он чувствует за собой силу, поддержку; видимо, общественность, к которой он прибегал за мораль-ной помощью, была не вообще неопределенной читатель-ской массой, а конкретной группой единомышленников. Для них подчеркнутая демонстративность заявлений о насиль-ственном прекращении журнала, об утеснениях театра и са-мого Сумарокова не были только информацией; это была пропаганда, инвектива против власти. В том же декабрь-ском номере «Трудолюбивой пчелы», где Сумароков поме-стил статью «О копистах» и который закончил «Расставани-ем с Музами», он напечатал (тоже демонстрация по поводу насильственного прекращения журнала) письмо «К издателю Трудолюбивой пчелы». Это было указание для врагов о том, что он, Сумароков, не одинок, что нажим на него вызовет отклик в целой группе. «Государь мой! — на-чинается письмо: — Благодарность всех любящих словесные науки и особенно Российский язык, которого вы силу и красоту в разных Ваших сочинениях к общей пользе и удо-вольствию открыли, и что еще и ныне новыми Вашими из-даниями их удовольствие продолжаете, оставляя способы и правила вам подражать, заставляет меня к Вам сие пи-сать письмо»... Далее идут похвалы Сумарокову и исчисле-ние его заслуг. «Желательно, чтоб и протчие Ваши нравоучительные сочинения такой же успех имели, а особ-ливо те, где Вы в Ваших периодических изданиях говорите о лихоимстве, вреднейшем зле государства... Я пишу Вам

сие от некоторого общества, которых благородные мысли ответственуют знатности их и благорожждению: они так ненавидят порок лихоимства, как гонителей оногo почитают»... и т. д. Последнее в особенности важно; это письмо является заявлением целогo «общества», какогo-то кружка, организации. Характер ее обозначен ясно: это люди знатные, благородные и культивирующие «благородство мысли», моральные и социальные идеи аристократической молодежи. Значит, это письмо служит прямым доказательством того, что группа, литературным учителем которой был Сумароков, в конце 1759 г. имела нечто в роде организационного оформления. Что это было за «общество» — неизвестно; был ли это литературный кружок при кадетском корпусе или же группа, начавшая, через месяц издавать «Полезное увеселение» и имевшая центр в Москве, или иная какая-нибудь — общий тип ее, «направление» не могут вызывать сомнений.

Не уясняет ничего в смысле внешнего истолкования слов об обществе благородных почитателей Сумарокова и подпись под письмом: «...особливо честь имеет быть Вашим, Государь мой! покорным слугою. К...» (Трудол. пчела, стр. 755—757). Кто этот К...—сказать трудно. Во всяком случае, едва ли Козицкий, о котором трудно предположить, чтобы он настаивал на знатности как признаке членов общества.

Сдержав в течение нескольких лет свое слово относительно драматургии (после 1759 г. первая трагедия Сумарокова — «Вышеслав» 1768 г.; комедии Сумароков начал вновь писать в середине 1760-х годов), Сумароков не совсем, однако, отказался от писательства. Уже в 1760 г. он перенес свою деятельность в журнал кадетского корпуса «Праздное время в пользу употребленное», где с начала года помещал мало произведений, но с августа месяца стал давать много материала. При этом много места он уделит полемике и выпадам против врагов. Он продолжал борьбу на страницах журнала своих учеников. Значительная часть стихотворений Сумарокова, помещенных в «Праздном времени», — или стихи «на случай» (напр., «Стихи г. хирургу Вульффу» по поводу болезни жены и дочери Сумарокова, «Елегия», видимо, по поводу той же болезни его жены, стихи, написанные в порядке состязания с другими поэтами: «из Тита Ливия», «Плачу и рыдаю» и т. д.) или же составляют продолжение борьбы.

В номере журнала от 26 августа Сумароков печатает «Цидулку к детям покойного профессора Крашенинникова» — явный выпад против властных «подьячих»:

Несчастлигo отца несчастнейшие дети,
Когорыми злой рок потщился овладети!
Когда б ваш был отец приказный человек,

Так не были бы вы несчастливы во век,
По Гербу вы бы Рцы с большим писали крюком,
В котором состоят подьячески умы,
Не стали бы носить вы нищенской сумы,
И статья бы могло, чтоб ездили вы цуком¹.
Потом бы стали вы большие господа;
Однако бы блюли подьячески порядки,
И без стыда
Со всех бы брали взятки,
А нам бы сделали пуд тысячу вреда.

Сумароков объясняет разложение и грабеж власти именно ее связью с «подьячими».

Сатирический и просто политический выпад против купцов-откупщиков заключает стихотворение «Сон» в номере от 23 сентября:

Как будто на яву,
Я видел сон дурацкой;
Пришел посацкой:
На откуп у судьи взять хочет он Неву,
И Петербургски все текущие с ней реки... и т. д.

Намек на то, что предметы первой необходимости идут по откупам, был вполне современен. Вслед за «Сном» напечатана «Епиграмма» на ту же тему:

По смерти откупщик в подземную страну
Пришел пред Сатану;
И спрашивает он: скажи мой друг сердечной:
Не можно ль откупить во аде муки вечной?
Как я на свете жил,
Всем сердцем я тебе и всей душой служил;
Пожалуй, дедушка, на откуп ето внуку!
Я множил цену там, а здесь умножу муку.

Вслед за «Епиграммой» помещена «Епитафия» о «зловредном откупщике».

В номере на 14 октября четыре притчи — все на политические темы.

Притча «Две дочери подьячих» — здесь говорится опять о негодяе подьячем, добившемся богатства.

Что Хамово то племя,
И что крапивно семя,
И что не возлетят их души к небесам,
И что наперсники подьячие бесам,
Я все то знаю сам...

Честный подьячий («Чего не слыхано во век») остался нищим.

Далее притча «Коршун в павлиньих перьях» — против людей, вылезших в вельможи из низов, далее притча «Юпитер, сокол и щука» — сильный выпад против откупщиков,

¹ Признак важного чина.

заканчивающийся многозначительно; вот это притча (в П. С. С., она названа «Мост»):

Трудненько торговать,
Полегче воровать.
Мужик казенный мост на откуп как-то вытер;
А Проходим трудности нанес он со сто пуд,
сверх того всегда казенный мост был худ.
К реке пришел сокол, да щука, да Юпитер:
Испорчен мост,
И только голова осталась да хвост;
Нельзя через реку перебираться,
Досадно, а нельзя с купцом богатым драться:
А етот ябедник, по русски ето плут,
И позабыл совсем давно ременный жгут,
По русски — кнут.
Сокол на воздух, щука в воду,
И стали на другом прохожи берегу.
Юпитер не такова роду,
И мыслит: я летать и плавать не могу;
Стоит задумавшись: Посацкой примечает,
Что мысли у него гораздо глубоки...
...О чем ды думаешь? Юпитер отвечает
Откупщику: «я думаю о том,
Что мне на вас давно пора бросати гром».

Четвертая, маленькая притча «Шубник» должна доказать невыгоду, неудобство откупов для отечественной промышленности, которую они глушат.

Через две недели, в номере ют 28 октября, Сумароков делает новый выпад, уже персональный; он печатает в журнале два стихотворения, явно метящих на какое-то определенное лицо из числа врагов, на какого-то подъячего («писарь»), достигшего необычайно «высокого» положения; повод для стихов — устройство этим «подьячим» сада при своем доме. Первое стихотворение «Вывеска»:

В сем доме жительство имеет писарь Сава:
Простерлася его по всей России слава;
Вдовы и сироты всеместно ето врут,
Что он слезами их себе наполнил пруд... и т. д.

Второе — известная «Песенка»:

Савушка грешен,
Сава повешен.
Савушка, Сава!
Где твоя слава?
Больше не падки
Мысли не взятки.
Савушка, Сава!
Где твоя слава?
Где делись цуки,
Деньги и крюки?
Савушка, Сава!
Где твоя слава?
Пруд в вертограде,
Сава во аде.
Савушка, Сава!
Где твоя слава?

В ноябре (18-го) Сумароков поместил в журнале стихотворение «Ермолка», — опять едва ли не персонально направленный выпад против безнаказанного грабителя-миллионщика.

Еще ранее, с номера от 4 ноября, началась серия статей Сумарокова, прямо продолжающих борьбу вокруг вопросов, приведших его к явной ссоре с правительственными лицами (Сиверсом). Три статьи носят название «Сон». Это дерзкие вылазки, чрезвычайно резко бранящие подъячих вообще и подъячих у власти, подъячих командующих «на Парнассе» в частности. Сумароков защищает свое дело, говорит о своем решении не писать трагедии, сатирически «обличает» отдельные поступки своих врагов (первая из этих статей — стр. 291; II — стр. 303, № от 11 ноября; III — стр. 316, № от 18 ноября). Первая и вторая статьи служат как бы введением к третьей, заключающей сатирическую челобитную от Мельпомены (т. е. русского театра) к Российской Палладе (т. е. Елизавете Петровне) на иноплеменников, утесняющих «Российских Муз», (т. е. на Сиверса в первую очередь). Примечателен третий пункт челобитной: «Властвуя они здешним Парнассом, пооществуемы иноплеменниками, Хамова колена, храм мой оскверняют и весь Парнасс Российский в крайнее приводят замешательство и, оставив Парнассские дела, пишут только Справки и Выписки, в которых на Парнассе не малейшая нет нужды, и что Парнасскому уставу совсем противно, а сверх того некоторые, хамова колена, берут и взятки»... и т. д. Хамова колена — это обозначение подъячих, именно как черни, с точки зрения дворян-аристократов. Значит, опять дело, с точки зрения Сумарокова, вовсе не в том только, что надо изгнать из Парнасса иноплеменников, но в борьбе с хамовым коленом. Последняя статья в серии называется «Блохи» (стр. 334, № от 25 ноября).

Здесь — сильные выпады против педантов ученых-профессионалов (они были неуютны дворянам-интеллигентам уже потому, что были разночинцами — как иностранцы, так и русские), затем — опять против конкретных врагов Сумарокова, видимо, против Сиверса. «О, чада любезного моего отечества, — заканчивает свою статью Сумароков, — старайтесь освободить Российский Парнасс от сея гадины! На что нам Чухонские блохи? у нас и своих довольно», т. е. своих людей, мешающих свободному развитию помещичьей культуры. «Чухонская блоха», конечно, — Сиверс, отец которого служил в шведских войсках и который родился в Финляндии. Вся эта серия стихотворений и статей завершается притчей «Болван», помещенной в «Праздном времени» непосредственно вслед за статьей «Блохи». Болван — значит идол, статуя.

БОЛВАН

Был выбран некто в боги:
Имел он голову, имел он руки, ноги,
И стан;
Лишь не было ума на полполушку,
И деревянную имел он душку:
Был идол, попросту болван:
И зачали болвану все молиться,
Слезами пред болваном литься,
И в перси бить;
Кричат: потщися нам, потщися пособить!
Всяк помощи великой чаает:
Болван того
Не примечает,
И ничего
Не отвечает:
Не слушает болван речей ни от кого,
Не смотрит как жрецы машны искусно слабят,
Перед его пришедших алтари,
И деньги грабят,
Таким подобием, каким секретари,
В приказе,
Под несмотрением несмысленных судей,
Сбирают подати в карман себе с людей,
Не помня, что о том написано в указе.
Потратя множество и злата и серебра,
И не видав себе молебшки добра,
Престали кланяться уроду,
И бросили болвана в воду,
Сказав: не отвращал от нас ты зла:
Не мог ко счастью ты нам пути отверсти!
Не будет от тебя, как будто от козла,
Ни молока, ни шерсти.

Конечно, не следует преувеличивать значения этой притчи и искать в ней смысла, которого в ней не может быть, т. е., напр., требования свержения императрицы Елизаветы. Но нельзя не видеть в ней последнего, наиболее резкого удара Сумарокова в ряду других его выступлений 1760 года, удара, направленного против русского правительства в целом или, по крайней мере, против тех или иных вельмож, входящих в него, окруженных служением жрецов — подьячих. Заключительные стихи притчи достаточно сильны, чтобы дать нам право говорить о большом напряжении политической оппозиционности, вспыхивавшей в той группе, к которой принадлежал Сумароков⁽¹⁰⁾.

Я не буду здесь останавливаться на вопросе о том, как расслоилась оппозиционная помещичья группа, как соотносились между собой пассивное ее крыло (Херасковское) с более активным в литературе (сначала — Сумароков); в существе вещей оба течения были двумя проявлениями одного явления. Сейчас для меня важно подчеркнуть злободневный политический смысл антиподьяческой темы у Сумарокова, равно как темы откупщиков и др., сливающихся в одну группу антиправительственных тем.

Еще в 1761 г. Херасков посвятил басню «Превращение» теме «откупщик».

 Был чортов временщик,
 Или его угодник,
 А может быть и сродник,
А именно он был безбожный откупщик.
Служило щастие откупщику дому,
Все деньги отдавал беречь он домовому.
 Исправной казначей то был,
 Мотать он не любил,
Ни капельки не кушал он хмельнова,
И любит откупщик за это домовова,
 Да любит за совет,
Что доброй рост на рост заемщикам кладет;
 Он был его прикащик,
 Меркурий и рассказчик.
Но дружба их была к нещастью сплетена.
 Проведал сатана,
 Что так они дружатся,
 Хотел над ними подсмеяться:
 К разрыву дружбы их,
 Откупщика он учит:
 Что прибыль он получит,
 Когда откупит домовых.
Уверился купец, просить о том тащится
И мыслит деньгами гораздо опуститься.
Проведал домовой о том,
Приемлет вид его, и стал откупщиком.
Он взял его жену, ему среди дороги
 Свои приставил роги.
 Чорт стал теперь богат,
 А откупщик рогат.
Что это все не ложь, то можно догадаться,
Не впрям откупщики имеют домовых,
У них подобные негодницы рождаются,
 Прикащики то их.

(П. У., 1761, П., 70).

Когда потом, после частичной победы группы, к которой принадлежал и Сумароков, при Екатерине II монополии были отменены, тема об откупщиках перестала быть нужной. Другие возникли вскоре с новой остротой. Нападки Сумарокова на «подьячих» очень и очень многочисленны. Он вооружается против них и в стихах и в прозе. За ним следуют и его ученики. С подьячими сражаются и писатели «Полезного увеселения». Подьячий во всей этой литературе имеет неизменные черты: это — взяточник, негодяй, подхалим, крючкотворец, грабитель и утеснитель народа, грязный, некультурный пьяница, говорящий славянско-канцелярским жаргоном. Рядом с ним стоит откупщик — купчина, дикий, невежественный мужик, грубо утесняющий народ, тянущий из него жилы. И подьячий и откупщик богатеют на чужой счет.

Главные враги, конечно, не простые подьячие, сидящие писарями в приказах, а подьячие-вельможи. Сумароков отчетливо высказал эту мысль в статье «Письмо» в Трудол. пчеле» (1759, стр. 631). «Утесненная Истина пришла некогда

пред Юпитера и, жалуясь на приказных служителей, просила, чтоб он истребил из них тех, которые до взятки охотники, ради народного спокойствия. Юпитер отрекался и говорил ей, сколько вдов и сирот останется и сколько прольется слез, нищих умножится ходящих по миру и просящих милостыни. Нет,— отвечала она,— нищих будет меньше; ибо меньше грабительства будет; или разве тебе больше угодно, чтоб невинных людей, ими ограбленных, жены, дети и они сами слезы проливали и по миру таскались? Сверх того редко бывает, чтобы по мужней смерти жена или по смерти отцовой сын или дочь после приказнова человека по миру ходили; всегда после их имения остается довольно; разве покойник чаще бывал на кабаке, нежели в приказе. По долгом ее прошении согласился наконец Юпитер ударить громом; но клялся Стиксом, что он того в другой раз не сделает; лучше, говорил он, их исправлять, нежели истреблять; и хотя Истина и уверяла его, что удобнее петиметра удержать от нарядов, нежели подьячего от взяток, однако Юпитер согласился однажды только громом ударить и сказал: хотя бы я и не клялся, я бы в другой раз не сделал сего, убегая порекания; беззаконники за строгость тебя и меня поносят и ежели по большинству голосов нас обвинять станут, так мы от поношения убежим. Почтенна ты на свете, но Политика тебя еще почтнее; без тебя на свете обойтись удобно, а без нее никак не возможно... Все в этой аллегории примечательно: и уверенность, что подьячих нельзя исправить, а надо искоренить, и недоверие к принципу большинства голосов, и упреки Юпитеру (правительству), в том, что он вершит дела не по истине (точку зрения истины представляет, конечно, сам Сумароков), а по «политике», т. е. по незаконному политиканству; в угоду подьячим.

«Ударил Юпитер, повалилися подьячие, и запели жены их обыкновенную пригробную песню. Народное рукоплескание громче Юпитерова удара было. Обрадовалася Истина; но в какое смятение пришла она, когда увидела, что самые главные злодеи из приказных служителей остались целы. Что ты сделал, о, Юпитер; главных ты пощадил грабителей! воскричала она. И когда она указывала, Юпитер извинялся неведением, и говорил ей: кто мог подумать, что это подьячие! Я сих богатых и великолепных людей почел из знатнейших людьми родов! Ах! говорила, она, отцы сих богатых и великолепных людей ходили в чириках, деды в лаптях, а прадеды босиком».

Одна из насущных задач политической борьбы со стороны помещичьей интеллигенции, настаивавшей на родовых правах дворянской аристократии, была борьба с новой знатью, жалованной из низов.

Выше, говоря о борьбе Сумарокова с подьячими на страницах «Праздного времени» в 1760 году, я упомянул о притче «Коршун в павлиньих перьях»; теперь приведу ее целиком.

Когда-то убрался в павлиньи коршун перья,
И признан ото всех без лицемерья,
Что он павлин:
Крестьянин стал великой господин,
И озирается гораздо строго:
Как будто важности в мозгу его премного.
Павлин мой чванится и думает павлин,
Что едакой великой господин,
На свете он один:
И туловище все, все гордостью жеребо,
Не только хвост его, и смотрит только в небо:
В чести мужик гордится навсегда:
И ежели его с боярами сверстают,
Так он без гордости не взглянет никогда;
С чинами дурости душ подлых возрастают.
- Рассмотрен наконец, богатой господин:
Ощипан он, и стал ни коршун, ни павлин.
Кто коршун, я лишен такой большой догадки,
Павлинья перья — взятки.

(Праздн. время, 1760, II, 243, № от 14 окт.).

Социальная направленность этой басни очевидна. Сумароков не только хочет жестоко ударить по своему врагу; он настаивает на непреходимости социальных граней, на фатальном характере социальных перегородок. Характерен при этом выбор басенных масок для социальных фигур притчи: если подьячий — коршун, то дворянин — павлин, в представлении о котором, вероятно, выделялись здесь черты максимальных внешних достоинств (культура, богатство), безбидность, а может быть, и бесполезность практическая. К той же теме Сумароков возвращался неоднократно. Укажу некоторые из его «притчей». В 1760 г. он напечатал басню «Осел во львиной коже» (Праздн. вр., I, 146), в которой Ломоносов усмотрел выпад именно против него, намек на его «низкое» происхождение. Осел надел львиную кожу и стал гордиться.

Каков стал горд осел, на что о том болтать?

Легохонько то можно испытать,
Когда мы взглянем
На мужика,

И почитати станем
Мы в нем откупщика,
Который продавал подовые на рынке

Или у кабака,
И после в скрынке,

Богатства у него великая река
Или, ясный сказать, и Волга и Ока,

Который всем теснит бока,
И плавает как муха в крынке
В просторном море молока;

Или в чину уroda
Из сама подла рода,
Которого пахать произвела природа.

В притче «Волчонок собакою» (кн. III, пр. 7, 1769) мораль такова: «А впредки из волков не делай ты собак».

В притче «Щастие и сон» (кн. III, пр. 20, 1769) рассказывается:

Хвалился некогда ему сон данной частью
И сильною своею властью,
И Рассказывая щастью,
Что он простого мужика,
И дурака,
В боярский чин поставил,
Прославил,
И золота ему кадушек пять наплавил.... и т. д.

Или вот притча «Чинюлюбивая свинья» (кн. III, пр. 38, 1769):

Известно то, что многим,
Чины давно вошли в оброк четвероногим;
Калигулы коню великое давно
Достоинство дано;
Однако не одни лошадки,
Имели таковы припадки;
Но многие скоты,
Носили без плодов почетные цветы.
Взмурзилась и свинья; чтоб ей повеличаться
И чином отличаться;
За чин де более всего на свете чтут;
Так точно главное достоинство все тут;
А без того была какая бы причина
Искать и добиваться чина.
Отказано свинье; в ней кровь капит:
Свинья свиньей храпит,
Свинья змеей шипит,
И от досады той не ест, не пьет, не спит.
О чем свинья хлопочет!
Какой то философ, то видит, и хохочет,
И говорит он ей: безумная свинья!
Скажи голубушка моя,
К чему названия свинья пустава хочет?
Она отвечает ему:
К тому,
Чтоб было сказано когда о мне в банкете,
Как я войду в чины:
Превосходительной покушай ветчины.
Он ей отвечивал: коль нет меня на свете,
На что мне чин, душа?
Свинина же при том же не чином хороша.

В этой басне с величайшей ясностью сформулировано отношение Сумарокова к проблеме «породы» и «чина». Его отношение к высокопоставленным «смердам», к людям, пролезшим в дворянство, людям высокого рода «по указу» деспотии, сформулировано в притче «Калигулина лошадь» (кн. III, пр. 55, 1769):

Калигула, любовь к лошадушке храня,
Поставил консулем коня;
Безумну цесарю и смрадному маня,

Все чтут боярином сиятельна коня:
Превосходительством высоким титулуют:
Как папу в туфлю все лошадушку целуют:
В сенате от коня и ржание и вонь.
По преставлении Калигулы сей конь,
Хотя высокого указом был он роду
Но кажется уже патрищем народу,
И возит консуль воду.

Невтон,

Не брав рецептами к почтению лекарства,
В почтеньи жил без барства,
В почтеньи умер он.

Может быть, еще ярче лапидарная притча «Филин» (кн. V, пр. 17):

В павлиньих перьях филин был,
И подлости своей природы позабыл:
Во гордости жестокой,
То низкой человек, имущий чин высокой.

Целая система социального мировоззрения заключена в притче «Неосновательное желание» (кн. V, пр. 36). Мартышки просили Зевса уставить у них общество с царем и вельможами. «Состроили себе и град, А в нем коллегии, гостиной двор, сенат, И книг мартышачьих десятка два палат; Судьи, подьячие, лишь не было солдат. Они трусливее и нас еще стократ»... был в их стране и орден с надписью «кому изволит рок»(!); «А рок подарками бывает часто грешен». Но без войска дело плохо. Волк нападает на мартышечье государство. «Мартышки сделали из гренадеров полк» под командой кавалеров их ордена и пошли на брань. «Но только волк завыл, Они все в тыл». Началась паника, и волк их победил. «Увидели мартышки, Что плохо их ружье и таковы ж и книжки, И что правительства устроить не могли; Рассталися опять, а город свой сожгли». Так Сумароков обрекает на гибель общество без дворян-воинов, государство «мещан», «смердов».

Наконец, приведу еще две басни:

МЫШЬ МЕДВЕДЕМ

Хранити разума всегда потребно зрелость
И сстояния блюсти невредно целость:
Имей умеренность, держи в узде ты смелость;

Нас наглости во бедство мчат...

Пожалована мышь богами во медведи...

Крапива стала выше дуба;
На голой мыши шуба,
И из курячьей слепоты

Хороши вылились цветы.

Когда из низости высоко кто воспрянет;
Конечно он гордиться станет,
Наполнен суеты,

И мнит, как я еще тварь подлая бывала,
И в те дни я в домах господских поживала;
Хоть бегала дрожа,
А ныне я большая госпожа;
И будут там мои надежно кости;
На пир пойду к боярину я в гости.

(кн. V, пр. 59).

У боярина мыш-медведя встретили рогатиной и дубинами.

ПРОСЬБА МУХИ

Старуха

И горда муха,
Насытить не могла себе довольно брюха,
И сама она была гордейша духа.
Дух гордый к наглости всегда готов.
Взлетела на Олимп и просит там богов;
Туда она взлетела с сыном,—
Дабы переменить ее мушонка чином,
В котором бы ему побольше был доход¹.

Кот

В тот год
Прибытка вернова не меньше воевод
Кладет себе на щот.
Пожалуйте котом, вы боги, мне мышонка,
Чтоб полною всегда была его мошонка.

На смех

Прошением она богов тронула всех;
Пожалован: уже и зубы он готовит,

И стал коток

Жесток,

И вместо он мышей, в дому стал кур ловить;
Хотел он видно весь курятник истребить,

И кур перегубить;

Велели за ето ката убить.

Смерть больше всякия на свете сем прорухи;

Не должны никогда котами быти мухи,

Ниже во век

Каким начальником быть подлый человек.

(кн. V, пр. 60).

Здесь тема окончательно обнажена.

Из других поэтов достаточно будет привести здесь еще одну басню на ту же, в сущности, тему — Хераскова.

МАРТЫШКА ВО ДВОРЯНАХ

С полфунту накопя умишка,
Разумной сделалась мартышка,
И стала сильно врать;
А етим возгордясь, и морду кверху драть.
Но разве для глухова
Казалась речь умна оратора такова.
Оратор етот врал,
А сверж того и крал.

¹ Характерна эта мысль о корыстных мотивах карьеризма людей «низов».

И так он сделался из зверя дворянином,
 Пожалован был чином.
 В дворяне, господа, мартышку занесло,
 Так следственно у ней и спеси приростло.
 Поймала щастье в руки,
 На что уж ей науки?
 Мартышка дворянин, как ты ее ни весь,
 Обыкновенной герб таких героев спесь.
 Но благородной став из подлости детина,
 Сквозь благородие всем кажется скотина.

(П. У., 1761, II, 224).

Прямолинейность классового самосознания, классового презрения к «подлым» мартышкам (может быть, в басне имеется в виду и какое-нибудь определенное лицо) здесь также выразилась с предельной четкостью.

4

Дворяне, сознававшие себя аристократами и феодалами, видели в «низах», в купцах-откупщикам, в подьячих серьезную опасность именно потому, что подьячие и купцы имели нередко прямой доступ к центральному правительству, что в их руках находилась еще значительная власть. В конечном счете сатира против выскочек-парвеню, засоряющих дворянский корпус и нарушающих прерогативы дворянства, была направлена против правительства, против правительственной политики попустительств этим выскочкам. Самая возможность такой политики, с точки зрения аристократов, была обусловлена деспотизмом центральной власти, ее бесконтрольностью.

Между тем ни императрица, ни ее приближенные не собирались отказываться от замашек азиатской деспотии и ее сатрапов. Литераторы сумароковского круга вступают в борьбу — пока только лишь литературную — с сатрапами. Дело было сопряжено с опасностью, и надо было соблюдать осторожность. О поражении, которое потерпел Сумароков в своей борьбе с Сиверсом, я уже говорил. Еще раньше попытка хотя бы мимоходом, но все же почти прямо задеть представителей «знати», подняла целую бурю; между тем нападение заключалось в трех строках стихотворения и касалось вопроса не слишком принципиального вопроса о достоинствах итальянской актрисы или об ее красоте. Молодой человек, аристократ, поручик гвардии, Алексей Андреевич Ржевский, напечатал в «Ежемесячных сочинениях» за февраль 1759 года «Сонет или мадригал Либере Саке, актрисе италиянского Вольного театра»; видимо, и автор и редактор Миллер заранее знали, что сонет — штука не простая, а акт неповиновения по отношению к власти, выпад против двора. Во всяком случае, хотя сонет был напечатан вместе с другими стихотворе-

ниями Ржевского (Елегией, Стансом, двумя загадками и шестью мадригалами), но после них всех, причем подпись — инициалы автора — были поставлены перед сонетом, вслед за мадригалами, так что сонет оставался как бы анонимным (хотя он и не был обозначен особой римской цифрой, отделявшей в журнале произведения одного автора от произведений другого). Сонет был напечатан вообще на последней странице номера, так сказать, загнан в самое незаметное место. Тем не менее, удар попал в цель.

Дело в том, что Ржевский, прославляя в 11 стихах таланты и в особенности красоту Сакко, в последних 3 стихах сонета говорил:

Хоть неких дам язык клеветет тя хулоу,
Но служит зависть их тебе лишь похвалоу:
Ты истинно пленять сердца на свет рожденна.

Очевидно, «некие дамы» стояли очень высоко на общественной лестнице. Поднялась целая история (она изложена в работе П. Пекарского «Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755—1765 г.» Зап. Академии Наук, т. XII, кн. 2, 1868). В XVIII столетии, как и в начале XIX, похвалы актрисе и вообще оценка театральных дарований вовсе не были лишь проявлением эстетического вкуса критика; они выражали его позицию в борьбе групп или партий внутри столичного, по преимуществу дворянского общества. Так и выступление Ржевского, как кажется, приобретает большее значение, оправдывающее то обостренное внимание власти, которое было направлено на него в связи с сумароковскими выступлениями в печати против Сиверса и других, начавшимися еще в том же 1759 году, вращавшимися вокруг театральных же тем и к тому же исходившими от друга и учителя Ржевского, вождя литературной группы, к которой он принадлежал.

«Трудолюбивая пчела» Сумарокова, окончившая свое существование под давлением неприязненного двора, нужно признаться, с самого первого дня заявила о своей независимости по отношению к нему, о своей оппозиционности пред лицом правительства. Сумароков посвятил свой журнал «Ея императорскому высочеству государыне великой княгине Екатерине Алексеевне» при особых стихах, прославлявших жену великого князя «умом и красотой, и милостью богиня, о просвещенная великая княгиня!..». Конечно, в стихах, есть также официальный поклон по адресу императрицы Елизаветы, но выдвигание за счет краткого и казенного упоминания царицы подчеркнутых комплиментов великой княгине было, без сомнения, дерзостью. Ревность Елизаветы ко всякой похвале, адресованной не ей, известна; Сумароков же позволяет себе хвалить не только ум, но даже красоту Екатерины, и прибавляет указание о том, что она

мол, «просвещенная», звучащее, если не ошибаюсь, назидательно. В конце опять дерзость: Сумароков обращается к Екатерине: «И покровительством Минерва будь моя!» — так сказать, обходя императрицу, т. е. прибегает к защите не императрицы, а другого лица. Может быть, толкование, данное мною посвящению «Трудолюбивой пчелы», кажется с первого взгляда искусственным; может быть, это посвящение кажется просто обычным писательским жестом, общераспространенным в ту эпоху, — мол, посвящение, как все другие? Но я не могу не обратить внимания на дату этого посвящения, несомненно, подкрепляющую мое понимание его. Эта дата заставляет думать, что посвящение, действительно, было смелым политическим выступлением полускрытой группы оппозиционеров. Сумароков обращается к покровительству жены наследника престола, но когда? В конце 1758 года. Между тем, это был, вероятно, один из самых критических моментов политической жизни Екатерины, если не самый критический, самый опасный. Именно в 1758 году разыгрывалась драма суда над Бестужевым и Апраксиным. Шла война с Фридрихом II. Екатерина была заподозрена, и не без оснований, в заговоре, который она устраивала с канцлером Бестужевым, в непозволенной и противоправительственной переписке с начальником русской действующей армии Апраксиным, т. е. в государственной измене. Бестужев и Апраксин были арестованы и подвергнуты суду. 6 августа 1758 г. Апраксин умер во время допроса при обстоятельствах невыясненных, но которые легко себе представить. Дело Бестужева длилось до 5 апреля 1759 г., когда был объявлен приговор, осуждавший его. Бестужев был сослан в деревню, лишенный своего звания. Все приближенные Екатерины, поддерживавшие ее в борьбе придворных партий, были, также изолированы: Елагин и Ададуров сосланы, так же как еще несколько лиц. Любовник Екатерины Понятовский был отправлен за пределы государства. Сама она была в сильной опасности. Всем было ясно, что суд над Бестужевым и другими, что отсылка Понятовского — все это было походом не только против этих людей, а против центральной фигуры, объединявшей недовольных, против заговорщика внутри царской семьи, против Екатерины. Ее насмешки над Елизаветой и ее двором были не так важны, как ее план на случай смерти царицы. И то и другое делало ее опасной. Но ей удалось выпутаться, — впрочем, лишь путем рискованных и энергичных мер. Она вела себя как человек, которому нечего терять. Дело шло о том, оставаться ли ей русской великой княгиней (затевавшей уже планы на будущее, весьма смелые и дальновидные) или быть высланной на родину, а то и еще хуже. Сжигаются письма и документы, ведется интрига. Екатерине удастся не

то обмануть, не то просто успокоить царицу. Открытого скандала удастся избежать, хотя суд над Бестужевым и разгон группы Екатерины сами по себе являются немаловажным скандалом, в котором явно замешана та же Екатерина. Ее муж не скрывает недоверия и враждебного отношения к ней. Она в опале. В самый разгар злополучного бестужевского дела появляется посвящение «Трудолюбивой пчелы». Сумароков, а с ним и вся группа литераторов, возглавляемая им, открыто присоединяются к опальной, заявляя тем самым о своей солидарности с нею, прославляют ее, становятся под ее покровительство (дерзкий шаг — просить покровительства у деятеля, который сам в высшей степени нуждается в покровительстве), называют именно ее «своей Минервой».¹ Сумароковцы печатно засвидетельствовали свое отрицательное отношение к придворной интриге, направленной против Екатерины; но эта придворная интрига была выражением именно правительственной политики последних лет елизаветинского царствования. На фоне этого обстоятельства препирательства с официальными лицами на театральные темы так же, как и сплошная сатира на высокопоставленных подьячих, приобретает смысл политической борьбы. Дело шло о принципе деспотической власти и об аппарате правительственной машины, создаваемой этой властью на основе фаворитизма. Самоуправство деспотии и фаворитов, зажимающее свободу проявлений дворянского политического и культурного самосознания, должно было быть опорочено и, в конечном счете, ниспровергнуто. Шел подкоп против елизаветинского двора в пользу правительства, не только действующего в интересах дворянства (таким в основном было и елизаветинское правительство), но и ответственного перед дворянством, в частности перед его авангардом, аристократией рода и культуры, правительства, состоящего из людей, выделенных этим авангардом и открыто контролирующего монархию. Шла борьба за гарантии невозможности возврата петровского социального режима. При этом недостаточно было бить по засорению дворянства и правительства людьми из низов, против претензий подьячих и откупщиков на государственную роль. Необходимо было укрепить идею *point d'honneur* дворянина как такового, выяснить недопустимость начальнических замашек фаворитируемой верхушки правительства, опирающейся не столько на волю аристократии, сколько (субъективно) на

¹ Нужно думать, что также демонстративный характер имело посвящение Херасковым в самом конце 1761 года «Оды на человеколюбие. К ее сиятельству К. К. Р. Д.», т. е. княгине Екатерине Романовне Дашковой (П. У., 1761, II, 260), другу Екатерины, человеку определенных взглядов, будущей участнице переворота 28 июня 1762 года, уже в конце 1761 года определившейся как член фрондирующей группы Екатерины.

самодержавную волю деспота (объективно на петровскую систему государства). Литераторы сумароковского круга выступают в поход против гордости «знати», затирающей незаметных, но гораздо более нужных людей, одаренных всем тем, что дает, с их точки зрения, подлинные права на значение в обществе — породой и культурой. Дело идет к развязке. Молодые люди, начавшие работу как литераторы, и только литераторы, начинают домогаться политической роли. Они уже больше не хотят удовольствоваться положением вольных интеллигентов, отказавшихся от какого бы то ни было отношения к правительственной практике, но решительно вмешиваются в эту практику. Так, по крайней мере, обстоит дело в Петербурге. Но и московская группа, несмотря на свойственную ей теорию непротивленчества, поддерживает выступления Сумарокова.

Одна из ходких тем в сатирическом творчестве писателей — независимых аристократов — тема пустой гордости, нелепого надутого чванства людей, ни мало не имеющих права гордиться и надуваться. Чванливая гордость, противопоставляется унижаемому истинному достоинству, крепкому, незыблемому и со временем доказывающему свою добротность. Аллегория этой темы ясна: речь идет о недостойных вельможах, блестящих только из-за их «случая», заимствующих свой блеск от деспотии, и о настоящих «благородных» людях, блеск которых прочный, хотя и не признаваемый существующими порядками, не зависит от воли деспота, а принадлежит им искони и по праву. Группа басен на эту тему дана в сборнике Хераскова «Нравоучительные басни»⁽¹¹⁾ (правда, изданном несколько позднее, в 1764 г.; но данная концепция взаимоотношений фаворитизма с феодальным правом, возникшая в елизаветинское время, сохранила свою силу и позднее).

5

Середина XVIII века — период максимального укрепления в России власти дворян-помещиков вообще, период растущей интенсификации крепостной эксплуатации. Помещик стремится к подьему доходности своего крепостного хозяйства, подбираясь все ближе к вопросу о расширении экспорта и вообще торговли продукцией этого хозяйства. Он хочет осесть в деревне и хозяйствовать в ней. Для этого он должен освободиться от обязательной службы. Он борется за право быть помещиком, а не солдатом. Деревня представляется ему его собственным государством, и он был бы рад уклониться от роли подданного с тем, чтобы заменить ее ролью самостоятельного владельца.

Пропаганда «вольности дворянства» оборачивается пропагандой тяги в деревню. Литература открывает систематическую кампанию в прозе и стихах. Деревня, тишина, природа, простые нравы послушных крестьян противопоставляются разврату города, столицы, неудобствам жизни в ней. Дворянский поэт недоволен в столице не совсем тем, чем он возмущается в ней через шестьдесят лет, загоняя своего героя в цыганский табор или на Кавказ; хотя все же имеются и точки соприкосновения.

Дворянский поэт конца царствования Елизаветы ущемлен в столице по линии самых дорогих для него прав; он лишен полной свободы действий; ему мешает самовластье, полицейский пикет, рогатка, преграждающая ночью улицу, близость тайной канцелярии, начальнический окрик, служебная интрига, фрунт, в котором он должен быть рабом. Деревня, его собственная деревня, манила его освобождением от всех пут бюрократической власти. На этой почве и возникла поэтизация деревенской простоты и даже деревенской природы в творчестве дворянских писателей.

Это был своеобразный помещичий руссоизм, исходящий, конечно, из позиций, противоположных позициям Руссо, но имеющий тенденцию принимать на себя черты модного увлечения простотой жизни в природе. Собственно говоря, исконная пасторальная тема дворянской литературы окрашивалась в тона нового социального протеста, но протеста, по сравнению с подлинно-руссоистическим изменившего основную установку: это был протест справа.

Поэты «Полезного увеселения» не уставали воспевать привольную жизнь в деревне, конечно, имея в виду жизнь помещика. Уже в первом номере журнала помещена ода (может быть, Хераскова), сравнивающая мнимое счастье людей, «на высокой степени» «утопших в страстях», с подлинным счастьем мирной жизни «в простоте», повидимому, в деревне. Мысль оды: не стремись к вельможной пышности, живи спокойным, независимым помещиком, который не обязан лицемерить («Нет в них дружба невольна»), который «Дух имеючи в свободе, Служит он своей природе, А не служит суетам», который «Не боится смутна року И нещастия погод»... и т. д.

«Щастливым я того человека почитаю, которой, будучи доволен, наслаждается здоровым воздухом в своей деревне, презрев все пышности градские и оставя лествю наполненной свет», — так начинается небольшой отрывок «Уединенная жизнь» (может быть, перевод) А. Н. (П. Ч., 1761, I, 22).

Херасков возвращается к этой же теме в замечательном стихотворении «Приятная ночь» (П. У., 1761, I, 214). Здесь, может быть, впервые в новой русской литературе даны

элементы эмоционально осмысленного ночного пейзажа, уже несколько напоминающего преромантические мотивы; помещичий руссоизм проявлялся, очевидно, и в под'еме специфически окрашенного культа природы. В конце стихотворения говорится:

Здесь сердцу моему натура знать дает,
Коль хочет человек спокойства, то найдет;
Найдет в объятиях жилища безмятежна,
Отколе и сама бывает неизбежна.
Сколь заразительна природы красота,
Не чувствует того во граде суета.
И можно ль, чтоб она на тех местах казалась,
Где вон и из сердец у многих изогналась?
А здесь вещает мне о ней и птичек глас,
И новые красы в ней зрю по всякий час.
Невинность жителей с свободой их согласна.¹
И словом заключить: здесь жизнь со всем прекрасна.
О! ты, ночная тень, покрой меня теперь
И затвори ко мне мечтаньям светским дверь.
Натура! хладною ты всех моча росую,
То сделай, чтоб и все пленялися тобою;
Чтоб слабым суетам оставили служить,
И чтоб все жили так, как ты велела жить.

Следовательно, жизнь в деревне есть выполнение закона природы. Ту же тему развернуто дает Ржевский в стихотворении, обращенном к Хераскову. Здесь вскрыты основные пружины этой темы:

СТАНС

(Сочинен 1761 года июля 19 дня по выезде из деревни Г. . . . Х).
(т. е. Хераскова *Гр. Г.*)

Прости, приятное теперь уединенье,
Расстался я с тобой,
В тебе я чувствовал прямое утешенье,
Свободу и покой.
Гражданска (т. е. городская) суета мой, дух, не возмущала;
Любезна простота
Селян незлобивых меня там утешала.
И места красота.
Сколь мило слушать то, как птички воспевают
По рощам меж кустов!
Милый, что люди все без злости пребывают;
Там нет клеветников.
Там злота с завистью меж них не обитает,
И царствует покой;
Единая истина сердцами обладает,
Там век цветет златой.
Там нет насилия, там нет и утеснения
От общих всем врагов.
В равенстве все живут, от сильных нет
грабленья,
Не слышно стону вдов.
Херасков! разлучась со мной, ты там остался,
Где век златой цветет;
А я жалеючи, мой друг, с тобой расстался,

¹ Характерно это социально-политическое утверждение.

Чтоб жить, утех где нет.
Играи мыслями, играть моей душою
Угодно знать судьбе.
Ища спокойствия, лишенный здесь покою,
Завидую тебе.

(П. У., 1761, II, 54).

Трудно себе представить более отчетливое прославление крепостнического «рая». Те же мотивы разворачивает Херасков опять в оде «Сельская жизнь» (П. У., 1761, II, 98):

Вображаю в сладкой воле
Здесьни золотые дни..
И не чувствует здесь бремя
Светской жизни человек....
Здесь веселье прибавляет,
Век, минуты мне твои.
Дух, спокойствием насыщенный,
И мирских забав лишенный
Не мутится от клевет,
Не мутится гордым оком,
Не мутится злобным роком;
Любит он и знает свет....

В деревне.

Тьмы забав забавы льют.
Тамо нивы, хлебом полны,
Расстилаются как волны,
Тамо птички хор поют....
Здесь в пристанище спокойном
Я не чувствую того,
В свете пышном и нестройном
Сколько есть вреда всего.
Здесь естественны уставы
Управляют общи нравы, и т. д.

Все эти произведения, вышедшие из группы «Полезного увеселения», повторяют и развивают мысли, изложенные Сумароковым в статье «Письмо о красоте природы» (Трудол. пчела, 1759, стр. 312). Вообще говоря, конечно, это мотивы странствующие и широко распространенные в мировой литературе (Ср., напр., Горациевское *Beatus ille qui prociū negotiis*, отраженное и в переводе Н. Поповского и в переводе Третьяковского, и в статье его «О беспорочности и приятности деревенския жизни»). Но меня интересует здесь тот специфический смысл, который приобрели эти ходячие в поэзии классицизма мотивы именно в руках поэтов школы Сумарокова.

«Оставь меня, мой друг в моем уединении, — начинает Сумароков, — и не привлекай меня видеть великолепие города и пышность богатых». Затем идет панегирик красота природы, побеждающим суетную роскошь, городов, и прославление спокойной, привольной жизни в деревне. «Не препятствуют моему сну тягостные мысли; с удовольствием засыпаю и с удовольствием пробуждаюсь. Притворства я здесь не вижу, лукавство здесь не известно. Одеваюся я как мне покойно, говорю и делаю, что я хочу и в поведении своем кроме себя никому не даю отчета. Что делается на

свете я знать не любопытствую и, удалившись света, в простоте и в моем уединении обретаю время золотого века» — словом, идеал независимости, автономии в своем поместье при полной социальной пассивности. Но чтобы достигнуть этого идеала, приходилось быть активным.

Вопрос о «помещичьем руссоизме» непосредственно ставит нас перед проблемой взаимоотношения теорий русских дворянских оппозиционеров с философскими, а также и политическими течениями в Западной Европе.

«Не должно ли нам, любезные Россияне! радоваться, что мы, нашед в чужестранных книгах, открыли себе путь к наукам? не должно ли нам веселиться, что мы прилежно и старанием людей разумных довольно уже видим книги и на своем языке?» — пишет журнал кадетского корпуса «Праздное время в пользу употребленное» в программной статье «О беседах и книгах» (1759, № от 2 янв.). Вкус к чужестранным книгам, действительно, был велик, что не дает нам права, конечно, говорить о «подражательности», т. е. неорганичности, искусственности русской культуры данного периода. В частности, много читали философов и политических писателей. При этом интересы и чтения вовсе не ограничивались кругом французской литературы. Философская культура в смысле пассивном, т. е. в смысле осведомленности, была вообще довольно высока именно в той группе литераторов, о которой я говорю. Если мы просмотрим статьи Сумарокова, в которых идет речь о философии, то мы увидим, что он разбирается во взглядах, в деятельности Локка, Декарта, Лейбница, Спинозы, Бейля, Эддикура, Вольтера, Руссо, Гоббса. Конечно, Локка Сумароков читал во французском или немецком переводе, но он черпал все же сведения о нем об английских мыслителях, вообще из первых рук. Немецкая же умственная жизнь была издавна столь же близка и во всяком случае столь же известна русским дворянским начетчикам, как и французская. Вообще они могли выбирать, потому что были людьми широко образованными. Языки они знали также хорошо. Например, Херасков знал кроме французского еще и итальянский и немецкий, может быть, и английский язык. Немецкий и итальянский знал и Сумароков. И в чисто поэтической сфере их интересы вовсе не замыкались французской классикой. Сумароков переводит Флеминга, пишет стихотворное послание «Каршин»; Херасков переводит Метастазию, любимца всех писателей XVIII века в России, подражает Мильтону и Клопштоку и т. д.; что, может быть, еще интереснее, русские поэты и во Франции знают и ценят не только классиков, Херасков переводит сонет Амана, Сумароков пишет сонет, по теме восходящий к Тристану Л'Эрмит, знает о Франсуа Виллоне.

Немецкая академическая ученость, преобладавшая в Московском университете и Петербургской Академии наук, несмотря на неизбежное отталкивание от нее помещиков-интеллигентов, знакомила их с современной Германией, с ее умственной жизнью. С немецкого переводят очень много и печатают во всех журналах группы учеников Сумарокова, в особенности в «Праздном времени». С немецкого перевел басни Гольберга Фонвизин, так же как с немецкого и книгу «Торгующее дворянство» (аббата Куайе). Немецкие анакреонтики, без сомнения, повлияли на создание многих русских стихотворений 60-х—70-х годов. Многие сближало вообще культуру дворянства России и Германии, и прежде всего экономическая отсталость, сравнительная крепость феодальных устоев. В свое время, несколько позднее, эта близость окажется настолько существенной, что она свяжет пути помещичьей реакции Германии и России в одно движение, частично объединенное даже организованно (в масонстве). Что же касается теорий и взглядов, то несмотря на широкую осведомленность и близость к Германии, больше всего черпали все-таки у французов.

На это толкало само положение фрондеров. Русские интеллигенты-аристократы были недовольны существующим. Они образовали группу, спаянную интересами протеста и борьбы, ориентированную на поддержку близких ей социальных слоев — помимо власти. Они чувствовали себя гонимыми, находящимися под постоянной угрозой борцами за правду и, главное, за свободу. Они хотели ниспровергнуть произвол деспотии и дать расширенные политические права народу, хотя под народом они разумели исключительно дворян. Они протестовали против подчинения человека человеку и поэтому против личного рабства; так, они были недовольны формами крепостного права, на что были глубокие основания и в экономике их родовых поместий. Во всяком случае, они оказались в положении врагов правительства и традиций власти во имя идей свободы и человечности.

Им нужно было идейное оружие, и они нашли его во Франции XVIII века. Они видели и там борьбу деспотии с идеями свободы и целую плеяду мыслителей, обосновавших эти идеи и философски и политически. Они схватились за оружие, которое выковывали эти мыслители. На первый случай они не разбирались в том, что во Франции объективно борьба идет за власть буржуазии, а вовсе не за возврат к феодализму, хотя бы и обновленному. А если и разбирались, то от этого дело не менялось. В начале 60-х годов в России аристократы не видели серьезной опасности со стороны русской буржуазной, а тем более мелкобуржуазной революционной идеологии. Петровская буржуазия

не была политически радикальна и вовсе не была похожа на французскую. Новая «разночинская» идеология еще не народилась, во всяком случае не окрепла. Драться аристократам приходилось против правительства, т. е. против своих внутриклассовых врагов, против русского купца и подьячего, еще служившего в конечном счете тому же дворянскому режиму. Политическое и философское свободомыслие оформляло борьбу группы, по существу консервативной, потому что те элементы внутриместной капитализации, которые могли прорасти в экономике группы аристократов, не могли все же определить ее лица как буржуазного. Это были пока что тенденции развития внутренних противоречий феодального поместья, не дающие права говорить о переходе его в новое качество. Попадая в среду дворянских фрондеров, французские идеи существенно изменялись; кроме того, чуть только эти идеи начинали идти слишком глубоко, дворянские вольнодумцы немедленно били отбой; в-третьих, из различных течений французской просветительной мысли XVIII века они останавливались чаще всего на наименее «левых». И все же факт остается в силе. Феодальная фронда реформированных российских «столбовых» помещиков в процессе борьбы с бюрократической деспотией и в то же время с остатками петровского «демократизма» воспользовалась идейным оружием, созданным для себя буржуазной Францией, быстро шедшей к революции. Также было и позднее, в последней трети столетия, когда те же херасковцы, а потом и их ученики, все более «правая» по существу, взялись за оружие буржуазии, уже окончательно созревшей для захвата власти, за сентиментализм, и перекроили его на свой лад. И разве не усвоили элементы буржуазной драматургии в своих трагедиях сам Сумароков, что не мешало ему метать громы и молнии против «Евгении», в которой борьба против дворянства слишком резко окрашена социально? Но самый метод моральной пропаганды был нужен Сумарокову, и он воспринял его от буржуазных писателей.

6

В том и была двойственность идейной позиции дворянской интеллигенции 50-х и 60-х годов, что она сражалась во имя освободительных идей, которые, однако, должны были обеспечить сохранение феодально-крепостнических отношений, хотя бы в «подправленном» виде. В сфере идеологической это приводило к постоянным внутренним конфликтам и шатаниям.

Без сомнения, наибольший интерес в среде русских дворян-интеллигентов из всего богатства философских идей, разработанных западными мыслителями, привлекали те раз-

дела идеологии, которые имели непосредственно практическое значение: мораль, проблема воспитания, социальная мораль и политика, наконец, проблемы отношения к религии и церкви. Наоборот, когда начала складываться идеология русского разночинца, он заинтересовался «общими» отвлеченными проблемами наравне с практическими. Его интересовала не только практическая этика, но и теория права вообще, его интересовалиgnoseологические проблемы; вопросы религии он поставил иначе, принципиальнее и шире на общеисторической почве.

К вопросам метафизики аристократ-интеллигент проявляет скорее скептическое отношение; они не интересуют его, и он не доверяет философским глубинам. Он весь в практике сегодняшнего дня, в конце-концов весь в текущей политике своего класса, несмотря на ультра-отвлеченный облик своей поэзии. Основы его социального бытия, оправданного для него по методам практического и культурного мышления, не нуждаются для него в дальнейшем философском обосновании. С детства он усвоил удобное бытовое мировоззрение, известную сумму религиозных и моральных навыков, и они в основном вполне удовлетворяют его интеллектуальные потребности. Всякое дальнейшее копание, слишком глубокие вопросы, слишком пытливый подход к мировоззрению может только лишь выбить человека типа Сумарокова или Хераскова из его позиций, может прояснить то, что для него должно быть скрыто, окружено священной тайной, может нарушить покой и равновесие его идейного мира. В этом — проявление внутренней, глубоко запрятанной реакционности этих людей, их исторической пассивности, их боязни не только подрывать основы, но даже вообще обнажать их. Страх перед историческим прогрессом создавал философский индифферентизм, явственно поступающий через их бесконечные многословные морально-философские рассуждения. Их скепсис и их недоверие к метафизике совсем иной породы, чем критическое недоверие идеологов передовой буржуазии. У этих последних — дерзание сорвать все покровы; у русских дворянских литераторов — боязнь прикоснуться к ним. Там идеалистическая метафизика снималась во имя сенсуалистического, эмпирического, а затем и материалистического знания; здесь она отводилась как опасная глубина.

В самом деле, чего могли ожидать российские феодалы от учителей западной философии XVII—XVIII веков? Самое содержание учений этой философии им вовсе не подходило; в них заключалась установка враждебной им практики, практики более или менее буржуазной. Иное дело Ломоносов или Тредиаковский. Реальнейшие задачи технического развития страны сталкивали первого из них с теоретическим

обоснованием новых учений о мире; образование, полученное вторым из них, в Париже, профессиональные занятия наукой, самый склад идеологии Тредиаковского, может быть, первого русского «разночинного» интеллигента, заставляли его, как и Ломоносова, интересоваться философскими проблемами, хотя и тот и другой все же лишь в малой мере откликнулись на философское брожение Запада. Нужно было появиться в литературе радикалу-«разночинцу», нужно было ему осознать свою связь с движением буржуазии на Западе, чтобы могла быть написана книга Я. Козельского «Философические предложения».

Что же касается аристократической интеллигенции, то она лишь в малой мере была затронута философскими интересами. Тщетно Карамзин пытался освоить науку Запада во всех ее проявлениях. С Кантом он мог беседовать лишь о Китае, сочинений его не понимал, а из философов ценил больше всего Бонне; «изящными», ответил он на вопрос Платнера, какими науками он хочет заниматься. И для него философия исчерпывалась моралью и лишь в малой мере политикой. Слабость научно-философских интересов характерна еще для пушкинского круга, для самого Пушкина в том числе.

Сумароков так начинает свое «Письмо к приятелю», посвященное вопросам онтологическим (это — редчайший случай такой темы; самое письмо было написано и напечатано по-немецки с авторским переводом. Свободные часы, 1763, стр. 186): «Поетам позволено изображать кажущееся истиною, хотя оно и не основательно. Логики дела свои выводят основательными заключениями, Физики опытами. Математики выкладками; но сколько философов, составивших системы Поетические! Почти вся Картезианская философия есть голый Роман. Все без изъятия Метафизики бредили, не исключая славного и славы достойного Лейбница»; далее он предлагает свои мысли о материи (восходящие именно к Декарту), оговариваясь, что они тоже недоказательны: «может быти, что и то бредня; но мне как Поету его отпустительно».¹

Не бреднями для Сумарокова, как и для его учеников, оказывалась этика. Когда Сумароков, уже в конце своего творческого пути, дважды пытался изложить систематически свое мировоззрение, он решительно все время сбивался на вопросы морали и религии, крепко для него связанные между собою; первый раз — в статье «Основание любомудрия», написанной в 1772 г. и подробно разбирающей вопросы бытия бога, основы морали и взаимоотношения знания и

¹ В статье «Господину Пассеку: вот наш бывший разговор» (1774) Сумароков писал: «Естество разделяется на духи и вещество: что духи, я не знаю; а вещество имеет меру и вес».

религии; второй раз — в работе «Некоторые статьи о добродетели», написанной в 1774 г. (название, может быть, дано Новиковым. Обе статьи, напечатаны впервые в П. С. С., VI том).

Тема «добродетели» все время всплывает в творчестве всех поэтов и прозаиков школы Сумарокова. Это — стоическая добродетель отречения от личных интересов, от эгоистического стремления к благам жизни. Иногда писатели-херасковцы восстают против крайностей стоических увлечений, но в основном — они проповедники стоицизма. Их сухая, неподвижная этика, их мертвенный идеал добродетельного человека, отказавшегося от всех «страстей», идеал, так явственно ведущий назад, в глубь истории, ведущий вдаль от практических завоеваний ее, идеал обреченной на регресс группы, идеал самообуздывания и обуздывания хода истории в целом, — как он не похож на активные, полнокровные, уже с самого начала (сентиментальные представления о добродетели английского и французского буржуа XVIII века, для которого добродетель — это гарантия честности торговой фирмы, основа крепости семьи, как хозяйственной и общественной единицы, обеспечение нормальной, спокойной, уверенной в себе жизни человека, целиком — на земле, целиком погруженного в практические, бытовые интересы. Гельвеций с ненавистью говорит о стоицизме, даже в своей поэме *Le Bonheur*. Освобождением индивидуальных человеческих стремлений, «страстей» дышит все творчество энциклопедистов. Дидро призывает юношу в публичный дом или, чтобы избежать опасности заразиться, предлагает ему онанизм, как здоровую меру самосохранения. Это была его добродетель. Ведь именно Дидро написал сентиментальную драму о добродетельном отце. Добродетель павших — эта тема уже привлекает к себе внимание буржуазной литературы Запада. Наоборот, русские дворянские интеллигенты в ужасе от всякого пятна на кондуите своих героев. Они судят людей не по законам индивидуальной психологии, а по безликим жестким законам своей моральной схемы. Сумароков, полемически и издеочно излагая содержание драмы Бомарше «Евгения», не понимает самого принципа морального подхода буржуазного драматурга к своему герою. Заблуждение чувства он судит непреклонным мерилom внешнего закона. «Сей повеса и обманщик, достойный виселицы за поругание религии и дворянской дочери (характерная деталь! — *Гр. Г.*), которую он плутовски обманул, обманывает другую невесту, знатную девицу; входит из бездельства в бездельство; отказывается невесте и, вдруг переменив свою систему, опять женится вторично на первой своей жене; но кто за такого гнусного человека поручится, что он на завтра еще

на ком-нибудь не женится, ежели правительство и духовенство его не истребят. Сей мерзкой повеса не слабости и заблуждению подвержен, но бессовестности и злодеянию». Все это совершенно за пределами психологического анализа Бомарше, уже стоящего на позиции «понять — простить». Противоречивость, душевных движений, вообще сложность душевной жизни недоступна Сумарокову. Он видит в ней механическую непоследовательность, «перемену системы», недопустимую и невероятную. Он, как и все его ученики и друзья, не собирается погружаться в разбор мотивов и причин человеческих действий; они судят эти действия. Мотивы действий — индивидуальны; их же интересует лишь обязательное, закономерное. Мотивы и причины действий конкретно социальные, следовательно, ставят вопрос о вменяемости; этот вопрос они отводят, так как он подвергает сомнению все основы их бытия — с их точки зрения — мирового порядка. Мораль Вольтера, а тем более Дидро, связана с современной ей эмпирической наукой и пользуется символами римских республиканских доблестей, мораль Сумарокова уходит корнями в средневековый аскетизм.

Между тем, если мы подойдем к вопросам этической пропаганды, напр., группы Хераскова внешним образом, то трудно будет отрицать многочисленные черты сходства между нею и соответственной пропагандой буржуазных писателей и публицистов Запада: аналогичные темы, сходные формулы выражения морального пафоса, тот же либеральный тон и характер, приданный утверждениям морального идеала, та же мысль показать добродетельного человека как представителя угнетенной группы общества, лишенной власти, тогда как власть находится в руках морально разложившейся верхушки; только верхушка эта — другая; разные и группы, угнетаемые властью; у одних — это честный, богатый купец (чаще всего, или же благоразумный фермер); у других — это отрекшийся от страстей, рационалистически подчинивший себя дворянскому «долгу» аристократ; а в этой разнице все дело.

Характерно следующее: если для моралистического мышления и, в частности, для литературы французской буржуазии XVIII века (как и английской) одной из основных тем является тема семьи, крепкой, дружной семьи, то в творчестве русских писателей в середине столетия эта тема не играет никакой роли. Дети появляются в ней лишь как объект дворянского воспитания, проблема которого разрешается вне вопросов о структуре семьи как единства. Любовь к детям — не тема русских дворянских интеллигентов. Даже Меропа Вольтера, которой они уделяют должную дань комплиментов за то, что она «без любви тронула всех сердца» (Сумароков, Письмо о стихотв. 1748; см. также статью

«Мнение во сновидении о некоторых франц. трагедиях»), не вызывает здесь подражаний. Но подражание «Меропе» появилось немного позднее; это — трагедия «Велесана» Федора Козельского (см. его Сочинения, 1778 г.). Имя автора, одного из франц. «разночинцев» в русской литературе (речь идет не о биографии, а об идейной установке), объясняет дело. В «Российском Феатре» «Велесану» не перепечатали.

Другой мотив той же темы — супружеская любовь, бытовые связи мужа и жены и т. п., словом, культура супружеских «добродетелей», тема, весьма распространенная у французов, также отсутствует у российских дворянских интеллигентов. И дело здесь не только в проблеме «сентиментализма». Дело в ненужности для них этой темы. Для них все еще любовь кончалась браком; для них брак — это только факт реализации любви в самом узком смысле и еще факт дворянского родословия. Для французов, таких как Дидро, брак — это основная единица общества, это бытовая, государственная, экономическая организация, укрепленная и освященная специфическими эмоциональными, моральными, идейными связями.

Фонвизин в «Недоросле» затронул проблему брака как будто по-новому, но никак не сдвинул ее с места по существу; у него получаются все-таки правила для сохранения внешнего мира в дворянской семье, правила сохранения рода и дворянского дома. К тому же правила остаются только правилами, опять моральными рецептами весьма отвлеченного характера (я имею в виду речь Стародума, д. IV, сц. 12). И все же Фонвизин писал это уже в начале 80-х годов, т. е. в других условиях; и все же Фонвизин в это время был затронут влиянием буржуазной драмы. Однако, когда еще позднее он прямо поставил тему о браке в своем «Друге честных людей», видно стало, насколько он человек 60-х годов. На факт «измены» мужа, на развал семьи он реагирует просто, без всякой психологии. Пусть жена угождает мужу, и он вернется к ней от своей соблазнительницы, и все будет опять попрежнему. Как трудно восстанавливается разрушенная семья у буржуазных писателей и как легко у Фонвизина! Понятие любви в браке и внутренних связей семьи у него облегчено. «Только, пожалуй, не имей ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила бы. Имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила», — поучает Софью Стародум в «Недоросле».¹

¹ Характерна статья в «Праздном времени» — «Письмо о матерях, кои не хотят кормить сами детей своих» (1760, II, 96). Тезис ее заглавия ведет нас к идеям буржуазной семейственности (ср. Руссо). Но текст разочаровывает; в нем вопрос поставлен в медицинской плоскости, а не в социальной, не в эмоциональной и т. п. Ср. также характерное стихотворение Хераскова. «Благополучной брак». («Новые оды», 1762).

Что же касается вопросов религии и церкви, то, конечно, и сам Сумароков, и его ученики не стояли на позициях традиционной церковности. Наоборот, они в вопросах религии были «вольнодумцами». И здесь они восприняли кое-что от западной полубуржуазной и буржуазной мысли. Но пределы их религиозного либерализма были не широки.

Для них авторитетом является Локк. Сумароков написал целую статью «О разумении человеческом по мнению Локка» (1759, Трудол. пчела, стр. 260). Здесь он излагает сочувственно основную мысль Локка: «Локк отрицает врожденные понятия»; при этом он стоит на сенсуалистической точке зрения: «Все то, что мы не понимаем, выясняется в разум чувствами. Рассуждение кроме данных ему чувствами никаких оснований не имеет», «Что Лев и что Медведь, не врожденный разум человеку сказывают, но взор. Что колокольный звон и что пушечная пальба — не разум сказывает, но слух. Как пахнет корица, гвоздика, не разум сказывает, — обоняние. Что удар телу боль делает, не разум то сказывает — осязание. Разум ничему нас не научает, чувства то делают. Все движения души от них. Что холодно и что горячо, разум ли сказывает? Разум есть не что иное, как только содержатель воображений, порученных ему чувствами», и ниже: «Разум ничего не делает, лишь только сохраняет то, чем его чувства обогащают».¹

Между тем Сумароков опасается сделать из этих положений те материалистические выводы, которые сделали из них французские мыслители. В этой же статье он говорит, хотя и между прочим, о «премудрости нашего создателя», которая, по его мнению, не уменьшается высказанными им соображениями.

Писатели «Полезного увеселения» все признают бытие бога, все настаивают на основных положениях религиозного мышления. Их религиозные представления не ортодоксальны; все они более или менее деистически настроены. Они обосновывают религию морально. Проблематика религиозной онтологии явственно отступает для них на задний план перед этически-телеологической точкой зрения на религию. Мистика пока что чужда им. Они стремятся разрешить вопрос религии рационально, даже в интересах социальной практики в вольтеровском духе. В этом отношении они вполне эмансипированы от официально-церковных представлений. Они — против «суеверия», но они за признание основных религиозных положений. Их критерии — светские

¹ Сумароков упоминает о Локке в статье: «О суеверии и лицемерии» и в басне: «Два повара» (1765: «Бугавен, Эйлер, Лок, Картезий и Невтон».

и не авторитарные, а логические и социальные. Они хотят сохранить бога, но не хотят традиционного понимания его. «Откровенная» аргументация им чужда. Они борются против веры, убивающей знание, настаивая на своем отношении к божеству как к объекту знания и принципу морального построения общественной безопасности. Они пишут очень много стихотворных псалмов и молитв, но избегают христианской тематики. Их религия — это расплывчатое признание отвлеченного начала морального блага и порядка в мироздании и, в первую очередь, в обществе. Даже, когда Херасков пишет «Оду христианскому закону» (редкий случай), он прославляет его не как реализацию истины как таковой, а как принцип человечности и терпимости; он говорит в оде об исторической роли христианства, относится к нему как к факту смягчения общественных нравов. При этом изображение жестокостей языческого суеверия, поощрявшего пороки, сильно напоминает инвективы Вольтера против католицизма (Ежем. соч., 1756, I, 99). Вообще дворянские интеллигенты солидаризируются с Вольтером (но не с Гольбахом!), видя в нем при этом именно допущение религии и не замечая относительности этого допущения. Они готовы принять вольтерианство как борьбу с христианским суеверием, не рвушую при этом связей с религией вообще. Сумароков цитирует Вольтера так, что у него Вольтер выглядит религиозным: «г. Вольтер говорит: грешить — есть дело человеческое, а упустить прегрешения есть дело божественное». («Нек. ст. о добродетели»). Однако Сумароков, восторгаясь «Меропой», замечает: «Жаль только, что отчаянная Меропа, будучи добродетельна, сердится на богов». И ниже: «Действие окончалось речью Меропы, сочиненною самими Музами. Меропа пакй в отчаянии против богов говорит дерзко. Я добродетельных людей никогда против богов говорить не заставляю, но сие принадлежит, может быть, только до вкуса». Последнее замечание характерно (см. статью «Мнение во Сновидении о некоторых французских трагедиях» П. С. С., т. IV). Вольтера чтут и ученики Сумарокова, так же, как и Локка. «На что знать Локка мне, Волтера, Невтона, Вольфа и Гомера?» — спрашивает отрицательный персонаж в стихотворении С. Нарышкина «Рассуждение» (П. У., 1761, I, 198), тем самым рекомендуя читателям именно этих писателей.

И сам Сумароков и его ученики — вольтерианцы в отношении к официальной церкви. Они тоже хотят «*écraser l'infâme*». Для них церковь как государственная организация включена в общую систему бюрократической власти, с которой они борются. Она освящает деспотию; она поддерживает полицейский режим. Поэтому они против нее,

они не признают ее запретов, абсолютности ее авторитета. Они хотят поставить на место этого авторитета силу разума, который, по их мнению, предоставит им (именно им, дворянам) свободу мысли и действий. По отношению к претензиям церкви властвовать, к церковным организациям, имеющим характер мирской силы, по отношению к монастырям и их богатствам они смелы и беспощадны. Здесь они — вполне «вольнодумцы».

Сумароков в своей утопии «Сон щастливое общество» (1759, Тр. пч., 738) говорит, что в его идеальном государстве «Духовные содержатся в великом почтении, которого они достойны. Они во многом подобны стоическим философам; ибо страсти самую малую искру области над ними имеют, а они равны и во благополучии и во злополучии. Благодетствие, не допускающее примеситься к себе суеверию, в сей стране есть основа всего народного благополучия. Клище привыкли они необходимой. Кроме необходимости, ни в чем ничего не требуют и довольствуются содержанием без малейшего излишества, не имея при том ни малейшего вредного человеческого естеству недостатка. Все они люди великого учения и беспорочной жизни... Во светские дела они ни под каким видом не вмешиваются, а науки благодетствия просвещением почитают. О домо-строительстве они не пекутся; ибо содержит их общество, и получают они определенное, а больше того им никто участно дать не дерзнет; ибо то наказанию подвержено... Суеверия и лицемерия они неприятели... Это изображение, напоминающее вольтеррианские прославления идеальной китайской религии, заключает в себе достаточно ясную сатиру на православную церковь. В частности, характерно указание на отсутствие в идеальном государстве церковных имуществ и изъятие у церкви элементов государственной власти.

Говорить прямо о православной церкви и официальной церковности при двойной цензуре по тем временам было трудно. Тем не менее, обиняками и намеками дворянские вольтеррианцы жалили и ту и другую. Сумароков, например, прозрачно писал о «суеверии»:

Преподлый суевер от разума бежит,
И верит он тому, чему не надлежит;
Он вздору всякому старается поверить,
Стремится пред самим он богом лицемерить.

Или, напр., такая «Эпиграмма», заключающая полемику и автоапологию:

Пожалуй, не зови меня безверным боле,
За то, что к вере я не причитаю врак;

Я верю божеству, покорен вышней воле,
И верю я еще тому, что ты дурак.

(Труд. пчела, 1759, 369)

Не говоря о эпиграмматическом характере, об остроте в данном стихотворении, в нем заключена сумма религиозного мировоззрения вольнодумных дворянских интеллигентов; признание божества и практическая мораль — в этом для них замыкалось содержание всякой истинной религии, остальное — от «суеверия». Нет надобности говорить, что такой взгляд повторял учение Вольтера, Монтескье и др.¹

«Димитрий Самозванец» Сумарокова начинается целой дискуссией о церкви и религии. Тиран, деспот и злодей. Димитрий отстаивает точку зрения церковного «суеверия», а идеальный Пармен излагает мысли самого Сумарокова. Конечно, Димитрий защищает не православие, а католицизм, но цензурный характер этого иносказания ясен, особенно, если учесть политическую злободневность всей трагедии. Речь в данном диалоге, конечно, идет о церковности в современной России. Димитрий заявляет, что он заставит Россию подчиниться римскому папе.

Пармен отвечает:

Мне мнится человек себе подобным брат:
И лжеучители рассеяли разврат,
Дабы лжесвятости их черни овещались,
И ко прибытку им их басни освящались.
Нам наши пастыри того не говорят,
И с ними развратясь судьбу благодарят.
Сложила Англия, Голландия то бремя,
И пол Германии; наступит скоро время,
Что и Европа вся откинет прежний страх,
И с трона свернется прегордый сей монарх.
Который толь себя от смертных отличает,
И чернь которого как бога величает.

Димитрий. Толь дерзостно, Пармен, о нем не говори;
Сие светило чтут и князи и цари!

Пармен. Не все к нему, не все усердным сердцем таят,
Но многие его притворно почитают:
И виден только в нем вселенский патриарх:
Не мира судия, не бог и не монарх.
А папа вить не всех людей скотами числит;
Разумный человек о боге здраво мыслит.

Димитрий. Во умствовании не трать напрасно слов:
Коль в небе хочешь быть, не буди философ;
Премудрость пагубна, хотя она и льстивна.

Пармен. Премудрость вышнему быть может ли противна?
Исполнен ею он вселенну созидал,
И мертву веществу живот и разум дал.

¹ Против тех, которые думают, «что суеверие и лицемерие истребляемы быть не совсем должны для лутчия твердости исповедания Закона», ополчается Сумароков в статье «О суеверии и лицемерии».

На что ни взглянем, мы его премудрость видим.
Или что в боге чтим, в себе возненавидим?

Димитрий. Премудрость божия непостижима нам.

Пафмен. Так Климент оныя не постигает сам.
К понятию ее ума пределы тесны;
Но действия божества в творении известны:
И если изострим нам данные умы,
Что папа ведает, узнаем то и мы.

Димитрий. За дерзость будешь там ты мучиться во веки,
Где жажда, глад, тоска и огненные реки,
Где скорбь душевная и неисцельных ран...

Характерно здесь не только мракобесие царя Димитрия, но и стремление Сумарокова отрицать мистический ореол религии, внести в ее вопросы рациональные основания при помощи довода разумности творения. Это телеологическое воззрение на природу было использовано в целях доказательства бытия бога и Вольтером. Совершенно так же использует это воззрение и Сумароков в статье «Основание любомудрия», при этом приводя примеры, ставшие общим местом (П. С. С., (2) VI, 287—288).

Херасков, впоследствии мистик и вполне христианин, в 50-х и 60-х годах также был вольтерианцем. Он последовательно и смело нападал на монашество. Он отрицал весь институт монашества с позиций «вольнодумства». В 1763 г., повидимому, именно он напечатал в «Свободных часах» (стр. 669) басню «Мышь в сыре», заимствованную из Лафонтена:

Наскуча света суетами,
Работой, хлопотами,
Молоденькая мышь оставила сей мир,
И скрылася в Голандской сыр.
Затворник наш в пустыне
Жиреет на едине.
Готова пища тут,
А грызть ее не труд.
Клялася мышь посмерть не выходить оттоле;
Из сыру келия, чего желать ей боле?
Потом к святоше сей
Пришли посланники мышей,
Да зря их часть убогу
Ссудил бы чемнибудь пустынный на дорогу;
И что идут они столицу защищать,
Которую враги стремятся возмущать:
Мышей пленяют кошки,
Дай нам свои хоть крошки,
Ссуди нас чемнибудь
В такой далекий путь.
Пустынный им сказал: ссужаю вас советом:
Молитесь небесам,
А я расстался с светом
И прежни суеты оставил там;
Так мышка говорила
И руку в верх подняв, ворота затворила.

Эту же тему обработал Сумароков в басне «Отрекшаяся мира мышь» (1759 г., Трудол. пчела, стр. 411), но по сравнению с Херасковым в высшей степени бледно в идейном отношении. Херасков подчеркивает антицерковную тенденцию басни, Сумароков прячет ее (Херасков в этом отношении, как и вообще, гораздо ближе к Лафонтену). Нет сомнения в том, что смелость Хераскова объясняется в сильной мере датой его басни; он печатал ее уже при Екатерине II, а не при церковнице Елизавете. Более того, басня Хераскова должна быть сопоставлена с отображением поместий от монастырей в казну, проводившимся правительством Екатерины именно в это время. Однако, дело здесь было не только в том, что власть в этот период была солидарна с тем слоем дворянства, который представлял в поэзии Херасков. Во всяком случае, он затрагивал тему о монашестве и раньше, еще при Елизавете.

В 1758 г. появилась трагедия Хераскова «Венецианская монахиня». В ней проблема монашества — на первом месте, хотя поставлена она робко, приглушенно. Сюжет трагедии построен на том, что невеста героя в его отсутствии вступила в монастырь. Он вернулся и хочет взять ее оттуда. Но закон монашества жесток. Занета погибла для героя. В конце-концов оба они умирают. Нерушимость закона монашества именно и приводит к трагической развязке. Пьеса агитирует против монашеских обетов всем своим содержанием и, в частности, жуткой кровавой развязкой, совершенно так же, как агитируют против фанатизма вольтеровские трагедии в роде «Магомета». В начале «Венецианской монахини» герой Коранс вступает в спор по существу вопроса с героиней. Он говорит ей:

Ту жертву с щедростью всевышний не приемлет,
Котора ближнего покой и жизнь отъемлет;
Мольбы твои пред ним все втуне пропадут,
И не встанешь ты свята на страшный суд...
... Не думай, что господь тех души ублажает,
Кто имя божие напрасно призывает;
Не мни, чтоб гибели хотел он чьих сердец;
Мы все его рабы, он общий нам отец...

Ниже он говорит о монашестве:

Но лзя ль сей лествицей на небеса взойтить?
Не можно получить в грехах нам отпущенья,
Пока от ближних мы не получим прощенья.

Он считает, что супружество также свято, что религия не может осудить «нежностей». Героиня предлагает ему также поступить в монастырь. Он отвечает:

Не можно мне принять намеренья такова,
Пока я на земли не совершу земнова.
Не с тем произведен на свете человек,
Чтоб он безвременно отселе в вечность тек:
Противным бытности души своей казаться,

То благодатию, господнею гнушались;
 Не можно меньше жизнь или доле нам иметь,
 Бог нас назначил нам родиться и умереть;
 Он должность нашу нам на свете предоставил,
 А склонность наших душ на волю нам оставил;
 Но только он того не требует от всех,
 Чтоб жить между людьми мы ставили за грех,
 На чтож? иль нет людей порочней нас на свете,
 Нам света убежать в цветущем жизни лете?
 Довольно в свете средств возможно обрести,
 Не покидая свет, чтоб нам себя спасти.

Эта смягченная, скрытая проповедь через десять лет сменилась открытой и резкой агитацией против монастырей. Внешние условия позволяли в 1768 г. выступать на данную тему более свободно, чем во времена богомольной Елизаветы Петровны. И, тем не менее, Херасков обставил свое выступление рядом защитных литературных мер. О них, как и вообще обо всем «Нуме Помпилии», замечательном политическом романе-трактате Хераскова, следовало бы поговорить особо. Здесь укажу только на элементы антимонастырской и вообще антиклерикальной тенденции, заключенные в этой книге (1768 г.).

Во второй главе ее говорится о храме Весты: «Здание сие было невеликолепно, но прелестно и просто... Олтарь ее никогда не был орошаем кровию закалаемых жертв. Священнодейственники не обеславили храм богинии стяжанием всенародного имения; умеренность дивная в таких людях, которые оставили себя посредниками от бога к народу! Доброе житие, сегоущим полезные советы, попечение о немощствующих и вспоможение бедным составляли всечасное их упражнение; и для того храм сей сделался прибежищем добродетельных людей; для того не имел он гордых украшений и не блистал золотом и драгоценными камнями, которые тщеславие и подлая робость обыкновенно божеству посвящает, а корыстолюбие и лукавое смирение приемлет»...

«Приходящие во храм богини Весты» были добродетельны: «наблюдать ее законы, не давая мзды богине за добрые свои дела было их первым правилом» (Нума, или процветающий Рим, 1768, стр. 12—13).

В главе VII Нума беседует с нимфой Эгерой, руководящей его действиями, о боге; они находятся в храме; Нума склоняется перед статуей Юпитера. «Что ты чувствуешь, — вопрошала Нимфа, видя сие изображение? — Неизреченное почтение к сему божеству, отцу богов и человеков, — отвечал Нума. — Не к божеству, — вскричал Нимфа, — но к делу рук человеческих! Нума, ежели в сем истукане изображаешь ты настоящего создателя вселенныя, объемлющего бесконечное число и пространство миров, то сколь тесные границы полагаешь величеству и силе его; коль мало разделяешь, или совсем ничего, творение от творца; привыкнув

к таковым неосновательным и слабым мечтаниям, вы уподобляете бога своему несовершенству и принуждаете его зависеть частью от вашей воли, частью от слепоты вашей. Ежели тебе мечтается в неодушевленном сем камне истинный творец и царь мира, то сколь мрачное понятие о существе его вы имеете. Создавший свет, в темных ли вертепах и храмах присутствовать может? Оживляющий всякое творение, сам ли бездыханен быти должен? Дающий разум и понятие человекам, из нечувственных ли вещей составляется? Подавший быстрое парение орлу, одушевляющий каждую былинку, возносящий кедры, движущий моря, потрясающий горы, сам ли недвижим и безгласен бывает?»... и т. д. К этой тираде нимфы Эгеры Херасков делает весьма любопытное примечание: «Мнение Егерину о почитании идолов, воспринятое потом Нумою, может быть, покажется сомнительным для некоторых привязчивых читателей. Но вот, что говорит о том, последуя древним писателям, сочинитель Римской Истории на аглинском языке Ешард, том, I. «Нума толковал: что начало, давшее бытие каждой твари, есть непостижимо, что оно есть невидимо, бессмертно и не подвержено никаким переменам; утвердись в таком рассуждении, запретил он изображать божество под телесными видами и поставлять во храмах идолов, что Римляне наблюдали больше ста семидесяти лет, и потом в несмысленное и многообразное идолопоклонство вверглись». После сего не можно почест сей разговор вымыслом; а еще меньше тому, что говорено о Нуме, придавати другое толкование и смешивать ложь с истинною». В речи Эгеры об идолах трудно не видеть некоторого намека на иконы, на вещную сторону богослужения и в христианской церкви; мысль о таком намеке Херасков хотел, без сомнения, для цензуры отвести своим примечанием; особенно многозначительны последние слова его.

Нума сначала колеблется согласиться с Нимфой: «Не должны ли мы, сказал Нума, для всегдашнего напаятования нам божества щедрого, человеколюбивого и благотворящего имети кумиров перед собою; ежели отнять от очей наших сии священные лики, то вскоре удаленное от зрения божество уйдет из памяти; потом из сердец истребится, и необузданные чувства человеческие на общую погибель устремятся. Скажи мне, Егера, оскорбляем ли мы божество, изображая оное в сем виде, ибо другого образа ему не знаем и придавать не смеем. На сие Нимфа тако: ежели вы не знаете другого, то для чего сей образ божеству приписываете? Взгляни на камень сей, недавно в сердце твердых гор лежащий, взгляни на черты лица его, искусством рук человеческих изображенные, на сие золото, на сии тленные убрания; взгляни и рассуди, сие ли сотворило небо, землю и себя.

О! Нума, обожать камни изображающие вам ваших богов под видом разных тварей, то умалять существо их и славу. Ты, повергаясь перед сим кумиром, думал принести благодарность божеству, сотворившему тебя; будто глаза твои бога твоего нигде встретить не могут, как в сем иссеченном истукане. Будто здесь непостижимое существо о себе напаятывает вам, и забвение твое о нем пред сим изображением исчезает. Но ты, приходя к сему капищу, был освещаем солнцем, над тобою горящим; для чего не стал ты на колена и не принес благодарности всевышнему, что очи твои его творение при солнечных лучах видят? Ты шел по земле, питающей всех человеков; для чего не приник ты к оной и, лобзая ее, не сказал ей: тобою познаю щедроту бога моего к себе? Для чего, повторяю, не каждая былинка, не всякое малейшее бытие напаятовало тебе о величестве твоего творца, ибо они суть такое же творение. Для чего сей безмолвный и хладный камень должен тебя приводить в чувство и возвестить тебе то, чем ты богам обязан? Не мрак ли и невежество сему причиною были? Ты, на всяком месте встречая своего создателя, только в сем мрачном капище на память его приводишь и твари качество творца приписываешь» (стр. 80—85).

Далее Херасков еще решительнее высказывается против внешних обрядов религии, против церкви, против жрецов—священников. Злободневность его выпадов, их применимость к современной автору церкви, очевидны. Нимфа говорит: «...Коль часто мы видали людей, зараженных пороками, прибегающих со страхом во святые храмы, предстоящих во слезах лицу богов нечувственных, приносящих великие жертвы для укрощения гнева их, о котором вещает им собственная их совесть, что некогда на них пролиется. Сколь много таких по виду богобоязненных людей мы видали; но увы! с молитвенным бдением раскаяние их приходит, и вновь своим порокам они предаются. Такое богопротивное лицемерство есть образ купли, между законом и грехом установленной; несколько пролианных слез дают право у невинных людей извлекать слезы, обильные жертвы разрешают на похищение чужого имени, и принесенные похвалы богам позволяют злословию на ближних своих простирается. Тако злобные люди думают, или не думая в сем свете обращаются; храмы для них сделались прибежищем от зла к добру и возвратным путем их неистовства; их чувства временное раскаяние признают очищением от мерзких дел своих и нечистосердечные молитвы учинились образом дани за многие их преступления. Суеверие, корысть, невежество, злоба и притворство есть душа сего закона.

Расторгнем сию завесу, покрывающую заблуждения, пороками перепутанные; войдем в темное капище, где ложная

добродетель ложным светом своим привлекает к себе слабые рассудки и, сама себе противореча, проповедует о благочестии, о кротости и смирении; там откроются пути, красными цветами при начале усыпанные, напоследок к гибели вас ведущие; там увидим обман, приемлющий вид истин и к беззаконию вас привлекающий. Уста, наполненные сладостию и миролюбием, а сердца, кипящие гневом и любостязанием. Ты разумен, Нума, и слова мои должны тебе внятны быть» (стр. 87—89).

В последних словах Херасков раскрывает свои карты; филиппика против жрецов утверждается как намек. Далее Нимфа Эгера говорит: «Обратимся на сии стада, за гордыми и свирепыми своими пастырями стремящиеся; обратимся на сих простосердечных людей, которые на подобие невинных агнцев лобызают руку, их связующую; где искать им света, когда со всех сторон тьмою они окружаются, и когда уверяют их, что они видят свет истинный. О! слепота, слепота, в какие бедствия и заблуждения умы человеческие ты ввергаешь!» (стр. 89).

В другом месте уже сам Нума говорит: «Коварство и хитрость наших жрецов мер не имеют; ограждая свое спокойствие, располагая свое корыстолюбие, не взирают они ни на слезы влекомой в жертву обманам их юности, ни на лиющуюся неповинную кровь пред олтарями богов нечувственных ни на погибель общества; все у них простительно, что с их прибытком соединенно; все имеет вид святости, что лукавству их тьмы и подкрепления придать может, и все ужасно и богам ненавистно, что их злым намерениям противится и что лжеучение их уличить может». К этой резкой тираде Херасков делает примечание в сноске под текстом: «Сколько щастливыми почитать себя нам должно, что возсиявшая новая благодать ложных богов истребила и, разруша их капища от лютости древних жрецов нас избавила; а открыв нам путь ко спасению, руководству благочестных пастырей нас вверила». Это благонамеренное примечание едва ли могло ввести читателей в заблуждение (стр. 94—99).

Херасков коснулся и вопроса о практическом отношении «разумной» власти к церковным установлениям; после разговора о религии и церкви с нимфой Егерой: «Но ежели мы опровержем храмы, разрушим истуканов, уничтожим священнослужение,—говорил Нума,—то не последуют ли большие злоключения; в сих развалинах погребуются остатки добрых дел, доныне сердца наши в союзе хранящих. Пороки, расторгнув узы свои, с наглостью по разрушенным зданиям святости возликовствуют, а целомудрие в отчаяние придет; отнимется страх от погруженного в невежество человека, и все придет в замешательство.—Я не сего требую; я не советую разрушать священных зданий,—сказала Нимфа,—

ибо такая перемена возмутит чувства, в надлежащий порядок неприведенные. Сие установление нужно, доколе не возникнет истинна, под сими гордыми зданиями заключенная, и возсияет светлее солнца над всею вселенною». К последним словам Херасков-«издатель» опять делает осторожное примечание: «Можно видеть, что сочинитель здесь говорит о православном христианском законе» (стр. 93—94). В самом деле, ведь читатель мог подумать, что «сочинитель» говорит о философической истине «просветителей»! Таким образом, Херасков, как и Вольтер, считает нужным щадить религию и даже церковь из политических соображений, в качестве узды для народа. Как уже сказано, особое место среди вопросов религии и церкви уделено в книге Хераскова вопросу о монашестве. В «Нуме Помпилии» монастыри — это вестальский орден; весталки — это монахини. В главе VI (начиная с конца гл. V) излагается история гибели некой девицы, насильно принужденной сделаться весталкой; по поводу этой истории Нимфа Эгера доказывает Нуме пагубность вестальства. Она говорит: «Вот каково злоупотребление законов, вот источники общей погибели... и вот польза от ложного благочестия происходящая. Случай, нужда, суеверие и гордость почти обыкновенно побудителями таких установлений бывают, и во обществе общество чрез то учреждается. Наконец таковое идольских капищ учреждение, которому мрачное суеверие основателем было, становится почтенным в мыслях его изобретателей. Потом учинится важным, священным и напоследок страшным. Тунеядцы прибегнут под тень обиталища праздности; обман и притворное смирение сделаются их оградою; приступ к оному становится важным; и что иногда для общей пользы устанавливается, то сетьми честности и невинности бывает» (стр. 76—77). Далее Нимфа продолжает развивать свою мысль и утверждает, что «сие общество, под именем весталок слывущее, сия строгая темница... или совсем уничтожена или исправлена быть должна. Застарелые обычаи не вдруг искоренить можно; но отсекая густые ветви сего отнимающего свет древа, можно сделать из вредного нечто полезное. Предоставлено, Нума, твоему благоразсуждению, исправить или истребить таковые непорядки, в твое общество втеснившиеся и суеверием подкрепленные. Ежели не рассудишь за полезное уничтожить их, по крайности пресеки путь коварству, злобе, неистовству и грубости под их покров собираться и наносить общий вред человекам. Отними средство у родителей пользоваться правом тиранской власти и пресеки злоключения на безвинных чад обращаемые. Сколь далеко воля отцов над их детьми простираться должна, почерпни сии законы из чистого естества, непрестанно сердцам вашим говорящего: любите ближних!» (стр. 78—79). Нума,

убежденный доводами Нимфы, не решился все же уничтожить общество весталок, зная «сколь народ пристрастен ко своим заблуждениям, вперенным гнусным суеверием». «Нума проразумел, в какие опасности ввергают целое общество те установления, которые суеверие основанием своим имеют, а неволю и строгость правилом. Он рассматривает учреждение вестальского чиноположения и не находит в нем необходимости; исчисляет вред, злоупотребление, отягощение природы от сего общества проистекающее: взнемлет глас вопиющего естества, под бременем несносных узаконений стейящего; представляет невинность в жертву ложному благочестию от лютых родителей и сродников приносимую и страждущую во цветущих годах без малейшей помощи и отрады воображает злочестивые намерения и коварства жрецов, Егерю ему истолкованные. Тогда сердце целомудренного философа и справедливого государя, сердце Нумино жалостию исполнилось; мысли его смутились; общество ослепленно! — говорит он. — Но, что мне делать, оно любит ослепление свое, и взволнуется, ежели станем выводить его из заблуждения; оно страдает погруженно в невежество и не хочет быти просвещенно. Страх в темную сию бездну ввергнул его, страх охраняет и границы сего мрачного обиталища» (стр. 97—98).

Выступая против монашества и церкви, и Сумароков, и Херасков, и их единомышленники (¹²), тем не менее, никоим образом не хотели подрывать вообще религии, в которой они видели одну из основ общества, а следовательно, и своих прерогатив. Их вольномыслие имело отчетливые пределы. Они боролись с церковью как частью правительственной бюрократии, как с властью, узурпирующей их собственную дворянскую власть, но возможность углубления позиций борьбы, перенесения спора в плоскость отмены всего религиозного мировоззрения в целом, выдвигания революционно-буржуазной точки зрения на религию представлялась им едва ли не еще более опасной. До поры до времени эта опасность слева не была для них особенно насущной; они почти не видели симптомов роста ее вокруг себя и они направляли свои удары направо. Но только лишь стала подымать голову идеология их врагов «снизу», они повернули фронт.

Когда радикальные буржуазные идеи материализма и атеизма стали проникать в Россию, когда они стали оказывать влияние и на слишком легко увлекающуюся дворянскую молодежь, вожди дворянской интеллигенции забили тревогу. Те, кто в порядке увлечения перехватил через край дозволенного им вольнодумства, должны были быть одернuty и вразумлены; те же, которые сознательно решились проповедывать буржуазные идеи, должны были быть иско-

ренены. Тот же Херасков, за год до появления в свет «Нумы Помпилия», принял активное участие в административном походе против Д. Аничкова, осмелившегося выступить с диссертацией, не лишённой антирелигиозного характера.

Юноши, в роде Фонвизина, поддавшиеся влиянию атеистических идей, спешно подвергаются обработке и возвращаются к религии. В 70-х годах и сам Сумароков уже становится осторожнее. Он уделяет более внимания вопросам религии. В статье «Основание любомудрия» он подчеркивает, что его философия полностью согласуется с религией и священным писанием (П. С. С., VI, 286); он подробно доказывает в этой статье бытие бога и бессмертие души, polemизирует с «левыми» деистами и ополчается против материализма и атеизма (хотя и продолжает стоять на точке зрения умеренного деизма и рационализма). «Безумцы говорят о душе нашей, что она есть отросль нашего телесного состава, яко звон есть произшествие колокола; но звон или звук от сражения двух крепких веществ; а душа телом управляет». В «Некоторых статьях о добродетели» (там же, стр. 288). Сумароков пишет: «Есть люди, не познавающие божества от недоумения; но есть и такие люди, которые не познают божества от излишнего умствования и от заблуждения. Говорят, будто можно быть честным человеком и без познания бога. Безумные и неученые атеисты презираются; но разумные и ученые опасны; дабы они и остатков добродетели не разрушили; а я твердо стою, что атеист честен быти не может». Совсем то же писал и Фонвизин из-за границы о французских философах-«просветителях» в 1778 году: «Сколько я понимаю, вся система нынешних философов состоит в том, чтоб люди были добродетельны независимы от религии: но они, которые ничему не верят, доказывают ли собою возможность своей системы? Кто из мудрых века сего, победив все предрассудки, остался честным человеком? Кто из них, отрицая бытие божие, не сделал интереса единым божеством своим и не готов жертвовать ему всюю своею моралью?»... (Собр. соч., 1866, стр. 343—344); и то же позднее в «Недоросле» Стародум говорит о «нынешних мудрецах»: «Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да воротят с корня добродетель». (Д. IV, сц. 2).

Та же постановка вопроса в статье Сумарокова «О безбожии и бесчеловечии»: «Человек, не познавающий бога, не познает истинны, и не может ни малейшая в сердце своем имети добродетели, и презрения достоин». (П. С. С. ², X, 134). Ср. также в статье «К добру или к худу человек рождается?» «Ежели бы не было бога, не было бы честности, и мораль ненадобна была, а была бы надобна одна политика»... (П. С. С. ², X, 133), или в статье «О слове Мораль»: «Все кричат: Мо-

раль, мораль: и подлинно, что мораль почтенна; но я не знаю, почтенны ли те, которые много делая о ней шуму, не на том ее созидают основании. Таких людей мораль подобна тяжкому каменному зданию на самом легком деревянном основании. Я, говорят они, ни малейшего понятия о боже-стве не имею и почитаю добродетель. Можно чистую пить воду и не имети точного познания о ее источнике; но чистую пия воду, не знати, что источник ее чист, это дела человека или не дошедшего до истины или отошедшего от нея; дело человека не имевшего или лишенного разума» (П. С. С.², X, 136). Во всех этих статьях, относящихся в 70-м годам, острее мысли направлено против западных буржуазных мыслителей и, может быть, еще больше — против их учеников.

Все это не значит, что Сумароков (или даже Фонвизин) отказался в 70-х годах от своего вольномыслия. Он остался в вопросах религиозно-церковных таким же фрондером, как и раньше. Но он делал теперь большее ударение на отмежевании своих взглядов от буржуазного, философского радикализма, чем ранее, когда ему приходилось больше обращать внимания на выяснение своих несогласий с официальной церковной практикой. «Кто не чтет бога, в том и искры добродетели нет» — пишет Сумароков в «Некот. ст. о добр.» А ранее, еще в 1759 г! он писал:

Безбожник или суевер
Зависит более от ангела нечиста?
Обеих скардству один размер,
Но нет ни одного на свете атеиста,
Такая чортом мысль еще не вложена:
А суеверами подсолнечна полна.

(1759, Труд. пчела, 411, «Эпиграмма»).

Иначе говоря, если в 1759 г. «суевер» был опаснее, потому что Сумароков не видел опасности со стороны «безбожия», то теперь, в 70-х годах, он убедился в том, что атеисты на свете есть. То же и с Херасковым; но не более, чем Сумароков, с самого начала протестовал против опасности слева. «Нума Помпилий» был ударом против церкви. Против «философов», не признающих религии, еще в 1761 году был направлен удар в его «героической комедии» «Безбожник». Эта пьеска построена отчасти по схеме блудного сына. У почтенного отца два сына: добродетельный Фидеон и злодей Руфин. Отец считает Руфина образцом чистоты и легко верит клевете на Фидеона. Руфин — развратник, клеветник, негодяй в высшей степени; он делает ложный донос на своего брата, стремится совратить с помощью интриг жену своего друга и т. д. и т. д. В этом ничего удивительного нет. Он — философ и безбожник; он не связан религией, лучшей уздой для общества (все-таки «вольтерианская» точка зрения на религию!). Он чистейший воды эвдаимонист, скептик и «материалист»; на увещания брата он отвечает:

Пускай срамят меня, еще я повторяю,
Я буду все играть, как я всегда играю;
Игрою потерять нельзя мне головы;
Каков на свете я, чуть все не таковы.
А в молодости мне почто не веселиться?
Хочу, как прочие, играть я и любиться:
Отец имения давать мне на щадит.
Кто молод будучи, прост с деньгами сидит?

Совершив ряд гнуснейших деяний, Руфин произносит монолог, в котором, между прочим, говорит:

Твердится честность мне: но что она? ничто;
Чго мы ни делаем, как тень проходит то,
Пустые имена имеет добродетель,
Никто не может быть в нас тайных дел свидетель;
И суеверие причиною тому,
Чго сердцу не даем мы воли своему.
Когда любовница оставленная рвется:
К любовнику одна привычка остается.
Когда от брата брат в нещастие впадет;
На что к раскаянью нас слабой дух ведет?
Премножество таких мы случаев видаем,
Для пользы что своей на ближних нападаем.
Подвергнул так и я для щастья моего
Противника в любви и брата своего.
Пусть гибнет мой злодей; от моего отмщенья
Ищу моей любви и сердцу утешенья....
.... Доволен, коль мои желанья наградиатся;
Невѣста, друг и брат—пустые имена,
Всему на свете сем свои есть времена,

Таково, если не ошибаюсь, первое развернутое изображение в новой русской литературе настоящего вольнодумца. В таком виде выходил на театр представитель буржуазной идеологии, как его нарисовал дворянский «вольнодумец». Нет сомнения, что комедия Хераскова отвечала какому-то «запросу» реальной жизни. Она сигнализировала появление «безбожников» в действительности. Она опровергала Сумароковскую «Епиграмму», напечатанную менее двух лет назад.

Кончается пьеса характерно: в духе «школьной драмы». Руфин изобличен. И тут-то выясняется, что всему виной не он сам, а плохое воспитание, которое ему дали; он говорит своему отцу:

Здесь без свидетелей тебе откроюсь я:
Нет в том моей вины, но вся вина твоя;
Так ведай, что ты мне злодей, а не родитель...
...Тобою честь свою и жизнь теперь теряю,
Когда б ты молодость мою сперва берег,
И не испортил дух мой в детстве ядом нег,
Когда б воздерживал мою опасну волю,
Не мог бы я терпеть безчестной смерти долю.

Значит Херасков имеет в виду пока что не врагов из «низов», а своего же брата-дворянина, соблазненного дурным воспитанием и влиянием «безбожия».

Руфин пытается еще убить своего отца и совершить ряд других злых деяний, но «ударяет гром, отверзается пропасть, и Руфин погибает».

Хор в заключение поет назидательные куплеты:

О! безбожники, страшитесь
Силы высшего Творца:
Наказанья берегитесь
Беззаконные сердца.
Вы, отцы, детей любите,
Им не жертвуя сердец,
Если рваться не хотите,
Как безбожников отец.

Позднее, в 1770 г., когда Херасков изобразил в комедии «Ненавистник» негодяя-вельможу, карьериста и интригана, выходца из дворянских низов, он ввел в его портрет и мотив «вольномыслия». Злодей, которого так и зовут Змеядом, ради интриги проповедует эмансипацию детей от власти родителей в порядке учения французских философов; он старается инсинуировать мысль,

Что детская любовь всего на свете ниже,
Любовь к родителям, любовь к ее родным;
Что это подлостью считается в Париже,
Что это свойственно мещанкам лишь одним.
Что власть похитили отцы тогда над нами,
Когда мы связаны бывали пеленами... и т. д.

(Д. II, сц. 1),

так же как вольнодумец Иванушка в Фонвизинском «Бригадире», который восстает против зависимости от своего отца.

Очевидно, в 1770-х годах бывшие вожди дворянского вольномыслия, когда-то охотно черпавшие у источника буржуазной мысли, стали бить отбой. Этому виной была не только осложнившаяся ситуация в России (подступы к Пугачевщине и самое восстание, появление врага слева, настоящего «разночинного» вольнодумца), но и углубление революционности в самой западной буржуазной литературе. Если полуаристократический Монтескье подходил к Сумарокову и если последний в 70-х годах готов был мириться и с Вольтером, то Руссо не мог не приводить его в ужас. Руссо — это была революция, это была отмена всех основ жизни и мышления Сумарокова. Недаром, когда сумароковцы делали погоду по линии культуры в правительстве Екатерины II, она, демонстративно подчеркивая симпатии к Вольтеру, Энциклопедии, Мармонтелю, тем не менее еще в 1763 г. запретила распространение «Эмиля» — книги, которая «против закона, доброго нрава», которая служит «к преобретению нравов» и т. п. (указ от 6 сент. 1763 г. Сб. Ист. о-ва, VII, 318). Таково было одно из распоряжений корреспондентки Вольтера и переводчицы Мармонтеля вскоре после ее вступления на престол. И она была права, потому что между Вольтером и Руссо лежит пропасть, отде-

ляющая буржуазию, спокойно прибирающую к рукам власть, в период разложения феодального строя, от мелкой буржуазии, открыто требующей немедленного свержения этого строя. Так и Сумароков 70-х годов; он решительно против Руссо и в то же время против всех вообще «крайностей» буржуазной философии. Время надежд и подготовки к боям для него прошло; он уже не напишет утопии как в 1759 году; попытка захвата власти в 60-х годах не удалась; его «партия» катится под откос. Надо бороться за свою жизнь, за жизнь своих идей, надо защищаться более, чем нападать на властвующие силы и идеи. А нападать можно и нужно на нового врага, подрывающего основы снизу. Сумароков пишет статью «О новой философической секте» (отношу ее предположительно к последним годам его жизни; напеч. в П. С. С., т. X). «Проявилась новая философическая секта, неимущая еще ни какова названия. Система их сия: 1) Любители основание рассуждения, и ни какова в нем основания не иметь. 2) Ни о чем не имети понятия, полагая, что все на свете сем не понятно. 3) Прилепляться всею силою к добродетели, и полагати, что ее нет на свете; ибо де все качества как добрые, так и худые, состоят только в воображении нашем. 4) Бог неокончаем, а мы окончаемы; следственно мы о нем ни какова понятия иметь не можем, хотя без познания существа божия, добродетель и не может существовать; а от того и прилепляться к ней не можно, ибо она есть основание познания величия божия, оно источник пристойного человечеству поведения, искра совести нашей и подражание совершенству. 5) Может де быти, что то, что у нас по верным логическим и математическим заключениям и по физическим опытам истина; у совершенного существа, ежели оно есть, почитается не истинною. 6) На добно учиться, а науки не надобны! Учиться надобно ради того, что здоровое рассуждение и опыты доказывают то, что они человека просвещают, а не надобны науки ради того, что сказал Жак Русо, что науки вредны, а кто ему не верит, тот да будет проклят. 7) Презирати все суеты мира и в них паче всех людей упражняться. Быти тунеядцом, не делав и не делая ни малейшия роду человеческому услуги, и почитать себя без рифмы и без рассуждения отличным человеком. 8) Критиковать от невежества: сатиризировать от злобы: утверждать по благоволению: хвалить... они весьма важны, говорят, мало и осторожно, да и то по Индейски, дабы по незнанию нашему сего языка главное искусство секты их по подобию древних во Египте жрецов оставалось таинством, а пишут они что и не тайно иероглифами, ради того, что они литерамы писать умеют худо, а правописания не знают...

а в тихое время читают они (другие из секты? Гр. Г.) книгу у Жака Руссо, которую они не понимают, об Алмазном веке, в котором люди крайним невежеством украшались. 10) Кто меньше пяти слов по-французски знает; тот у них хотя и философствует: однако, еще истинным философом не почитается. Ибо де человек прежде выучения пяти слов французских еще не одушевлен; однако из милости принятый в их секту и без души уже человеком почитается; но имеет он дозволение сколько хочет суеверствовать; а они при всем худе своим сие имеют достоинство, что они не суеверны; однако то восприяли, что еще хуже суеверия и отвергают то чезо еще кроме сошедших людей с ума или в уме рехнувшихся ни кто не отвергал». Далее — насмешки над модой засорять русский язык французскими словами и т. д., и т. д. Сумароков имеет в виду какой-то кружок (это, конечно, не масоны; да и сам Сумароков, по видимому, был масоном). Характерен ряд черт, определенно указывающий на принадлежность членов этого кружка к «высшему кругу»; они — петиметры, галломаны, бездельники, салонные болтуны; так используется сатира на галломанов и петиметров для борьбы с влиянием буржуазно-освободительной идеологии; то же использование и у Фонвизина в «Бригадире», и у Новикова. Сумароков борется с заразой внутри своего класса, в частности с придворными кружками радикально настроенной молодежи. При этом он в полемическом азарте смешивает учение Руссо с скептицизмом, также буржуазного толка, но чуждым Руссо. Далее, в заключительной части статьи Сумароков доходит до того, что оспаривает учение своих врагов так: «Все хорошие качества приписывают единому воспитанию»; а ведь в свое время он излагал Локка, который должен был привести его именно к культуре воспитания.

На Руссо напал Сумароков и в статейке «О слове Мораль»: без знаний «общества разрушаются, люди рассеются, и настанет не бывалый век, Жаком Руссо похвальный, человеки странствовать будут по пустыням и без вспоможения друг другу, будучи малосильны, предадутся на снадение зверям, и все напоследок исчезнут» (П. С. С.², X. 136). Против положения Руссо о том, что человек, исходя из рук природы, добр, направлена, по видимому, статья Сумарокова «К добру или к худу человек рождается?» — «И к добру и к худу», отвечает он на вопрос, поставленный в заглавии, а в заключение пишет: «Мы рождаемся к худу, и исправляемся моралью и политикою». Замечательно при этом то, что здесь же Сумароков развивает идеи эгоистической психологии и даже этики, сильно напоминающие не только Ларошфуко, но и Гельвеция. «Человек рождается ради себя к добру, а ради другога человека и ради всякова другога живот-

ного к уходу. Каждое дышущее вредоносно другому дышущему, и во своем и в чужом роде... Общая польза не ослабляет сего доказательства; в ней имеет каждый свой собственный прибыток. Во всех сообществах, как у человеков, так и у других тварей согласие от собственного и участного своего прибыточества утверждено, а не от любви к подобной себе твари. Дружимся и любимся мы ради самих себя. Другова любим, любя себя, ненавидим, ненавидя ево. Все наши действия происходят от любви к себе и от ненависти к другому» (П. С. С.², X, 130—133). Так сказался до конца старый заквас рационализма и все-таки — «вольномыслия» даже у Сумарокова.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Братья Панины. — 2. Сумароков об экспансии на Восток. — 3. Переворот 1762 г. — 4. Сумароков в начале царствования Екатерины II. — 5. Маскарад „Торжествующая Минерва“. — 6. Дворянская фронда в литературе 60-х — 80-х годов XVIII столетия

1

29 июня 1760 г. воспитателем шестилетнего великого князя Павла Петровича был назначен Никита Иванович Панин, в то время русский посланник в Швеции. В том же году Панин приехал в Петербург и сразу же принял участие в сложной политической борьбе, разыгравшейся вокруг трона. Партия независимых аристократов, либеральных феодалов, получила вождя, уже не только идеолога и вовсе не поэта, а настоящего политического бойца. С самого этого времени всю группу, пытавшуюся фрондировать против азиатского деспотизма, пытавшуюся восстановить феодальный рай на основе уступок либерализму, но при беспощадной борьбе с буржуазной революционностью, можно считать группой Панина. Младший брат Н. И. Панина, Петр Иванович, в это время почти все время находился на фронте (шла Семилетняя война). Позднее он стал вместе с Никитой во главе сплоченной группы единомышленников.

Панин происходил из «хорошей» старинной дворянской семьи, хотя не богатой, но вполне достаточной. Это была та же прослойка «крепкого» служилого дворянства, помещиков с 500 душ или около того, которая дала и Фонвизина и, в конце-концов, Сумарокова. Отец Паниных еще в конце XVII столетия был государевым стольником. При Петре и потом при Анне Ивановне он занимал видные посты, был генералом и сенатором. Оба брата Панины, Никита и Петр, рано начали свою карьеру. Никита, чуть было не попав в фавориты Елизаветы Петровны, двадцати девяти лет от роду был сделан посланником (в Дании, а потом, в том же 1747 г., в Швеции); Петр в 15 лет был уже

капралом гвардии, в 27 лет был полковником, а в 34 года генералом.

Панины были вполне культурными людьми. В особенности Никита был хорошо образован. При дворе его считали ходячей энциклопедией. Он был как бы специально подготовлен для роли политического деятеля, лидера дворянства. Что же касается Петра Ивановича, то он несколько стилизовался под «солдатскую» манеру. Братья поделили между собой сферы влияния: старшему отошла «штатская» часть, младшему — военная. Но не только вследствие большей важности штатской части Никита оказался настоящим главой сильной партии, а Петр — только его помощником, как бы военным специалистом партии и потом главой ее филиала в Москве.

Никита Панин сформировался как политический деятель, как идеолог возрождавшейся русской аристократии, за границей, в Швеции. В этом уже был элемент порочности его позиции. Он вырастил свои социальные идеалы далеко от России, имея о ней полуфантастическое представление, в основу которого легли черты совсем другой страны, других социальных условий и традиций. Он мечтал о воскрешении русской феодальной аристократии и русской феодальной культуры, которые никогда не существовали в том «рыцарском» виде, как они ему представлялись. Он видел в русских помещиках недостойных потомков благородных, культурных, независимых сеньоров. Ему хотелось бы вернуть своим собратьям, российским жантильомам, и большую полноту политической власти, ограничив азиатского деспота и его прихлебателей. Все эти мечты были мало реальны; история вела победившее в России дворянство совсем другими путями. Неудача, постигшая в конце-концов и Панина и его единомышленников, с одной стороны, была неизбежна, с другой — вовсе не была следствием регресса страны, скорее — наоборот.

Панин провел в Швеции двенадцать лет. По складу ума, по навыкам быта и культуры он стал европейцем. Российская дикость претила ему. Варварство и рабство его родины заставляли хотеть реорганизации всего ее государственного строя. И здесь образцом во многих отношениях представлялась ему Швеция, ставшая для него второй родиной. Швеция, хотя и бывшая «железокаменным царством» (Державин), хотя и игравшая большую роль на европейском рынке железа, управлялась аристократическим советом, причем король был связан во всех своих действиях волей правительствующих феодалов. Это было то, что нравилось Панину. К тому же игра внешнеполитических комбинаций заставляла русское правительство поддерживать аристократическую власть, и Панину пришлось по долгу

службы пускать в ход все средства, чтобы воспрепятствовать усилению власти короля за счет олигархов. В течение ряда лет своего пребывания в Стокгольме Панин приобрел опыт не только дипломата, но и бойца во внутривластных боях, причем именно на стороне антидеспотической аристократически-конституционной партии.

Однако, как ни велико было, как ни несомненно влияние на мировоззрение Никиты Панина Швеции ее конституции, ее культуры, дело все же было вовсе не в одной только Швеции. Недаром, ведь, брат Никиты Панина Петр, не бывавший в Швеции, полностью разделял, однако, его взгляды; недаром, приехав в 1760 году в Россию, Никита Панин застал здесь готовую почву для проведения в жизнь своих взглядов, застал целую партию, почти что организовавшуюся, способную уже настаивать на своей программе в печати, способную открыто поддержать свой журнал против правительства, вполне определившую свой социально-политический облик и нуждавшуюся только в вожде. В особенности отчетливо сложилась политическая ситуация в Петербурге, около императорского двора. Хотя именно в Москве вокруг университета и Хераскова независимые аристократы сплотились в крупную группу, но здесь, — если говорить о периоде 1760—1762 гг., — настроения были еще более пассивны. В Москве еще держались представления о «внеполитическом» характере работы, о необходимости вести частную пропаганду без активных политических действий, о ближайших задачах: литературного и культурного движения. Москва явно отставала. Петербург не мог уже уклониться от участия в придворной борьбе, в борьбе за власть. Здесь уже неотложно стоял вопрос о подготовке к действию, здесь нельзя было не видеть, что приближается решительная минута, упустить которую было бы пагубно для успеха всего дела.

С каждым годом, с каждым месяцем здоровье императрицы ухудшалось. Все знали, что она долго не проживет. Настоящих, «законных» наследников у нее не было. Ее племянник, привозный голштинский принц Петр Федорович, идиот, полуробенек-полусолдат, внушал опасения большинству дворянского общественного мнения. Его жена была хитра, беспринципна и готова на все. Приходилось ставить ставку на нее.

Вопрос стоял о том, кто станет главой государства после смерти Елизаветы и на каком основании; вернее, какая группа дворянства будет держать в руках будущего главу государства и какую программу она ему предпишет.

Придворные интриги были в полном ходу. Все готовится к тому, чтобы вооруженными встретить смерть Елизаветы. Дело осложняется вмешательством иностранных держав,

привыкших подкупом и «давлением» всех видов направлять действия русского правительства. Со своей стороны готовится к решающему моменту и Екатерина Алексеевна. Она ищет союзников и внутри государства и вне его. Она устанавливает связь с придворной партией канцлера Бестужева. Сколачивается союз ловких прожженных правительственных дельцов; готов заговор. Планы, обеспечивающие Екатерине безопасность и, может быть, участие во власти обдуманы, утверждены, зафиксированы, силы расставлены. Мало того, Екатерине удается включиться и в борьбу внешнеполитическую, в интриги европейских держав. Она нимало не стесняется действий, имеющих неприкрытый характер государственной измены. Ей нужна поддержка извне и ей нужны деньги. Еще до начала войны она получила деньги от Англии; между тем, Россия вступила в войну с Англией. Екатерина подкуплена. Она выведывает военные тайны. Сведения о них доходят до прусского короля Фридриха II, разбитого русской армией на полях сражений и все же победителя в дипломатической игре. «Измена», в которой замешана Екатерина, захватывает и верхи русской армии и русскую дипломатию.

Вся хитрая сеть, сотканная Бестужевым, Екатериной и английским послом Вильямсом, разорвалась еще до приезда Никиты Панина в Россию. Вся эта придворная интрига не имела настоящей социальной опоры. Это был заговор политических авантюристов, а не подготовка переворота, рассчитанного на сильную поддержку внутри страны. Союз Екатерины, Бестужева и Вильямса был беспринципен; он не имел ни лозунгов ни перспектив.

Екатерине нужны были новые ресурсы, и она ищет их. Между тем они накапливались еще с конца 50-х годов. Еще во время разгрома бестужевской партии, когда и сама Екатерина была на волос от катастрофы, «Трудолюбивая пчела» открыто заявила о своей солидарности с нею. Когда через год журнал Сумарокова был принужден прекратить свое существование, солидарность с ним заявило печатно некое общество знатных людей, вероятно, окружавших Екатерину. Сумароковцы уже в это время видели в великой княгине надежду исполнения своих чаяний. Она увидела в них свою опору в придворных интригах. Ее игра в интеллектуальные интересы, некоторая начитанность, умение повольнодумничать — все это создало почву для сближения той и другой стороны. Екатерина потакает фрондерским настроениям; она бьет на популярность среди недовольных фаворитизмом, «под'ячими», грабительским режимом Шуваловых. Она поступает осторожно, намекает на свое вольномыслие, на то, что ее предположения идут далеко. Она позволяет себе насмешки над Елизаветой, она разыгрывает

независимость мнений и возмущение практикой власти; она намекает на глубину своих политических мнений, на серьезную самоподготовку к роли правительницы; она афиширует свое увлечение Бейлем, Монтескье, Вольтером; это был в особенности искусный ход; тем самым она прозрачно, — хотя и ничего не говоря «от себя», — могла показать, что ее политическая программа либеральна, что она против деспотии, за законность, за аристократическую конституцию (Монтескье), что она — философ, а не азиатский деспот в роде Елизаветы, что она ненавидит фанатизм, произвол и т. д. и т. д. Иначе говоря, она давала обещания проводить определенную программу, если ей помогут достигнуть власти, и эта программа была программой русских дворянских вольнодумцев, либералов-помещиков середины XVIII века. Естественно, что они решили поставить ставку на ее дело.

Когда Никита Панин приехал в Россию, он и стал связующим звеном между Екатериной и группой родовых аристократов, феодалов-интеллигентов. Как воспитатель Павла Петровича, он стоял близко к Елизавете, при которой и под ближайшим наблюдением которой рос мальчик, и к Екатерине, матери Павла. Союз Екатерины с людьми, выдвинувшими в литературе Сумарокова, стал на твердую почву и стал реальным политическим фактом.

Братья Панины сами по всему складу своего миропонимания и культуры были интеллигентами и феодалами. Они были и либералы в пределах помещичьего протеста против русского рабства всех сословий.

Никита Панин еще в 40-х годах проявлял настойчивый интерес к начинающейся новой русской литературе. В ноябре 1748 г. он благодарил из Стокгольма М. Л. Воронцова за присылку книги Тредиаковского «Разговор между чужестранным человеком и Российским об орфографии старинной и новой»; в сборе денег на издание этой книги он сам участвовал (Архив кн. Воронцова, т. VII, стр. 459—460). Через месяц он благодарил Воронцова за присылку оды Ломоносова, которой он дал весьма высокую оценку, может быть, учитывая вкусы и пристрастия своего начальника-корреспондента (*ibid*, стр. 460—461). В 60-х годах Панин был в личных дружеских отношениях с Сумароковым.

Вопросы культуры и восстановления, возрождения русской знати смолоду волновали Панина. Еще в 1747 г., приехав в Копенгаген, он прежде всего обращает внимание на положение аристократии в Дании, на особое положение знати и заявляет свое сочувствие местным обычаям в этой области. «Великое число знатных фамилий, разумных, заслуженных и в разных великих чинах находящихся стариков, которые отлично почтительно от их величеств, следо-

вательно и от всех других, у двора принимаются, неопишанное внешнее величество сему двору придает,— пишет он в декабре 1747 г. Воронцову,— тем наипаче, что они оную поступь единственно по заслуженным их чинам, а не по важности дел, в которых кто действительно находится (ибо многие из них и отставные суть), еще меньше по каким другим припадкам (т. е. по произволу власти, фавору: Гр. Г.) имеют. В произведении же молодых людей, хотя весьма их собственное по воспитанию достоинство рассматривается, однако же заслуги и знатность отеческая двойным авантажем им «служит». Далее Панин приводит примеры такого авантажа и доказывает великую пользу, которую приносит такое положение их отечеству. При этом заметно его раздражение против произвола, могущего в России каждого «знатного» и чиновного человека лишить всех его преимуществ (Арх. кн. Воронцова, VII, 455—456).

Характерны рассуждения Панина о сохранении здоровья в письме к Воронцову от 14/25 апреля 1749 г. из Стокгольма. Панин религиозен, но он не «фанатик», не «суевер». Он считает, что «несумненное есть дело, что век наш от творца всех зависит», но он решительно против «Кальвинского предопределения»; он заявляет по вопросу о постной пище: «Спасительное есть дело закону повиноваться, но он токмо требует не здоровья, но наших страстей разорения, еже одними грибами и редкою едва ли учинить возможно». Затем Панин говорит о том, что за границей и, в частности, в Швеции старики крепче и здоровее «наших»; несмотря на плохой шведский климат,— «видимая причина, что порядочная жизнь и умеренная здоровая пища тому поспешествуют. Нет примера с простым народом (т. е. нас нельзя сравнивать с простым народом. Гр. Г.): они, будучи так воспитаны и всегда в телесном труде и движении, конечно, без вреда сносят грубую пищу, да нам по них следовать невозможно, разве всем сделаться слугами. И в таком случае остается запрос, коим образом народное общество сохраняется быть может, на что я ответу не имею» (ibid., стр. 462—463). Слегка шутливый тон не меняет существа мыслей, совсем сходных с теми, которые развивал и Сумароков и его ученики о разделении функций в обществе. Кстати: «суеверия» Панин не любил никогда. Когда в качестве учителя закона божия для Павла Петровича должен был быть назначен Платон Левшин, он интересовался главным образом вопросом о том, не суеверен ли предполагаемый учитель т. е. не фанатик ли он (Р. биогр. словарь, Панин, стр. 204).

Никита и Петр Панины были очень дружны. Более того, между ними установились отношения единомышленников и союзников в трудной борьбе. Окруженные врагами, они

тем более держатся друг за друга. В то же время они были связаны крепким узлом родовой солидарности. Каждый видел в другом свое дополнение в категориях дворянской «фамилии». По отдельности, каждый из них был только крупным политическим деятелем; вместе они составляли династию. Они действовали совместно и согласованно. Когда в 1760 г. Никита Иванович ехал в Петербург, он добился того, чтобы ему навстречу в Або выехал Петр Иванович, который получил разрешение на это, несмотря на то, что шла война. Петр Иванович, как младший, неизменно отчитывается перед старшим в роде, Никитой, в каждом своем действии, советуется с ним, оправдывается; с другой стороны, Никита Иванович в 70-х гг. через своего секретаря Фонвизина держит младшего брата в курсе всех своих, да и не только своих, дел. Лейт-мотив писем Петра Ивановича—например, во время первой турецкой войны — жалобы на утеснения и происки со стороны врагов и соперников. Так оно, конечно, и было, и оба брата прекрасно понимали, что речь идет вовсе не о личных завистниках Петра Ивановича, а о политических противниках.

При всей тесной дружбе, братья Панины обменивались письмами торжественными, написанными в «высоком» тоне. Их письма — не частное дело рядовых людей, а послания от потентатов к потентатам. Панины всегда стоят в позе феодального величия; они всегда приподняты над обыденщиной толпы; у них нет личных, простых человеческих чувств («страстей») и отношений, т. к. они не простые люди, а аристократы, и руководит ими в жизни родовая «честь». Престиж этой выпренной чести, ореол величия и «благородства», престиж своей власти над людьми они защищали всем существом своего бытия, своего быта, даже стили своих родственных писем. И этот престиж не имел непосредственного обоснования в их чинах и званиях, но именно в их родовом авторитете; в этом отношении показательны торжественные письма, относящиеся к 1755 году, т. е. к эпохе, когда ни Петр, ни Никита Панины не были еще вельможами и не имели больших чинов. К тому же, они были еще достаточно молоды. И, тем не менее, оба брата: и Никита Иванович, пишущий из Стокгольма о том, что у него нет денег, о недовольстве своим положением, о своем желании итти в отставку, и Петр Иванович, отвечающий брату из местечка Лемзаль близ Риги, излагают свои письма сугубо-литературно, обставляют их официально-торжественными вежливостями, пересыпают морально-политическими сентенциями, т. е. создают исторические документы, пишут дипломатические ноты, более чем деловые письма. И здесь не столько сыграло роль влияние «Прикладов како пишутся комплименты разные», к этому времени уже устаревших,

или влияние западного подлинника прикладов и других аналогичных книг (хотя эти книги феодальны сверху донизу), не столько важно было здесь даже влияние дипломатических традиций, впрочем, тоже выкованных еще феодальными канцеляриями (ведь Петр Панин вовсе не был дипломатом), сколько важно было здесь чувство ответственности за каждое свое слово — перед родом, перед государством, перед идеей «благородства» аристократов, отрешенность от всего просто-человеческого во имя идеала правительствующего бесстрастия разума, воплощенного в дворянстве. Письма к своему 18-летнему сыну Петр Иванович начинал так: «Письмо ваше, любезнейший мой граф Никита Петрович, вчера мною полученное»... и т. п., — и подписывал в таком роде: «прости мой любезнейший друг, пребывай всегда с богом, я до конца жизни всегда непременно сердцем и душою есть весь ваш граф Панин» (Сб. Ист. о-ва, т. V, стр. 480—483).

Петр Иванович, хотя и младший, печется о благе рода Паниных. Мысли брата об отставке смущают его, т. к. он ожидал, что Никита Иванович обеспечит «славу и пользу» не только себе, но и «всей нашей затмевающейся фамилии». Видимо, из тех же соображений (и приращение богатств и наследники рода) он предлагает Никите Ивановичу жениться (см. Р. Арх., 1890, I, 53—58.— Братья графы Панины в царствование Елизаветы Петровны). Характерно при этом сознание того, что фамилия затмевается. Видимо, Петр Иванович не имел здесь в виду отсутствие потомства в роде, т. к. он сам был женат, и у него были дети;¹ да и Никита Иванович был еще молод. Речь шла об увядании вообще аристократизма и старинных крепких дворянских родов, оттесняемых и «затмеваемых», с одной стороны, Минихами, с другой, Шуваловыми или даже ренегатами Трубецкими (и тем не менее, дети и пасынки Никиты Трубецкого оказались в партии Паниных).

Вообще, в бытовом облике Петра Ивановича, в его личном характере значительно более прямолинейно проявлялась социально-идеологическая позиция обоих братьев, чем это могло быть у Никиты Ивановича, царедворца и дипломата. Никита Панин был вивер и сластолюбец, сибарит. Он мог запоем работать несколько суток под ряд, и тогда труд был для него поединком с врагом или азартной игрой; но, как правило, он отлынивал от работы, ленился, может быть, и аффектировал лень и беспечность; и это не было только хитростью дипломата, желающего усыпить бдительность врагов и соперников. Сознательная или бессознательная, истинная или фиктивная, лень Никиты Панина (об этой

¹ Он женился первым браком в 1748 г. и овдовел в 1764 г.; за 16 лет его жена родила 17 детей.

лени говорили и писали все), его «роскошное» сибаритство были социальной позой, принципиальной позицией. Никита Панин, идеолог феодалов, не мог «трудиться», потому что труд, регулярный, обязательный труд, является уделом «низших» сословий; он может и должен только вести за собой других, и лишь в опасную минуту, покидая свой мудрый покой, он облачается в родовые доспехи и бросается в битву впереди своих вассалов. Беда Никиты Панина была в том, что он сражался не мечом, а пером и устным словом, и сражался не во главе вооруженных вассалов, а сидя в канцелярии или в кабинете императрицы.

Наоборот, Петр Панин хотел воплотить в своей жизни представление о суровых военных доблестях старинного рыцарства. Он был горд и неприступен. Основные черты его характера, вернее, его идейного облика, который он тщательно создавал всю свою жизнь,— неподкупная и независимая твердость, негнушающаяся воля. Именно он хотел быть новым Яковом Долгоруким, именно он настаивал на полной свободе своих мнений, проповедуемых невзирая на лица, невзирая на власть деспота или его слуг. Он хотел быть русским герцогом Гизом или кардиналом де-Ретц. Совершенно программный характер имел анекдот о Петре Панине, повторявший известную легенду о Долгоруком. Екатерина изготовила некий указ и привезла свой проект в Сенат. Когда она огласила его, все сенаторы встали и усердно благодарили ее за новую милость. Один только Петр Панин молчал и не вставал с места. Екатерина спросила его, в чем дело. Тогда Панин сказал, что он готов повиноваться приказу монарха, но согласиться с тем, что он считает неправильным, он не может; и он произнес речь против проектируемого закона. Екатерина вняла доводам смелого сенатора, и указ не был обнародован.

Был такой факт на самом деле, или он был придуман почитателями вождя независимых помещиков, не так уж существенно. Важен самый характер рассказа, в определенных тонах рисующего мужественного сенатора. Если бы и другие сенаторы не подхалимствовали, а были тверды, как Панин, деспотия не сломила бы силы и воли дворянского сената,— вот смысл этого анекдота. Другой анекдот не менее характерен. Московский главнокомандующий фельдмаршал Салтыков вызвал недовольство Екатерины своим поведением во время чумного бунта 1771 г. Через год он умер. Местные власти, желая, видимо, подслужиться к царице, не распорядились устроить ему похорон с церемонией, соответствовавшей его положению. Тогда Панин отправился в подмосковную Салтыкова, Марфино, где лежало тело, явился к гробу в полной парадной форме и стал у гроба с обнаженной шпагой, заявив, что он будет стоять

здесь на часах до тех пор, пока не пришлют ему для смены почетного караула. Пристыженное начальство прислало караул.

Бескорыстным блюстителем дворянских традиций и прав должен был представляться Петр Панин друзьям и врагам; такова была его программа. Он открыто фрондировал, шумел по поводу неправильного, по его мнению, хода государственных дел, бранил императрицу, бранил фаворитов, скорбел о том, что во главе правительства стоят люди, лишенные не только заслуг, но и знатного происхождения. Он подчеркнуто демонстрировал свои заботы о сохранении дворянских имуществ; он отказался от наследства после своей первой жены, возвратив его в ее род, ее родным; он отказался и от подарка в 3000 душ от некоего Матюшкина, возвратив имение обойденной внучке дарителя. Опять-таки достоверность этих фактов для меня сейчас не так важна, как их характерность в смысле пропаганды своей позиции. Петр Панин вершит судьбы дворянских имений; он берет на себя функции дворянского правительства, т. к. оно не делает того, что надо. Он — своего рода самовластитель, незасимый от центрального правительства. Окруженный врагами, живущий в эпоху падения дворянской вольности, он не желает подчиняться духу времени и хочет высоко держать знамя феодальных прав. Ему дела нет о том, чего хочет деспотия; он делает то, что он обязан делать, как сеньор и «благородный» человек. Он — «твердая подпора Рюсса», «он жизнь свою тебе (отечеству) на жертву предавал», — пишет о нем Николев («Творения», т. IV, стр. 257); ему всего дороже правда; он — «правдой, — как святой» (ib., 183—185); он — Катон (ib., 178). «Твердость духа более всего прочего его отличала», — пишет о Петре Панине кн. Ф. Н. Голицын (Р. Арх., 1874, I, 1321—1322. — Записки; тут же и анекдот о Сенате) и т. д., и т. д.

Петр Панин окружил себя целым двором и требовал от этого двора раболепства, отсутствие которого в своем поведении он подчеркивал; на то он и был сеньором; вассалы же должны были повиноваться. Он обрушивал свой гнев на каждого, кто пытался зазнаться или нарушить покорность, кто пытался проявить инициативу, будучи только подчиненным. Таковы были его отношения с непокорным офицером Державиным во время Пугачевщины. Панин возненавидел заносчивого офицера.

Перед своим двором Панин разыгрывал царька; Державин описывает его «выход» к ожидающим его подчиненным, среди которых были и военные полусановники; это был выход по образцу почти что версальскому. Петр Панин, вояка, Катон, явился «в сероватом атласном широком шлафроке, в французском большом колпаке, перевязанном розовыми

лентами» («Записки» Державина), и принялся вершить дела; потому что он командовал не по чину, а по праву рождения (и в то же время как лидер дворянской общности). Нужно помнить, что и шлафрок и розовые ленты фигурировали не в столице, не в панинском поместье, а во время Пугачевщины, на фронте гражданской войны.

Панин вообще был высокомерен и неприступен. Он не желал нисходить к низшим. Солдаты были для него не люди. Он держался с низшими как человек другой породы. В армии он не пользовался популярностью. Между тем, он не был ни более жесток, чем другие генералы, не был он и безразличен к вопросам быта своей армии. Более других военачальников середины XVIII века он уделял внимание снабжению армии, порядку в ней. Но таков уж был его гонор, таков был принцип его жизни и деятельности, заставлявший его требовать от всех низших отречения от своего личного достоинства так же, как сам он, Панин, обязан был отречься от своих личных человеческих интересов и «страстей». И вот этот царек, считавший нужным принимать генералов в спальном колпаке, целыми днями, чуть не сутками не слезает с лошади во время похода, когда его призывает «должность» — несмотря на боли от подагры, несмотря на другие болезни, одолевавшие его. При этом он был непримиримо и бесстрастно свиреп по отношению к тем, кто, по его мнению, нарушил слепой и безликий закон повиновения. При этом он не хотел ни за что панибратствовать с солдатами (13).

Так и вышло, что Петр Панин, кумир Сумарокова и Николева, не пользовался симпатиями за пределами своего кружка. Наоборот, антифеодално настроенный Потемкин, грабивший солдат, гноивший их и в строю, и в госпитале, и на своих собственных пашнях, считал нужным разыгрывать демагогические заботы о солдате, хлопал его по плечу, стремился к личной популярности в армии. Панин не видел необходимости в том, чтобы его любили; его должны были слушаться и не как личность, а как единицу отвлеченной социальной иерархии. Потемкин хотел быть командиром на новый лад, как индивидуальность, личность, как «гений», который «не шел по путям известным». Конечно, программа Потемкина не удалась; она не могла реализоваться в крепостной стране и в крепостной армии.

Петр Панин жалеет жителей Бендер, взятых и разоренных его армией; он стремится оказать им помощь. Здесь он милует побежденных в бою иноплеменников; здесь дело идет не о классовых боях. Но по отношению к людям, восставшим против незыблемого порядка феодальной зависимости, он не знает пощады. Он нисколько не прячет своей свирепости по отношению к ним, потому что, по его про-

грамме, она — не проявление его эмоций, а праведная кара, осуществляемая им лишь как орудием. Чудовищная расправа с пугачевцами, тысячи казней, изощренные мучительства, массовые избиения восставших, кровавый террор, в областях карательной деятельности его войск — все это нисколько, повидимому, не действовало на нервы. Петра Панина, командира этого разгула беспримерной классовой мести. Он не боялся ответственности за кровь; люди, которых он убивал, засекал, замучивал, были для него не личности, а понятия. Он чувствовал себя мечом в руках истины, а истину он представлял себе с признаками родословного древа, с помещичьими правами, с идеями дворянской власти и чести. Он был сторонником либерализма, осуждал те формы, которые имело в России крепостничество, ненавидел произвол. Но когда к нему привели Пугачева, он ударил его.

В условиях европеизирующейся жизни русских помещиков XVIII века, в окружении Собакевичей и Ляпкиных-Тяпкиных, дедов тех, которых изобразил Гоголь, Петр Панин мечтал о воскрешении феодальных замков, в которых воинственные и рафинированные аристократы чувствовали бы себя хозяевами, не подчиненными никакой земной власти, в которых они были бы окружены вооруженными вассалами, своим собственным войском. Нечто подобное существовало в Польше, где Радзивиллы или Чарторижские были почти совсем независимыми владельцами в своих дворцах и поместьях, где каждый из них мог самостоятельно организовать целую армию. Элементы такой замкнутой феодальной власти на местах, в крепостной деревне, были в середине XVIII века и в России. И здесь могло быть такое положение, что помещик встречал правительственную команду пулями и даже пушками; сохранилось не так уж мало свидетельств о подобных проявлениях независимости русской вотчины. Но это были остатки «дикости», которые искореняло правительство Екатерины II. Петр Панин ориентировался, вероятно, больше на отвлеченные и ретроспективные идеи древних традиций рыцарства, чем на примеры провинциальных самодуров-рабовладельцев.

Когда Панин, после взятия Бендер, вышел в отставку и оказался в опале, он поселился в Москве, где и окружил себя штабом недовольных. Часть года он проводил в городе, часть — в подмосковной. Сохранилось известие, что он построил здесь, в подмосковной, крепость на подобие Бендер, т. е. свою собственную, завоеванную им крепость. Это было в начале 70-х годов. Но, м. б., еще примечательнее другой факт, относящийся к 1763 г., т. е. к поре, когда оба Панины не только не были в опале, но претендовали еще на руководство политикой правительства. Петр Иванович Панин

пишет из Москвы взволнованное письмо к Никите Ивановичу. Дело идет о вопросе, задевающим его и лично и принципиально. Некто Николай Михайлович Леонтьев, богатый помещик, не то родня, не то просто друг Паниных и во всяком случае их единомышленник, подпал под подозрение императрицы из-за довольно странного своего предприятия: он завел себе из своих крепостных небольшой отряд гусар. Екатерина, естественно, всполошилась, узнав о такой «инициативе» по линии создания феодальных военных отрядов внутри государства. Петр Панин хочет замять все это дело, хочет представить его не стоящим внимания, хочет обратить его почти что в шутку. Его письмо, адресованное Никите Панину, в то время главному советчику Екатерины, видимо, рассчитано на «представление» ей или во всяком случае главарям правительства вообще. Но стараясь выпутать из беды своего неосторожного союзника, может быть, стараясь выпутаться из истории сам (в 1763 г. Панины не хотели еще ссориться с властью, рассчитывая подчинить ее себе и своей партии), Петр Панин одновременно пропагандирует свои идеи, согласно которым инициатива Леонтьева не только не комична, но своевременна и достойна подражания. Он начинает с уступок: все обвинение, мол, ужасная клевета; Леонтьев живет в деревне и «отнюдь у него эскадрона гусаров нет. И, конечно, он к заведению собственных гусар никакого предосудительного намерения не имеет». Многие иностранные генералы содержат своих гусар. Леонтьев, собираясь ехать по всем своим деревням, в защиту от разбойников «нарядил из своих собственных слуг шесть или восемь человек гусарами» и при них состоит отставной офицер из армейских сержантов, живущий у него по бедности. Леонтьев, мол, вообще болтун, хвастает своим богатством; кроме того, он любит военное дело; он хвастал тем, что «составит целой эскадрой гусар и будет веселиться всегда экзерцициею; а когда война заведется, то сам и с тем эскадроном представит себя в ее величестве службу»; это, мол, «поваренное войско»; оно, мол, не страшно для правительства; ведь два-три полка могут «разогнать бесчисленное число подобных поваренных войск. К тому же довольным доказательством служат и бывшие войны наши с Польшею, где у таковых магнатов их поваренных войск весьма много. И так при нынешнем благополучном уже регулярном расположении нашего отечества спокойно можно почитать заведение помещиками некоторого числа во услуги своей вооруженных людей более к пользе, нежели к беспокойству государственному». Их можно потом «употреблять не только для земской полиции, но и в случае военной нужды брать их, яко уже несколько исправленных, в государеву службу. Однако же со всем тем,— тут же идет на попятный

Петр Панин, я ему (Леонтьеву) ныне же дал совет, чтобы он гусар своих не только не умножал, но и болтать бы о том унялся». (Р. Арх., 1888, т. II. Письма гр. П. И. Панина к брату его гр. Н. И. Панину. Письмо от 4 авг. 1763). Точка зрения самого Петра Ивановича во всем этом ясна, несмотря на противоречия письма или, м. б., именно вследствие этих противоречий. В самом деле, если феодальные отряды польских магнатов — «поваренные» войска, которые ничего не стоит разогнать, то странно было бы рекомендовать насаждать такие отряды в поместьях русских дворян и рассчитывать на них в случае войны. Между тем, именно это делает Панин, и здесь-то выражена его настоящая мысль. Обычай польских магнатов в этом вопросе ему, конечно, очень нравится. Ему импонирует мысль о том, что во время войны с трона раздается клич к дворянам, и они тянутся на этот клич со всех сторон, из своих родовых укрепленных замков, тянутся со своими собственными отрядами, вооруженными, обученными, и становятся во главе этих отрядов в ряды общего ополчения. В мирное же время солдаты помещика поддерживают его власть, служат угрозой и против непокорных крестьян и против централизационных попыток монархии, против попыток деспота узурпировать власть всего корпуса благородных. Так Петр Панин, друг и покровитель Фонвизина, военачальник и либерал, человек, достаточно европеизированный, носивший щегольской чепец с лентами, писавший: «удержать все конкеты в своей поссессии» и ориентировавшийся на идеи Монтескье, мечтал о восстановлении допетровских отношений в области своей профессии, военного дела. Между тем, идеи феодального ополчения держались в определенных кругах еще долго,— и даже после смерти обоих Паниных. Напомню печальную историю помещичьих отрядов в 1812 году; и неслучайно было подозрительное, даже враждебное отношение к этим отрядам правительственной бюрократии Александровской эпохи.

Здесь необходимо сделать оговорку, без которой вопрос о русских феодалах-фрондерах XVIII века, и в частности о Паниных, может быть истолкован неправильно. Исследуя субъективные тенденции данной группы дворянства как в области искусства и мировоззрения, так и в области политической и даже социальной в широком смысле, мы не исчерпываем тем самым вопроса об объективном результате ее деятельности и творчества. Впрочем, я считаю нужным подчеркнуть, что социально-субъективное в историческом бытии данной группы (как и всякой другой) — вполне объективно дано истории, что оно есть реальное и несомненное образование исторического процесса и что оно подлежит изучению как исторический факт. Само по себе

то обстоятельство, что Сумароков или Панин стремились к осуществлению феодального идеала, есть столь же объективный, столь же характерный и исторически действительный и действенный факт, как и то, что из их стремлений ничего не выходило. Их стремления, планы и проекты, несмотря на то, что они рухнули, создали множество крупных исторических «событий», среди которых укажу и «Недоросля», и особый бытовой и интеллектуальный тип дворянской культуры, и завещание Панина, и армию Румянцева. Люди, создавшие все эти образования, были активны, хотя и были побеждены в конце-концов да никогда и не были настоящими победителями, хотя бы временными. Но даже на правительственную политику они влияли очень сильно. Их борьба и поражение сыграли роль в подготовке следующей за ними эпохи истории России как дворянского государства, эпохи первого падения феодальных устоев. И сумароковцы и панинцы субъективно были феодалами и, следовательно, тянули историю назад. Но тянуть назад практически было уже невозможно. Несомненно, самая острота их борьбы и ненависти, самое упорство их в отстаивании своих мечтательных идей, самая напряженность их иллюзий — все это было связано с тем, что они теряли почву под ногами, что они были окружены действительностью, шедшей против них. Они видели, как их собственная жизнь складывается фатально против них, как они сами перестают быть рыцарями и сеньорами, а становятся чиновниками и помещиками, торгующими плодами своих полей. Они боролись со своей судьбой так же, как со своими врагами. И понятно, что они кончали или полным озлобленным скепсисом, или мистикой.

2

Нельзя, ведь, представлять себе дело упрощенно: либо буржуа или обуржуазивающийся дворянин, либо зубр — натуральный хозяин. На самом деле, борьба в дворянстве шла вокруг проблемы сохранения феодализма, но на фоне неизбежно накапливавшихся внутри его капиталистических элементов. До падения феодальной основы в середине XVIII века было еще далеко, но направление движения уже определялось. С разных концов просачивались сквозь щели феодального строя новые течения. Петровский дух не был изгнан. И не только купец пытался защищать остатки своих преимуществ; ведь и елизаветинские дельцы-вельможи были отчасти полукапиталистами. Петр Шувалов — и заводчик и откупщик, при этом все в колоссальных масштабах. Именно этот торгашеский характер его деятельности мозолил глаза людям типа Сумарокова, помимо всех прочих его «недостатков». Эти люди не были,

конечно, в такой мере торгашами; более того, в принципе они вовсе не были ими. В этом принципе и было все дело. Придворные дельцы Елизаветинского (тем более Аннинского) двора старались ввести хищнически-капиталистические элементы в свое хозяйство; дворяне-фрондеры были против роста этих элементов, за ликвидацию начатков такого роста, за новую стабилизацию феодализма. Но уже, поскольку они боролись с начатками роста капиталистических элементов, ясно, что такие начатки были. Они упирались, хотели остановить колесо истории, но оно с величайшей беспощадностью тащило их за собою, чтобы в конце-концов раздавить их. Экономическая сила вещей была такова, что в крепостном поместье зарождались и потом все быстрее развивались товарные отношения. Оброчный крестьянин по сравнению с барщинным оказывался отдаленно похожим на рабочего, связанного с деревней. С другой стороны, помещик, усиливая эксплуатацию, становился продавцом своего хлеба, своего льна и других товаров. Внутреннее переустройство крепостной деревни невольно втягивало в новые отношения даже тех помещиков, которые решительно не признавали его законным и допустимым. Правда, характерной чертой экономики крепостнической страны все еще оставалась затрудненность оборотов товара и денег; правда, до турецких войн пути экспорта были также более трудны, чем в конце XVIII века; правда, могли существовать фабрики, рассчитанные на сбыт продукции внутри владений самого помещика-фабриканта (соединение феодальной замкнутости вотчины как политико-экономической единицы с промышленностью!); правда, немалая доля промышленной продукции сбывалась казне; правда, самая фабрика была в основном крепостной, так же, как хлеб, продаваемый помещиком, выращивался на крепостной ниве, и вообще — и это самое главное — в основном весь социально-экономический уклад страны еще был феодально-крепостнический; но тем не менее, внутренние противоречия уже накапливались, червь уже подтачивал где-то в глубине устой здания. Все это не значит, конечно, что следует преувеличивать значение буржуазно-капиталистических элементов в экономике, как и в культуре России XVIII века; об этой опасности я говорил в начале книги. Но нельзя также игнорировать уже и для 50-х — 70-х годов XVIII века наличие подготовки роста элементов будущего капиталистического развития. И вот эти-то элементы и расшатывали здание на ряду с чудовищно углубившимся и обострившимся общим и основным противоречием крепостничества, приведшим к Пугачевщине. Эти же элементы создавали тревогу, не вполне осознанную, но вполне ощутимую в среде Сумароковых, Херасковых, Паниных.

Проблема «торгующего дворянства» волнует их. Они не хотят роста купца; они ненавидят дельцов в роде Петра Шувалова. Но они принуждены, чтобы не разориться, делать то, что и другие делают. Иначе они разорятся, как Сумароков. А вот ученик Сумарокова, Василий Майков, завел у себя фабрику, хотя, впрочем, все-таки разорился и разорил самое фабрику. А Фонвизин приторговывает — правда, благородным товаром—картинами и рекомендует дворянам самим прибрать к рукам денежные операции, чтобы не дать расти буржуазии; но и Фонвизин разорился, несмотря на уступки.¹

В этом был тяжкий внутренний разлад, порок, обесценивавший позицию феодалов-фрондеров, обрекавший их на неудачу. Они утирались и не имели силы удержаться не только под напором внешних социальных врагов, но внутри своего собственного хозяйственного и не только хозяйственного бытия. Они уступали натиску истории нехотя, стараясь отдать возможно меньше, сохранить возможно больше, и теряли все, не приобретая ничего. Они хотели сохранить сословные привилегии, укрепив их уступкой парламентаризму в пределах своего сословия, и это было неосуществимым компромиссом; они хотели сохранить крепостничество ценою других уступок, дав рабу собственность, создавая в среде рабов, может быть, и рынок; и этот компромисс не решал вопроса; они хотели возврата к феодальной рыцарской культуре, быту, «доблести», идеалам искусства, используя для создания такой культуры элементы, созданные на Западе освободительной мыслью буржуазии. Реакционеры, боровшиеся оружием прогресса, они не совершили своих чаяний и не хотели помочь движению вперед; они подчинились этому движению, проклиная его, и погибли, защищая прошлое. Но будущее они во многом подготовили, сами того не желая.

Именно в свете сложного переплетения желаемого и совершаемого, тенденций и результатов, в свете сложных взаимоотношений феодальных и капиталистических элементов следует рассматривать в каждом отдельном случае и

¹ Сумароков же решительно осуждал помещиков, заводящих «мануфактуры и протчие вымыслы», которые «крестьян отягощают и все время у них на себя от'емлют, учиняя их невинными каторжниками». Он писал: «В моде ныне суконные заводы; но полезны ли они земледелию? Не только суконные дворянские заводы, но и сами лионские шелковые ткани по мнению отличных рассматривателей Франции меньше земледелия обогащения приносят. А Россия паче всего на земледелие уповати должна, имея пространные поля, а по пространству земли не весьма довольно поселян, хотя в некоторых местах и со излишеством многонародна. Тамо полезны заводы, где мало земли и много крестьян. Но чтобы заводы и крестьянам, а не одному помещику доходны были, и были бы крестьяне работники, а не каторжники... и т. д. («О Домостроительстве». П. С. С., т. X). В замечаниях на Наказ Сумароков писал о том же.

высказывания поэтов середины XVIII века о торговле, о науке, о промышленности. О перспективах уральской промышленности восторженно писал в одах Ломоносов — и он не был все же буржуазным поэтом, но был поэтом вельможной верхушки, поощрявшей промышленность. Об экспансии России на восток писал в своих одах Сумароков — и он, конечно, не был поэтом торгового капитала. Но он готов был допустить и принять екатерининскую политику экспансии, поскольку она давала выход экономике дворянского поместья, сам не понимая, может быть, что этот выход подрывает основы крепостничества, исключает феодальный возврат. Впрочем, он не шел дальше политики захватов, осуществлявшейся близкими ему П. Паниным и Румянцовым. Уже в 1763 г. Сумароков прославлял «достижения» нового царствования:

Горы золото изливают,
Златом плещет окиян:
Села степи покрывают
И пустыни многих стран.

Из Амура Росс выходит,
Российские суда выводит,
И к Нифону правит путь:
Бури моря не терзают,
Сильны ветры не дерзают
В паруса противу дуть.
Во края плывем Азийски
По восточным мы валам:
Пристают суда Российски
К Филиппинским островам.

Росску скипетру услуга
Трех частей земного круга
К миру и против врагов.
За протоком окияна
Росса зрю американа
С азиатских берегов.
Тщетно глубины утроба
Мещет бурю, скорбь и глад;
Я у Берингова гроба
Вижу флот, торги и град.

К нам дары несут немалы
Контайшинцы и Мунгалы,
Хинская стена дрожит:
Тамо меч Российский блещет,
Ужасенный хин трепещет,
И в Пекин от стен бежит.
Зыблется престол под ханом;
Огонь от севера жесток,
И Российским Тамерланом
Устрашает весь восток.

Будут поздны Россов дети
Всею Азией владети и т. д.

(Ода Екатерине II на день тезоименитства, 1763).

Характерно здесь то, что Сумароков подчеркнуто рекомендует правительству тягу именно на Восток, в Азию, а не на Запад. Он, видимо, не хочет, чтобы Россия включилась в круговорот западной торговли, а хочет азиатских колоний, причем представляет дело отчасти в духе вооруженных вторжений, завоеваний, в духе налетов конквистадоров. В оде на день рождения Екатерины 1764 г. Сумароков проповедует тягу на Восток под лозунгом крещения неверных: «От тьмы греховной их избавим, Познают бога там цари, И там бессмертному поставим, На пользу смертных олтари»... В оде 1768 года на день восшествия на престол Екатерины опять речь идет об экспансии на Восток.

Законов и царей где нет,
Простри туда свою державу!
Обращаешь тамо новый свет
И новую России славу.
Спряги со западом восток!
Еол колико ни жесток!
Тобою можем мы спастися:
И отделяя горизонт,
Не воспрепятствует нам Понт
Из мира к миру пренестися.

С Курильских мелких островов
Устави нам торги с Нифоном,
И буди поданным покров
Богатство собирать во оном!
А ты несправно ль, гордый Дон,
Бежишь из стран Российских вон,
Вливаясь в Евксинско море?
Византия, Архипелаг,
Увидят ли Российской флаг?
И то нам должно быть вкоре.

Увидев Росски корабли,
Америка, не ужасайся.
Из праотеческой земли
В пустыни бегством не спасайся!
Под видом праведных богов
Встречала ты своих врагов,
Кропiti кровью вашей крины:
А мы по утренним водам
Пристанем к вашим берегам
Со именем Екатерины.

Значит, Сумароков не против торговли; он стремится туда же, куда указывал фонвизинский Стародум — в Азию. Он хочет торговать продукцией крепостного хозяйства, и в этом, как уже сказано, внутренний порок его позиции. При этом он хочет по преимуществу грабительской торговли с «дикарями», хочет хищнической наживы, которая не требует новых, более совершенных форм хозяйствования внутри страны. Конкурировать с Западом, переходящим на капиталистические формы организации производства, он не может; согласиться на аналогичный переход в России — не

хочет; ему остается распространить рабство на Восток, покорить его, грабить его или сбывать туда свои товары. Такова была фантастическая «идея» од Сумарокова по части торговой экспансии; это была тщетная попытка выбраться из противоречия. При этом Сумароков остается неизменно врагом торговли как самостоятельной силы капитала, врагом купцов как социальной силы, врагом основных принципов капиталистической конкуренции. В 1769 г. он напечатал в журнале Чулкова «И То и Сё» (6 неделя) статью «О всеобщей равности в продаже товаров»; здесь он решительно высказывается против свободы торговых операций по линии цен. Он — против спекуляции, против «свободы» частной торговли. Он хочет, чтобы торговля была выгодна государству; но не считается с выгодой торгующего. Для него, видимо, если дворянин торгует, то он получает деньги только как хозяин земли, а не как купец; нажива купеческая на торговле, как таковой, для него незаконна. Он требует, чтобы цена на товары была равна, независимо от их предложения и спроса, т. е. требует нормировки цен. В противном случае, если товар при малом предложении продается дороже «государственной казне прибытка нет, покупающим убыток, а прибыль одним жадным только и неправедным продавцам... Когда бывает недород хлеба, помогает ли дорогая оного продажа народу? Она помогает одним только злочестивым продавцам, обогащающимся нещастием рода человеческого... Барыши на все товары должны быть по размеру их доброты и по издержке, на них употребленной; а инако продажа граблею будет. Богатые, как бы что дорого ни было, покупать могут; но только ли одни богатые члены суть общества?.. Те, которые подымают товаров своих цену для единого недостатка товаров, суть злейшие грабители, подобные вора, которые на пожарах крадут и людям разоряемым разорение усугубляют. Что цена товарам в объявленных обстоятельствах, быть должна всегда равна, сему я никакова противоречия не вижу; ибо ево нет: и что бы продавцы против сего ни говорили, пустые то речи, неимущие ни малейшая отговорки, которая бы их извинить могла».

Сумароков хочет сбывать китайцам и японцам продукты крепостного труда, но он не хочет развязывать руки торгово-капиталистическим элементам в стране. Опять уступка с целью сохранить основу.

3

Смерть Елизаветы Петровны и вступление на престол Петра III всполошили все группы дворянского общества. Накопившиеся и бродившие в течение ряда лет политические страсти прорвались наружу. Борьба придворных партий

каждую минуту грозила превратиться в борьбу оружием. Заговоры двух-трех политических дельцов и конспиративные беседы литераторов, уже и ранее имевших тенденцию распространять свою агитацию вширь, теперь привели к активной пропаганде в гвардейских полках.

Даже московские литераторы, более или менее уклонявшиеся до сих пор от участия в политике не только действием, но даже словом, были втянуты в общую лихорадку. Они разом вышли из своего аффектированного моралистического покоя, вдруг перестали быть только философами и поэтами, чуждыми дел мира сего, перестали быть только интеллигентами и жрецами добродетели и заявили о своих политических надеждах, чаяниях и симпатиях.

Одна за другой стали появляться торжественные оды, имевшие, конечно, характер политических высказываний, стихотворных передовиц. Нужно заметить здесь, что до этого времени поэты сумароковского круга вообще не жаловали торжественной («похвальной») оды; они избегали прямых политических высказываний в официальной плоскости, в связи со своей установкой вольных вождей дворянского общественного мнения, тем более, что ода требовала похвалы, а они находились в оппозиции. Теперь — не то; новое правительство еще не проявило себя достаточно; от него можно было ждать изменения курса по сравнению с прежним царствованием, можно было надеяться. Поэтому сумароковцы спешат высказаться, настаивать правительству, подать свой голос, заявить о своем существовании.

Сам Сумароков при Елизавете написал всего четыре похвальных оды, из которых характер развернутого образца данного жанра имеет едва ли не одна только ода на день рождения императрицы 1755 года; остальные три — чисто военные оды: две «О прусской войне», одна в частности «На франкфуртскую победу», коротенькая ода (5 строф; она была напечатана в «Трудолюбивой пчеле» просто под названием «ода»; в Полн. собр. соч. — в более поздней редакции и с заглавием «Ода государыне императрице Елизавете I на франкфуртскую победу».¹ Видимо, Сумароков был готов приветствовать военные успехи монархии Елизаветы (в войне отличались и его единомышленники П. Панин и Румянцев), но вне военной темы по общим вопросам политики он не желал высказываться в хвалебно-одическом духе в течение шести лет, от декабря 1755 до конца 1761 года.

¹ Ода на победы Петра I, напечатанная в 1755 г. (Ежемесячные сочинения, I, 214) не имеет характера похвальной оды, связанной с текущими событиями. Написана она около 1744 г.; см. в статье Сумарокова «Критика на оду» (П. С. С., т. X, 1787, стр. 84), где приведена цитата из этой оды и указана, что она написана «за три года прежде» оды Ломаносова 1747 года.

Херасков после 1753 года, когда он выступил с одой на день восшествия Елизаветы на престол (ему было тогда 20 лет), не напечатал ни одной торжественной оды, удовлетворяясь,— едва ли не в порядке необходимого цензурного ритуала,— комплиментами императрице в стихотворениях антологического типа (напр., «Солнце славы». Полезное Увеселение, 1760, 1, 29; «Ода к музам, подраженная Г. Расину». Полезное Увеселение, 1760, 1, 131).

А. А. Ржевский до 1762 г. издал всего одну похвальную оду в «Полезном Увеселении», 1761 (II, 184). Вообще же «Полезное Увеселение» за два года — 1760 и 1761 — напечатало всего две похвальные оды императрице, по одной на год — упомянутую только что оду Ржевского и оду А. Карина (1760, I, 165). Особый характер, как и ода Сумарокова на победы Петра I, имеет ода Ржевского — памяти императора Петра Великого; эти оды о Петре, может быть, заключали некоторый урок правительству, скрытый в фантастической характеристике Петра, в котором прославлялся не только исторически-реальный деятель, сколько создаваемый самим поэтом образ идеального монарха. Попутно отмечу примечательный штрих в оде Ржевского о Петре. Ржевский помнит ломоносовский раболопный стих: «Он бог, он бог твой был, Россия!» (ода 1742 г.), и отвечает на него, отвергая подобострашие придворного во имя позы беспристрастия мудреца: «Хоть богом счесть тебя не можно. Но послан был ты к нам не ложно. От воли вышнего святой!» (строфа 9); ср. с этим в оде Сумарокова на победы Петра: «Не удобно в христианстве Почитать богами тварь, Но когда б еще в поганстве Таковой случился царь, Только б слава разнеслася, Вся б вселенна потряслася От его пречудных дел: Слава б неумолкным рогом Не царем гласила, богом, Мужа, что на трон взошел» (стр. 3).

И вот теперь, как только умерла Елизавета, сумароковцы немедленно обращаются к торжественной оде. Сумароков выпускает сразу две оды — на погребение Елизаветы и на восшествие на престол Петра; Херасков — также оду на восшествие Петра (Штелин сообщает, что Херасков написал также оду на кончину Елизаветы; см. П. Ефремов, Материалы, стр. 166. Впрочем, ни у Сопикова, ни у Плавильщикова, ни у Смирдина такая ода не показана; нет ее в Публичной библиотеке в Ленинграде. Может быть, Штелин имел в виду оду на восшествие Петра III?). «Полезное Увеселение», превратившееся в 1762 г. в ежемесячный журнал, открывается одой И. Богдановича — тоже на восшествие Петра III; следующий, февральский номер — опять одой на кончину Елизаветы и на восшествие Петра — А. Нарышкина; следующий, мартовский номер — двумя одами Ржевского: на восшествие и другой, которая «приносится в знак

благодарности за беспримерное и милосердное пожалованье волностию российских дворян. Сочинена в 1762 году. Марта 1 дня» (указ о вольности дворян издан 18 февраля). В том же номере журнала — еще одна ода Петру III, А. Нарышкина, прославляющая его также в связи с тем, что он «дворянству волю даровал».

Общий смысл всех этих од сводится к тому, что от Петра поэты Сумароковского круга, как и сам Сумароков, ожидают всяческих благополучий, обновления страны, уничтожения пороков, раз'едающих ее; они поучают нового императора «быть им отцом» и т. п. Указ о вольности дворянства естественно вызывает их восторг, хотя ни в оде Ржевского, ни в оде Нарышкина нет конкретных указаний на то, что они удовлетворены этим указом, нет ни анализа указа, хотя бы поэтического, ни практически осмысленной похвалы ему. Восторги поэтов имеют общий характер; это не совсем восторги единомышленников царя и людей, партия которых победила. Сумароков и Херасков не реагировали на указ литературно.

Конечно, все это не значит, что указ о вольности дворянства противоречил надеждам и чаяниям группы Сумарокова. Наоборот, он был победой дворянства в целом, следовательно, и того его слоя, который они представляли. Но он не исчерпывал их программы, их социальных пожеланий. Помещики сумароковского круга стремились не столько к уменьшению обязанностей дворянства, сколько к увеличению его прав. Они готовы были признать, что дворянин обязан служить отечеству (м. б. не только в армии и канцелярии, но и в своей деревне), но хотели, чтобы он за то управлял им открыто. Этого указ о вольности дворян не давал, и хотя фактически правительство было всецело в руках помещиков, законодательство недостаточно отражало это положение. Притом дело шло о том, какая именно группа дворян будет диктовать свою волю трону, — и аристократы-либералы хотели, чтобы это были именно они.

Июньский номер «Полезного Увеселения» был последним. Журнал прекратился неожиданно. В конце статьи Ржевского «Продолжение сбытия сновидения, сообщенного в марте месяце» помечено: «Продолжение будет впредь». Этого продолжения читатели не дождались.

Событием, заставившим Хераскова и его сотрудников прервать издание журнала, повидимому, вообще сильно всполошившим весь университет, был переворот 28 июня, возведший на престол Екатерину II.

Известна роль, которую играл в подготовке переворота и в проведении его Никита Панин. Став во главе движения либералов-аристократов, Панин имел в виду воспользо-

ваться недовольством, вызванным действиями Петра III, для реализации политических замыслов своей партии. Для него и для его единомышленников дело шло вовсе не только о смене императора, главы правительства, а о настоящей дворянской революции, об изменении самой структуры власти. Устраняя непопулярного монарха, они хотели отменить вообще неограниченную монархию. Панин предполагал, что переворот даст возможность его группе захватить полноту власти с тем, чтобы далее легализовать новое положение вещей. Он имел в виду объявить императором восьмилетнего Павла I, регентшей — его мать, Екатерину, и ввести при этом конституцию, которая узаконила бы ограничение единовластия дворянским, аристократическим парламентом или иным аналогичным учреждением, сословным и обеспечивающим укрепление правительственных функций за аристократией. При этом главная роль в организации новой власти неизбежно должна была выпасть на долю его самого, Панина, поддержанного его «партией». За это ручалось и его положение воспитателя будущего царя и то обстоятельство, что этого царя посадили бы на трон именно панинцы.

Между тем, идея феодально-олигархической революции не осуществилась. Проекты Панина не воплотились в жизнь. Быстро и удачно проведенный переворот, с точки зрения Панина, удался далеко не полностью. Екатерина стала не регентшей, а самовластной императрицей. Панин вместо главы олигархического парламента и руководителя маленького царя стал только одним из первых советников Екатерины.

Дело в том, что Екатерина, еще до переворота заигрывая с Паниным, соблазняя его группу и его лично своим «вольтерьянством» и свободомыслием, одновременно оперлась на другой слой столичного дворянства, за которым стояла и масса дворянской провинции. Относительная слабость позиции Панина, которую не могла не видеть Екатерина, была в том, что его группа не была столь многочисленна, что его планы и замыслы вынашивались в небольших кружках, что им был свойствен явственный характер этой кружковщины. За Паниным стояли группы помещиков, состоятельных, но не державших в руках экономической гегемонии страны, хотя и захвативших ряд командных постов в армии. Огромные капиталы придворных дельцов противостояли экономике помещичьей аристократии как более новая, более гибкая, более совершенная экономическая сила. Помещичий класс стремился ликвидировать эту силу грабительского капитала, более наживавшегося на феодализме, чем взрывавшего его изнутри. Но не панинская группа могла бороться с Петром Шуваловым. К власти рвался и другой слой дворянства — дворянская масса, множество

мелких и средних помещиков, наполнявших гвардейские полки, несколько не заинтересованных в политических реформах, враждебно относившихся к идеям «легализации» и ограничения крепостного права, хотевших только, чтобы правительство обеспечило им возможность безбоязненно завинчивать пресс барщины. На другой день после того как были уничтожены остатки стеснений дворянства, олицетворенные в образах Бирона и потом Шуваловых, должна была разгореться борьба между дворянской массой барщинников и помещицей аристократией, политические требования которой вытекали отчасти из ее социально-экономической слабости. Панинцы жестоко ошиблись, если предполагали, что они поведут за собой все дворянство. Они были слишком богаты, чтобы удовлетвориться примитивным выколачиванием из крестьян барщины, им надо было уже реализовать свои доходы, для чего им нужны были гарантии власти,—но они не были достаточно богаты, чтобы свободно капитализироваться на основе крепостного хозяйства. Поэтому они и хотели компромисса—ограничения крепостничества и политических гарантий в формах феодального возврата. Но дворянские «низы» боялись и политической и экономической конкуренции аристократов; ограничение барщинных прав означало бы для них разорение и полное подчинение помещикам типа панинских учеников (того и хотели эти последние). Однако, эти дворянские «низы» были сильны своим количеством и своей организованностью в гвардии, тем, что они были вооружены. С одной стороны, Панин возглавлял кучку людей, сосредоточивших в своих руках дворянскую культуру; с другой стороны, были гвардейские штыки, охранявшие неприкосновенность барщины и выдвинувшие в свою очередь своих лидеров, в первую очередь братьев Орловых.

Таким образом, Екатерина вступила на престол, поддержанная двумя группами дворянства, враждебно относившихся друг к другу; Панин руководил политикой переворота, Орловы скакали впереди солдат, привезли Екатерину в Петербург, устроили убийство Петра. Рядом с Орловыми стояло еще немало таких же офицеров.

Две силы двигали переворот 1762 года, партии Панина и Орловых. Остальные участники переворота, не входившие в эти дворянские партии, были декорацией, объектом демагогической демонстрации единства всех слоев дворянства, не более. Таким фиктивным вождем оказался гетман Разумовский.

В личном составе правительственного аппарата немедленно сказались результаты переворота. Дельцы прежних царствований пали. Шуваловы были уничтожены. Даже И. И. Шувалов попал в явную опалу; ему пред'явили даже

уголовное обвинение по денежным делам по линии Московского университета, в котором он был куратором; в конце концов (еще в 1763 г.) он уехал за границу на 10 лет. Не удержался и Никита Трубецкой; он хитрил до конца. Во время дворцового переворота он был на стороне Екатерины; но жена его (мать Хераскова) была в свите Петра; предусмотрительность не спасла его. Он продержался недолго; в 1763 г. он руководил еще, в качестве признанного спеца по части искусства дворцовых празднеств, коронационными торжествами, и сразу после этого принужден был выйти в отставку, хотя и со всеми возможными почестями.

Пустой демонстрацией со стороны Екатерины и правительства был и «возврат» Бестужева и Миниха. Нужно было создать впечатление консолидации сил, с одной стороны, и дать обещание мягкости режима (для дворян), с другой. Никакой роли в политике ни елизаветинский канцлер, ни аннинский фельдмаршал уже не могли играть. Зато и Панин и Орлов, воспитатель царевича и любовник царицы забрали в свои руки огромную власть; вернее, они оба с первых же дней нового царствования заявили свои права на всю полноту власти.

Началась длительная борьба. Орлов и Панин возненавидели друг друга, так рассказывали современники; дело было, конечно, не в личной ненависти. Когда появился общий враг, Потемкин, то Орловы и Панины составили блок против него, и вражда не мешала им. Борьба шла вовсе не о личном влиянии на Екатерину; здесь Панин никак не мог бы тягаться с фаворитом; борьба шла вокруг политики правительства, вокруг вопроса, какая из групп дворянства подчинит себе правительство и императрицу.

Примирения здесь быть не могло. Екатерина должна была выбрать в руководители или европеизированного образованного либерала-аристократа Панина с его проектами реформ и конституции, или же жадного к веселью, разгулу, грубого, но сильного полумужика офицера Орлова. За одним стояла не только традиция и не только культура, но и кружки в Петербурге и Москве и печатное слово и, в конце-концов, вся почти аристократия, хотя, конечно, она была и немногочисленна; кроме того, за ним же стояло отчасти и руководство армии, возвращавшейся из Пруссии; за другим — гвардия и многочисленная дворянская провинция.

Екатерина предпочла пока что не решать вопроса, а лавировать, попытаться удержать трон на обоих устоях; задача была явно не выполнима. Но в течение нескольких лет борьба за власть шла, и Екатерина эквилибрировала.

Ей пришлось очень трудно. Она сама признавалась, какую сложную игру демагогии ей приходилось вести; она хотела подкупить все партии. И все-таки почти все на первых

порах были недовольны именно потому, что ни одна партия не победила пока вполне.

Иностранные послы в первое время после переворота пишут о крайней шаткости власти новой императрицы, о том, что она может потерять трон; убийство Петра III могло быть удобным предлогом для пропаганды против нее; Иван Антонович мог быть объявлен кандидатом на ее место. Как ни легко получила Екатерина власть, было бы неправильно думать, что хотя бы все дворянство очень радовалось перевороту. Положение было в высшей степени неустойчивое. Дворянские «партии», привыкшие к дворцовым переворотам и посадившие на трон совершенно «незаконную» императрицу, явно требовали, чтобы она выполняла их требования; для этого они и посадили ее на трон. Но их требования противоречили друг другу. Екатерина знала, что шутить с этими «партиями» нельзя. Впоследствии, когда победа в этой внутриклассовой борьбе склонилась на сторону врагов Панина, пришлось долго и упорно искоренять силу его партии, и она защищалась также с величайшим упорством. Теперь же, после переворота, Екатерина не только не хотела, но и не могла решить, с кем идти. На первых порах многое получили как-будто, именно, панинцы. Им была обещана победа, но исполнить обещание Екатерина не могла. Однако, на первый взгляд они добились как-будто многого, правда, больше на словах.

Сам Панин сразу же, с первых дней царствования Екатерины, забрал в руки не только всю внешнюю политику, но, в значительной мере, и внутреннюю. Он стал главным лицом в правительстве. Не занимая, в сущности, руководящих постов, он, в качестве ближайшего советника царицы и лидера правительственной партии, направлял ход всех текущих дел. Его влияние умерялось только силой Орловых и их единомышленников. Но власть его все же была велика. Он просто заявил свои права на власть в виде платы за переворот; вторым векселем, выданным Екатериной, была политическая реформа; не имея возможности платить по этому второму векселю, Екатерина тем поспешнее и демонстративнее платила по первому. Между тем, участие Панина во всех политических делах, и в частности в тайных делах, все более должно было укреплять его позицию. Так, он провел не только всю польскую операцию, но и темное и трудное дело Мировича, и трудно даже с уверенностью сказать, что он мог знать по этому делу; если же дело это все было спровоцировано самой властью с целью убрать претендента на корону (такое предположение подтверждается очень и очень серьезными и многочисленными данными, несмотря на все усилия Бильбасова опровергнуть его), то Панин, лично руководивший им, фактически держал в руках Екатерину

именно угрозой использования своих сведений против нее. В результате борьба «подданного» с монархом, борьба, в которой было сразу же пущено в ход серьезное оружие, на первых порах привела к некоторому перевесу на стороне подданного. Иначе говоря, блестящая тактика Панина, как лидера, дипломата и интригана, обеспечила его перевес над Орловым.

Екатерина в свою очередь применила все свои дарования лицемера и шармера для того, чтобы подольститься к Панину, подкупить его, внушить ему несбыточные надежды. Ее письма и записочки к нему — этих писем и записочек было множество — содержат достаточный материал для такого суждения. Екатерина умела хитрить и льстить. Она хвалит распоряжения Панина: «Вашими распоряжениями я нынче, как по большей части и всегда, весьма довольна» (1764, 18/VI); она пишет к нему не только как партикулярное лицо, но как личный друг, более того, как почтительный друг. «Je vois bien, que les radoterics du vieux F. Minich m'ont privéé jusq'à cette minute de vos nouvelles... Votre frère avec ses dignes compagnons de chasse s'en donnent d'une telle façon, que s'ils n'ont pas la goutte»... и т. д. (1765, 6/VIII, из Ладогои); в конце того же письма: «Adieu; portez vous bien et n'ayez pas de confiance dans les radoteurs et soyez aussi gai, que nous».

Во время волжского путешествия Екатерина пишет Панину часто, иногда каждый день; в ее письмах дела переплетаются с комплиментами, она рассказывает всякую всячину о самом путешествии, дружески болтает с Паниным, спрашивает у него советов и т. д. Тон писем такой: «Что же касается до дела Гомма, то буду ждать те письма, кои Вы мне обещаете, а между тем весьма довольна оборотом тем, которой Вы заблагорассудили дать сему делу, и как Вы уже до сего края дошли, то позвольте же, чтоб я в крайней откровенности Вам поверила мои сумнения...» (27/V, 1767; в книге «Письма и записки имп. Екатерины II к гр. Н. И. Панину», М., 1863, стр. 24; остальные цитаты оттуда же). «Скажите брату Вашему, что вчерась я была в здешнем девичьем монастыре, где у ворот встретил меня его дедушка Кудрявцев и так мне обрадовался, что почти говорить не мог» и далее все об этом Кудрявцеве, в умиленном тоне (29/V, стр. 25). Из деревни И. Г. Орлова, может быть, желая смягчить именно это впечатление — победы врагов Паниных, она пишет: «Сия деревня в шести верстах от пригородка Майнска, который отчасти брату Вашему принадлежит, а он, я чаю, и от роду в нем не бывал; а мы вчерась его луга потоптали, хлеб всякого рода так здесь хорошо, как еще не видали...» (4/V, стр. 28). — «Читала я Ваше письмо к Белосельскому, и вижу, что Вы почти держались моего о сей материи конфуз-

ного письма» (6/VI, стр. 29. — Кстати: письмо к Белосельскому, русскому посланнику в Дрездене, по делу русских студентов в Лейпциге, в котором был замешан и Радищев).— Или такой шедевр царского лицемерия в письме из Мурома от 12/VI: «... сего утра в шесть часов мы сюда приехали: все спят, кроме меня, изволь со мной скуку делить; я надосуге сделаю Вам короткое описание того, что заметила дорогою» (стр. 31). Или уже не из путешествия: «Признаюсь, что весьма любопытна видеть Ваши ответы и надеюсь, зная Ваше искусство, что Вы ничего не пророните того, что к поспешению сих дел служить может» (29/I, 1768; стр. 37); или: «Monsieur Choiseul Вас не любит для того, что он принужден Вас почитать» (24/I 1768; стр. 363); «При сем посылаю к Вам ответное мое письмо к королю Датскому; если Вы думаете, что оное письмо над его поведением не сделает импресии и оно ненужное, то лучше изволь изодрать оное, ибо я сама недовольна сим письмом» (27/I, 1768, стр. 36). Во время болезни невесты Н. Панина: «Весьма сожалею о болезни Вашей невесты, однако не отчаиваюсь, бог милостив; да и молодые ее леты преодолеть легко могут болезнь. Я из письма Вашего вижу, что Вы прежде времени печалитесь, и как ей бог даст легче, то опасаюсь, чтоб Вы не занемогли; пожалуй, побереги свое здоровье, и будьте уверены о участии, кое я беру во всех случаях, кои до Вас касаются. Екатерина. Мая 4 числа 1768. Сыну моему скажите мое благословение, я ему даю комиссию стараться Вас утешить» (стр. 40; тут же аналогичное письмо от 8 мая).— «Не полезно ли было, чтоб я написала своеручное письмо к королю Шведскому...? и Вы мне о сем скажите Ваше мнение» (стр. 105).— «Прочтите мои записки и если Вы думаете, что оне не вредны и схожи с нынешними обстоятельствами, так отправьте их; в противном случае пришлите их обратно»... (стр. 133). В тон Панину Екатерина говорит о государственных проблемах и реформах; из Казани в 1768 г., во время работ Комиссии Уложения, она пишет: «Столько разных объектов, достойных взгляду, idées же на десять лет здесь собрать можно; c'est un Empire à part et il n'y a qu'ici, où l'on peut voir ce que c'est que l'immense entreprise de nos lois, et combien celles d'à present sont peu conformes à l'état de l'Empire en général. Они извели народу бесчисленно, которого состояние шло по сих пор к исчезанию, а не к умножению; таково же и с имуществом оного поступлено» (31/V, 1767, стр. 26). И здесь говорит единомышленник и друг Панина. А на самом деле уже в это время Екатерина была его врагом. Она боялась его, и потому терпела его и льстила ему; она сама потом вспоминала о том, что держа в руках Павла, он обязывал ее уступать ему, что за его плечами стояла сила многих. Она

писала ему дружеские письма, но уже подбирала силы его противников, чтобы противодействовать ему в политике, и уже упиралась, когда дело от слов переходило к реальным мероприятиям принципиального характера. Как исполнитель и как дипломат, Панин был для нее хорош, но не как соратник. Однако, началось с обещаний не только по линии дружеского тона переписки. В самый момент переворота, 28 июня 1762 года был издан небольшой манифест с извещением о вступлении на престол Екатерины и кратким оправданием самого дела. Затем, уже 6 июля помечен так называемый «обстоятельный манифест о восшествии ее имп. величества на всероссийский престол. Это — обширный документ, заключающий развернутую апологию переворота, обвинительный акт Петру III и приговор над ним; кроме того, манифест включает наметку принципов нового царствования. Эти принципы сформулированы в панинском духе. Манифест обещал либералам-аристократам исполнение их чаяний.

Основа требований панинцев — конституция; основное их обвинение современному политическому устройству России — деспотизм, произвол монархии. Уже в 60-х годах они настаивают на «фундаментальных» законах, обязательных для царя, и то же требование выдвигает как основное Панин в своем завещании. Дело шло об изменении сущности государственного строя. По терминологии Монтескье, Россия управлялась не монархически, а деспотически, хотя Екатерина впоследствии со злобой протестовала против этого. Но панинцы знали это. Монархией они называли, по Монтескье, власть одного, ограниченную законом; деспотией — самовласть, не ограниченное ничем. Монтескье связывал монархическое правление с наличием крепкого дворянства, аристократии, с культурой «чести»; это прельщало людей панинского круга. Они ориентировались на идеи Монтескье, бывшего их учителем в области политической оппозиционности и либерализма. Они хотели превратить русскую деспотию в монархию. «Монархическое правление, я не говорю деспотическое, есть лучшее», — писал Сумароков. С другой стороны, создание конституции, твердых законов, обязательных для монарха, требовало создания учреждений, гарантирующих неприкосновенность конституции. Вопрос о фундаментальных законах приводил к вопросу об учреждениях, контролирующих монарха, может быть, делящих его власть, т. е. к вопросу об ограничении самодержавия уже не только законом, а институтами дворянского, вернее, аристократического общественного мнения.

Уже в начале «обстоятельного манифеста» по поводу Петра III говорится: «... самовластие, не обузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе, вла-

деющим самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствиям непосредственно бывает причиною...». Это сильно, но это еще скорее политическая мораль, чем политика. Впрочем, антидеспотический пафос этих слов все же имеет явственный характер политического заявления новой власти.

Окончив обвинение Петра и подробное изложение событий переворота, автор манифеста приступает к заключительной части; здесь дана прямая декларация намерений нового правительства. «А как наше искреннее и нелицемерное желание есть прямым делом доказать, сколь мы хотим быть достойны любви нашего народа, для которого признаваем себя быть возведенными на престол (какой либерализм! какое отречение от замашек деспотизма!—Гр. Г.): то таким же образом здесь на и торжественнейше обещаем нашим императорским словом узаконить такие государственные установления по которым бы правительство любезного нашего отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело так, чтоб и в потомки каждое государственное место имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всем порядка, и тем уповаем предохранить целость Империи и нашей самодержавной власти, бывшим несчастьем несколько испроверженную, а прямых верноусердствующих своему отечеству вывести из уныния и оскорбления». В первую голову манифест должен был вывести из уныния панинскую партию. Он недвусмысленно обещал конституцию, фундаментальные законы, не подлежащие отмене и будущими императорами, т. е. стоящие выше «самодержавной власти» деспота, несмотря на неопределенную оговорку об охранении целости этой власти. А конституция потребовала бы законодательного собрания для своей выработки и для гарантий.

Поэтому Панин был совершенно последователен, когда он немедленно после переворота стал добиваться первой реорганизации правительства, еще осторожной, но уже идущей в направлении подготовки конституционного принципа. План организации Государственного совета и реформы Сената, выработанный им, явился попыткой вырвать у Екатерины хоть частичное исполнение обещания, данного в Обстоятельном манифесте. Панин решил, что пора действовать, пора реализовать плоды переворота, плоды победы, хотя бы и частичной. Если не удалось провести самый переворот так, чтобы конституция была дана сразу при свержении Петра, чтобы конституция была создана и введена в жизнь им самим, властью данною ему переворотом, то

нужно использовать ту власть, которую он еще имел, пока не поздно. Однако он просчитался, потому что было уже поздно. У власти стоял не только он, но и Орловы.

Мотивировка проекта реформы вскрывала его сущность. Дело шло о постепенной ликвидации деспотизма. Со всей силой накопленного негодования обрушивается Панин на фаворитизм, на произвол — следствие самовластия. Он требует разделения власти монарха, твердых «начальных оснований правительства, которые бы его форму твердо сохранить могли», требует законодательного учреждения. Самый проект был составлен хитроумно: Панин предлагал образовывать олигархический совет при монархе; члены совета *н а з н а ч а л и с ь*, а не выбирались, и это все же не меняло существа дела. При создавшейся ситуации, когда императрица еще вполне зависела от людей, подаривших ей трон, когда Панин и его единомышленники были еще сильны, он мог рассчитывать на то, что Совет станет орудием его идей и планов. Во всяком случае, Совет должен был иметь достаточные полномочия и мог стать органом, контролирующим деятельность императрицы. Он давал точку опоры для борьбы с произволом и для дальнейшего углубления конституционного принципа. Более того, выборность и не соответствовала аристократическим позициям Панина и могла быть невыгодна для него даже в пределах дворянской выборности: большинство явно было бы против него, за самодержавие, за Орловых. С другой стороны, проект Панина предусматривал укрепление влияния Сената, который получал право ремонтрансов и должен был стать своего рода второй палатой олигархического правительства. Легализовать свою власть и власть своей партии, создать организации, способные стать рядом с монархом и обеспечить осуществление конституции — таков замысел, легший в основу проекта Панина.

Вокруг этого проекта поднялась борьба. Екатерина не хотела да и не могла согласиться на предложение Панина. Она начала увильнуть от прямого ответа, тянула дело. Отказаться от обещания манифеста, несомненно высказанного и устно во время заговора и переворота, ей было трудно. Но исполнить его было также невозможно для нее. Она колеблется, она поручает рассмотреть проект людям, не принадлежащим к партии Панина; отзыв получается прямой: проект заключает попытку ограничить самодержавие в пользу аристократического правления: «по крайней мере, если есть намерение к такому переустройству, то императорский совет представил бы первым к тому шагам» (мнение Вильбоа). Такой отзыв дает Екатерине возможность отказать Панину; во-первых, и в манифесте говорилось о сохранении самодержавия; во-вторых, против проекта общест-

венное мнение, которому она повинуется; ответственность она перелагает с себя на хозяев трона — дворян, причем, конечно, учитывается только антипанинская группировка. Тем не менее, Панин, чувствуя свою силу, настаивал, Екатерина откладывала дело по мелким формальным поводам: она, видимо, взвешивала силы и шансы борьбы. Наконец, она уступила; указ о реформе был готов; Екатерина подписала его — и тотчас же разорвала уже подписанный акт. Панин проиграл первую, едва ли не решительную битву.

Но он, конечно, не был еще побежден. Он еще держал в руке нити правительственной машины. Он всегда открыто «вольнодумничал», и его замечания имели вес; они запомнились Екатерине надолго; еще в 1793 г. она писала: «Граф Панин говорил: «Короли суть необходимое зло, без которого нельзя обойтись», и когда я жаловалась, что то или другое делается не так, как было бы желательно, прибавлял: «На что вы жалуетесь? Если бы все в этом мире шло как следует, не было бы надобности и в вас» (а в письме к кн. де-Линь Екатерина писала в 1791 г.: «Если бы все исполняли свой долг, не было бы надобности ни в нашем брате, ни в наших чиновниках»; см. В. А. Бильбасов. Князь де-Линь в России. Русская Старина, 1892, т. 74, стр. 26—27).

Помимо проекта Н. И. Панина, Сенат представлял в 1762 году силу, с которой приходилось считаться Екатерине. За время царствования Елизаветы Сенат вообще вырос в своем значении, но в нем заправляли «верные» люди, — собственно П. И. Шувалов. Теперь, сразу после переворота, возведшего на престол Екатерину, Сенат занял первенствующее положение в правительстве. Это была попытка *de facto* осуществить отчасти проект Н. Панина, не получивший утверждения, попытка, без сомнения, связанная с общей линией поведения панинской группы. Екатерина была принуждена работать «совместно» с Сенатом, постоянно бывая в нем лично. В это время сенатором был назначен Петр Панин. Он вообще сразу пошел в гору после переворота вместе с братом. Он тоже стал одним из главных деятелей в этот момент. Уже 28 июня, в самый день переворота, Екатерина велела Петру Панину принять от Румянцова фактическое командование армией, находившейся в Пруссии; при этом П. Панин был произведен в полные генералы. Он должен был провести трудное дело вывода армии из-за границы, связанное с важнейшими дипломатическими проблемами. Затем он был назначен членом комиссии по организации армии; он же работал над большими политическими вопросами. В Сенате он вел фронт против деспотии; именно к этому времени относится анекдот о его протесте против мнения императрицы, о котором шла речь выше. Захватнические тенденции Сената должны были встретить противо-

действие со стороны Екатерины, разорвавшей полуконституционный акт, изготовленный Н. Паниным. Это был второй бой, и опять в нем в конце-концов потерпела поражение панинская партия. В начале 1764 г. вступил в исполнение обязанностей генерал-прокурора, своего рода главы Сената, А. А. Вяземский. Это был тупой человек, жестокий чиновник, чуждый всяких либеральных поползновений, первый — еще не самостоятельный — душитель дворянской фронды. Такие люди были нужны Орловым и их группе. В секретнейшем наставлении новому генерал-прокурору Екатерина прямо поставила перед ним задачу сломить фронду в Сенате, ликвидировать его стремления к самостоятельности. Она писала: «В Сенате найдете вы две партии; но здравая политика с моей стороны требует оные отнюдь не уважать, дабы им чрез то не подать твердости, и они бы скорее тем исчезли. Обе партии стараться будут ныне вас уловить в свою сторону. Вы в одной найдете людей честных нравов, хотя и не дальновидных разумом; в другой, думаю, что виды далее простираются, но не ясно, всегда ли оные полезны. Иной думает для того, что он долго был в той или другой земле, то везде по политике той его любимой земли все учреждать должно, а все другое без изъятия заслуживает его критики, несмотря на то, что везде внутренние распоряжения на нравах нации основываются...» Это — партия Н. Панина, и сам он, прельщенный шведской аристократической конституцией (еще перед переворотом Н. Панин говорил Дашковой о том, что хорошо было бы использовать его именно для перенесения в Россию оснований шведского государственного устройства). — «Сенат установлен для исполнения законов, ему предписанных, — пишет Екатерина, — а он часто выдавал законы, раздавал чины, достоинства, деньги, одним словом, почти все, и утеснял прочие судебные места в их законах и преимуществах... (здесь имеются в виду елизаветинские времена)... Сенат же, вышед единожды из своих границ, и ныне с трудом привыкает к порядку, в котором ему быть надлежит. М. б. что и для любочестия иным членам прежние примеры прелестны; однако ж покамест я жива, то останется как долг велит. Российская империя есть столь обширна, что кроме самодержавного государя, всякая другая форма правления вредна ей; ибо все прочее медлительнее в исполнениях и многое множество страстей разных в себе имеет, которые все к раздроблению власти и силы влекут, нежели одного государя, имеющего все способы к пресечению всякого вреда». (В. Иконников. Сенат в царствование Екатерины II, Р. Арх., 1885, I). Так Екатерина формулировала свою «теорию» против дворянского либерализма, который она уже готова была трактовать как честолюбие вождей

фронды (то же о самодержавии она повторила потом в «Наказе»). Так она говорила с противниками панинцев; а для панинцев оставались обильные либеральные фразы, как для самих Паниных — ласковые, дружеские беседы в тоне взаимного доверия и понимания. Так или иначе Екатерина и Вяземский покорили Сенат. Вскоре он стал просто судебной канцелярией и богадельней для вельмож. Между тем, программа панинской партии не ограничивалась реформами в области государственного управления; панинцы хотели поставить вопрос и о реформах социального строя, вопрос о крепостном праве. Они были безусловно крепостниками. Но они хотели укрепить крепостное право, введя в него элементы «законности». Близилась Пугачевщина; указ о вольности дворянства поставил на очередь вопрос о новом обосновании крепостного права взамен прежней круговой поруки повинностей, обязывавшей дворянина служить якобы так же, как она обязывала крестьянина содержать дворянина. Крестьянство волновалось и готово было восстать все в целом. С другой стороны, внутри поместья назревала потребность и в том, чтобы узаконить освобождение рабочих рук, и в создании предпосылки внутреннего рынка. Поместье требовало приложения капиталов и возможностей создания их в условиях феодализма. Панинцы хотели спасти феодализм, но они не могли не считаться с диалектикой его развития. В интересах сохранения феодальных устоев, в конце-концов, в интересах социально-консервативных, они все же требовали ограничений крепостничества; они хотели замены рабства вассальной зависимостью на новый манер.

«Внутри империи заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властей, и к ним начали присоединяться местами и помещичьи,— писала впоследствии Екатерина о положении вещей в начале 60-х годов. Крестьяне бунтовали, а на западе государства бежали за границу. Вопрос о бегстве крестьян, вопрос острый и знаменательный, послужил поводом для выступления дворянской фронды по крестьянскому вопросу вообще. Петр Панин подал Екатерине записку об удержании побегов из России в Польшу (1763). Он осторожен и ограничивается как-будто рамками проблемы побегов; но он ставит вопрос настолько принципиально, что трудно не видеть в его «мнении» попытки выдвинуть свою точку зрения, как общую и существенную для всего крестьянского вопроса в целом. Он указывает причины побегов крестьян: 1) корыстная строгость по отношению к раскольникам; 2) отдача в рекруты и спекуляция помещиков на рекрутских наборах; 3) вопиюще безобразное содержание рекрут до отправления по полкам, наводящее ужас на народ; 4) «ни чем не ограниченная помещичья власть»

с выступлением в роскоши из всей умеренности, к сборам с подданных своих собственных податей и употреблением оных в работы, не только превосходящие примеры ближних иностранных жителей, но частенько у многих выступающие и из сносности человеческой»; 5) возвышение цен на соль, взятки при продаже ее, жестокость при розыске вольной продажи вина; 6) неправоудие от лихоимства, нерадение властей; 7) назначение начальства на местах «для пользы посылаемых туда персон, а не для пользы поручаемых им градоначальств и дел».

Меры, предлагаемые Паниным для уменьшения побегов, имеют характер кардинальной реформы крепостных отношений. Это — план ограничения крепостного права, выдвинутый через несколько лет и в Комиссии нового уложения, и, конечно, также безрезультатно. Петр Панин считает необходимым, «запретить варварский обычай продавать помещикам своих крестьян в рекруты за чужие деревни для ненасытной роскоши; продавать крестьян только целыми семьями (а не в одиночку.—*Гр Г.*) ... Сочинить примерное на все государство положение крестьянским для помещиков работам и податям, не для издания к содержанию того во всем государстве, но ради секретного предписания всем губернаторам на случай, когда предузнается у кого от помещика целыми селениями или семьями из крестьян побегут, или противу него оные возмутятся, то б при требовании таких помещиков команд ко усмирению и ко отысканию своих подданных оные беспрекословно по прежним указам для того отправляемы были, но при таких чрезвычайных случаях чтоб губернаторы надежным людям поручали в тех местах разведывать, какое владение помещиками над теми крестьянами было, и, соображая оное с тем генеральным примерным положением, равным образом и со обыкновенною впрочем от помещиков подлежащую подданным своим строгостию, если найдется, что которые помещики какою неумеренностию из тех пределов выходят, то таковых чтоб призывая в губернские кацелярии, им об'являли, дабы они впредь отнюдь не выступали из тех положений с подтверждением, если в том от их подданных жалоба придет до правительства, то деревни их, яко от недостойных помещичья владения, взяты будут под коронное управление, а потом чтооы губернаторы за таковыми неумеренными помещиками особое в том надзирательство употребляли, о невоздержных же представляли Сенату. Помещики от крестьян более не требовали бы как работы на себя в неделю 4 дней, и не взыскивали более сутки работы как вспахания земли доброй одной десятины, или накошения сена трех копен, или же

нарубления дров 1½ сажени однополенных, а с оброчных собирали не более двух рублей».

Несмотря на оговорку о негласности части реформы, требования Панина характерны, они сводятся к следующему: запрещение продажи людей в одиночку и в рекруты, ограничение крепостных повинностей, причем нужно сказать, что нормы, предлагаемые Паниным, не слишком низки («Живописец» в 1772 г. рекомендовал своим читателям пример Г. Г. Орлова, берущего со своих крестьян оброка по полтора рубля с души; ч. I, стр. 119); далее — введение в практику опеки над помещиками, злоупотребляющими крепостным правом; наконец, Панин считает несомненным право крестьян жаловаться на помещиков, дающее им гражданские права.

При этом Панин считает необходимым распространить эту реформу на все государство, явно выходя за пределы вопроса о побегах из западных губерний и ставя вопрос о крепостничестве вообще.

Нельзя не заметить, что его идея о чиновниках, негласно «разведывающих» о жестокостях помещиков, впоследствии была проповедуема Фонвизиным в «Недоросле» (Правдин), так же как мысль об опеке, дебатировавшаяся и в Комиссии нового уложения (развязка «Недоросля»).

Проект крестьянской реформы, разработанный П. Паниным, остался без последствий. По вопросу об административном произволе П. Панин говорит менее конкретные вещи; он надеется, что «при нынешнем монаршеском старании» лихоимство, нерадение чиновников и неправильный выбор их «скоро пресечены будут. К тому ж только присокупить нахожу, что мнится за наиболее полезное, когда избраны будут в пограничные градоначальства персоны не только особливых к тому способностей, но и хорошего к европейским обычаям воспитания». Последняя черта характерна для Панина с его идеями европейски-культурной аристократии.

4

Первые поражения не могли еще лишить Паниных надежд на успех их дела. Они все еще были у власти, их партия все еще была в положении полуправительствующей партии. Сами Панины сидели в ответственных комиссиях, Петр Иванович был одним из главных людей в армии так же, как человек близкий его кругу по мировоззрению Румянцов. Внешней политикой руководил единолично Никита Панин, и он же вообще играл решающую роль в правительстве. Большую роль играл и единомышленник Паниных Репнин, в частности руководивший в значительной мере польскими делами, имевшими в это время первостепенное значение для всей политики власти. Ни одно сколько-нибудь

важное государственное дело не решалось помимо Паниных. Еще в 1767 году оба брата получили графский титул. Это был апогей их успехов. Потом началось падение.

Между тем, с первых же дней царствования Екатерины вслед за Паниным и вместе с ними заявили свои права на продвижение и их единомышленники-литераторы. Они, державшие в руках пропаганду партии, ее идеологи и поэты, составлявшие, может быть, основные ее силы, должны были также участвовать и в штурме власти и в захвате части ее. Полугласной оппозиции не было больше места, надо было действовать и реализовать победу. Им были открыты пути карьеры; для них были готовы места, чины — все возможности.

Глава литературной группы Сумароков, конечно, оказался среди людей, поднятых волной переворота. Он близок ко двору, к императрице. Он — один из друзей Никиты Панина, стоящих рядом с ним. Панины находят в нем отныне усердного пропагандиста своей деятельности, прославляющего их как вождей и героев.

Литературные демонстрации Сумарокова в пользу опальной Екатерины 1759 года не были забыты. Он должен был стать официальным поэтом нового царствования, как Ломоносов был поэтом двора Елизаветы Петровны. Он мог быть доволен: его желания были близки к исполнению. Дебатировались кардинальные проблемы социально-политического строя государства, подьячие были посрамлены, Екатерина открыто заявляла свое презрение к откупам, и откупщикам пришел конец, не надолго. Правительство не скрывало своего отношения к Сумарокову как к поэту новой власти.

Тотчас после переворота, еще в 1762 году, канцелярия Академии Наук обратилась к ее же президенту К. Г. Разумовскому с просьбой аннулировать накопившийся на Сумарокове с 1748 г. долг Академии в 402 р. 80 коп. за напечатание его произведений, или — «когда ж собою его сиятельству учинить (сие) не можно, то б о том доложить ее императорскому величеству». Разумовский доложил дело Екатерине; в результате он своеручно надписал на академической бумаге: «Ее имп. величество соизволила всемилоостивейше указать, чтоб вышепрописанных денег с господина Сумарокова не взыскивать и вовсе оные ему уступить с таким высочайшим повелением, что ежели и впредь от него, Сумарокова, его сочинения в Академию в печать представлены будут, то оные печатать безденежно, а вести порядочный счет и требовать заплаты с Кабинета» (В. Семенников. Материалы, стр. 93). Итак, все произведения Сумарокова должны были печататься на счет двора; в той же Академии, которая делала раньше, при Елизавете, Сумарокову не мало неприятностей, где его третировали и ставили его работу

в трудные условия, теперь он будет издавать свои вещи как человек, поддерживаемый императрицей, будет относиться к Академии как власть имущий.

В первом же своем доношении в Академию, написанном после переворота (еще до приказа Екатерины, приведенного выше) по поводу напечатания «Притчей» Сумароков не упустил подчеркнуть свои связи с двором (нужно заметить, что вообще эти его доношения более походят на ордера-приказы): «Желаю я в Академической Типографии напечатать первую книгу Притчей моих для поднесения при дворе и для удовольствия публики, а ради скоромоего в Москву отъезда, покорно прошу о поспешении печатания» (ор. cit., 94). В Москву Сумароков собирался вместе с двором на коронацию, и едва ли не потому упомянул здесь об этом.

Еще в 1768 г. Сумароков выставлял напоказ свою близость как писателя к правительству, к императрице. Директору Академии Наук В. Г. Орлову он писал (8 сент. 1768 г.): «После 22: Сент: будет представлена Трагедия и Комедия новые. Комедию я нижайше прошу ваш: сият: приказать напечатать: а рецензии кажется больше никакой ненадобно ибо она была уже рассмотрена у высочайшей особы и по отметкам отставлено, что было благоволено к отмене. И сия Комедия чрез Г. В. Козицкого ее величеству паки подана от меня, и отдана уже ради выучения на театр» (там же, стр. 96).

По всякому хоть сколько-нибудь серьезному поводу Сумароков обращался с письмами к Екатерине, причем письма эти вовсе не имеют характера официальных прошений; они написаны довольно свободно, в тоне частного письма: Сумароков острит, шутит, пишет о деле и просит без унижения. Это уже не поэт в передней елизаветинских времен, которым может помыкать любой вельможа; это — человек, сам чувствующий себя хозяином положения, дружки разговоривающий с императрицей.

Сумароков был награжден и официально; в день коронации Екатерины он был произведен в действительные статские советники. Позднее, в 1767 г., он получил аннинскую звезду. Вообще его положение в официальном мире было при Екатерине примечательно. Он получил повышение по чину, орден, получал жалованье, но нигде не служил; он не был и в отставке. Его должность, видимо, состояла в сочинении трагедий, комедий, речей, басен и т. д. и т. д. Он был штатным литератором, но ни в малой мере не придворным штатным поэтом; он мог жить вовсе не в Петербурге, не участвовать в придворных ритуалах; он писал вовсе не только для двора, не для двора в первую очередь. Он писал для благородного российского дворянства и брал плату за

это от дворянского правительства. Он имел чины и деньги в качестве лидера аристократической партии, в качестве общественного работника на поприще культуры. Он занимал, с другой стороны, положение, сходное с положением академиков или профессоров; он обязан был учить народ (т. е. дворянство), воспитывать его, а правительство платило ему за это.

С самого момента переворота Сумароков стал ревностно исполнять свои обязанности рупора партии, думавшей, что она побеждает. Одна за другой следовали его торжественные оды, прославляющие переворот.

В первой оде, на день восшествия на престол Екатерины II, написанной немедленно после самого события (8 июля 1762 г. она была уже напечатана. См. Семенников. Материалы, стр. 108), всячески осуждается царствование Петра III и воспевается «революция» 28 июня:

Погибла горесть и унылость
И твой, Россия, прежний страх;
Порфирой облеченна милость;
Твой стон рассеян яко прах,
Низвергла ты несносно бремя,
Скончалось то злое время,
В которое страдала ты.

Грозящий нам на многи лета
Исчез нестройный бурный ветр.
Проснись, проснись, Елисавета,
Проснись, проснись, Великий Петр,
Был пущен всеми глас странами,
И зрите, что творится с нами,
Куда нас лютый рок ведет.
Сему нещастью нет примера;
Падет премудрость, честь и вера,
Со славою престол падет.

И се всеильною рукою
Господь Россию удержал,
Когда к рушению покою,
Уже престол ее дрожал...

Затем описывается самый переворот, затем поэт возвещает отечеству всяческие благополучия.

Картина гражданского благополучия нарисована сначала довольно общими чертами:

Ты будешь, правда, изъясненна
Пред милостию завсегда,
Вдова не будет утесненна;
Убогий, сирый никогда;
Не вознесется гордость пышно,
Не будет бедных вопля слышно,
Ни видно от гоненья слез,
Не дрогнет правый пред судами,
И привлечется мзда трудами,
Астрея спустится с небес.

Но затем Сумароков позволяет себе ввести в оду указание более злободневное и ответственное:

Пиитов Гимны соплетенны
Мать Россов станут прославлять,
Ее вельможи предпочтенны
О вашей пользе представлять.

Я думаю, нельзя сомневаться в значении этих двух стихов: в них идет речь о том же, о чем говорилось и в проекте Н. И. Панина.

В конце Сумароков опять возвращается к Петру III и поносит заключенный им мир, мирные торжества и «засилье» голштинцев.

Российски лавры увядали
И отдавались врагам;
Которых Россы побеждали,
Повергли Россов к их ногам.
Мир ложный Россы проклинали,
Во время торжества сгнали,
На небо с плачем вопия..
Сияли огненные свету;
Но что вешали нам огни?
Да здравствуют на многи лету
Смутивши мужи ваши дни:
Да щастье Россов погубится,
Народ Российский истребитя,
И православие падет;
В об'ятии имея сына,
Да страждет с ним Екатерина,
И в век спокойства не найдет.
Какая злей сей злыя части?
О мир! о трепроклый мир!
Для наша, у нас напасти,
Еще оставлен пышный пир.
Зря пиршество сие бесславно,
Екатерина плачет явно,
И видит то весь двор и град.
Весь двор, весь град тому свидетель,
Кулика в оной добродетель,
И скольких можно ждать отрад.
Страны Российски подвергались
Иноплеменничьим странам:
Иноплеменники ругались
Во градах наших явно нам.
В себе Россия змей питала,
И ими уязвлена стала:
На то она хранила их:
Наш хлеб отселе извлекали; (!)
А Россы многие алкали
Во обиталищах своих.

Сумароков заключает оду славой Екатерине и Павлу и официальными восторгам.

Вся эта обширная ода (самая длинная из всех, написанных Сумароковым; она занимает 240 стихов) представляет собою вполне официальный документ. Это не ода, написанная подобострастным пиитом, не смеющим пускаться в политические тонкости. Сумароков авторитетным тоном разъясняет политическую ситуацию в том духе, как это надо было правительству, т. е. в первую очередь Екатерине и —

пока что — Н. И. Панину. Ода Сумарокова — комментарий к «обстоятельному манифесту», поэтическое переложение его; она адресована не монархине, а дворянству от лица группы, стоящей у власти. Это — передовая статья на тему о перевороте, составленная с точки зрения людей, осуществивших этот переворот. Недаром уже через три недели после отпечатания этой оды пришлось напечатать ее вторично (Семенников. Материалы, 108). Переворот 28 июня прославлен и в оде Сумарокова на день тезоименитства Екатерины — 24 ноября 1762 года. Здесь говорится:

И се fortuna обновляет
Спокойствие и тишину,
Златые дни восстановляет,
Зло вержет в адску глубину.
Законы тверды ныне стали,
Грабители вострепетали:
Исчезнет лихоимства труд;
В порфире правосудье блещет;
Страшна вина, не страшен суд:
Судим невинный не трепещет.

Конечно, здесь Сумароков имел в виду не только прославить указ Екатерины против лихоимства, но и намекнуть на желательность дальнейших шагов.

Ниже Сумароков говорит о другом: о борьбе с роскошью, о поражении «подьячих». Борьба с роскошью дворянства была борьбой против интенсификации помещного хозяйства, против товаризации его, против усиленного импорта предметов комфорта, тканей, вин и т. п., — в конце концов борьбой за сохранение старозаветных форм экономики. Сумароков пишет:

Нагая правда не зардится
В природной пышной красоте,
Невежество не возгордится
Во грубой, наглой простоте.
В учение народы вникнут,
Великолепствовать обыкнут.
Красою только хвальных дел...

На новый год (1763) Сумароков опять приготовил оду, и опять возвращается в ней к перевороту, когда «скончалось несносно горе». В следующей оде, на день коронации 1763 г., опять речь идет о перевороте: «Еще я зрю благополучный И радостнейший оный час; Еще тогдашний многозвучный Всего народа слышу глас. Се жители престольна града, Из челюстей свирепа ада Исторгнуты, спешат, бегут, Усердие вооружают, Екатерину окружают, Как чада матерь берегут...» и т. д. Вслед за этой одой Сумароков издал оду на день именин Екатерины — 24 ноября 1763 г., затем на новый 1764 год, затем на день ее рождения — 21 апреля 1764 г.; семь од менее, чем за два года. И еще, в оде на день коронации 1766 года Сумароков вспоминал переворот 28 июня 1762 года и Петра III — «При тучах лютыя напасти

Была взята надежда прочь, И не твоей врученных власти,
Объяла нас геенска ночь; Полцарство в трепете молчало, Дру-
гое в ужасе кричало: Прости, надежда наша в век...» и т. д.

Для коронации Екатерины II (22 сент. 1762 г.) Сумароков подготовил речь, «Слово», как тогда говорили. Политический характер «Слова» не прикрыт, как это было в одах, поэтической символикой. Сумароков обращается к главенствующим группам населения России: «Наперсники Муз, просвещайте отечество!.. Наперсники Беллоны, храните мужественно Российские границы! Судии, блюдите уставы, поражающие беззаконников и ограждающие безопасностью невинных; ибо внутренние злодеи обществу еще и внешних пагубнее! Следуй, российское дворянство, богине своей, предшествующей тебе ко храму премудрости! Суетно звучит имя благородства, не имея благородных качеств: без достоинства не великое украшение человеку благородное одеяние, а благородное имя еще меньше. Способствуй, российское купечество, изобилию и обогащению сея Империи, и обогащайся не отягощением, но облегчением сынов российских, и заслуживай себе почтение не получением чинов, но услугою отечеству!» Сатира и мораль — смысл этих слов о купечестве; Сумароков обвиняет капитал, купечество в отягощении народа и протестует против пролезания купцов в чины, в дворянство. Тем самым он дает как бы наставление правительству, как ему вести себя относительно купцов.

Сумароков обращается к Екатерине, и ей также дает советы: «Утверждай, государыня, правосудие на престоле российском, ко безопасности нашей и для способности нам быти здоровыми и полезными членами твоего и нашего отечества...»

Далее Сумароков подробно развивает мысль о необходимости суровых, безжалостных кар «беззаконникам», о пагубности жалости по отношению к ним. «Злодеи ни малейшего помилования не достойны». Эту мысль Сумароков считал, видимо, необходимым подчеркивать именно в это время. В оде на день коронавания Екатерины 1763 года Сумароков также настаивал, что «...беззаконным казни Потребны, сколько и приязни Прямым отечества сынам» и ниже: «Страны российски велегласно К Екатерине вопиют: Повергни зло во злую муку, Простри на беззаконных руку, Которы нашу кровь пият! Введи злодеев ты в унылость... Императрица отвечает: Кого неправда обольщает, Постраждет оный восстения; Во мне ко правде милосердо, Против неправды сердце твердо, И суд бесстрастен у меня».

Ясно, что Сумароков требует кары и мести врагам, и именно «внутренним злодеям», которые «обществу еще и

внешних пагубняе». Он требует от правительства искоренения неправд, царящих в стране, причем требует искоренения их крутыми мерами. Он за террор, за классовую свирепость, облеченную в одежды отвлеченнейшего беспристрастия. В конце-концов, он, идеолог группы либеральной аристократии, требует от власти уничтожения всех врагов отечества — с точки зрения этой группы, — иначе говоря, всех врагов этой группы. Сумароков хочет углубления победы своей партии; он хочет насильственного подавления ее противников и истступленно призывает громы и молнии власти на их головы.

Призывы Сумарокова остались втуне; при Екатерине II масса дворянской мелкоты и дворянского середняка так же, как созданная ими вновь бюрократия и образовавшаяся вновь кучка придворных магнатов, продолжали грабить страну, лихоимствовать, подхалимствовать, с одной стороны, и тиранствовать с другой. Более того, они делали все это еще разнузданней, чем раньше, потому что в итоге победили они, а не Сумароков, обольщавший себя надеждами в 1762 или 1763 году.

Далее Сумароков осторожно намекает на мысль о введении самодержавной власти в рамки законности.

«Самодержавию никто кроме истины закона предписать не может; но колико мы подчинены самодержцам, только они подчинены истине; а потому что на все многочисленные или паче бесчисленные обстоятельства законов уставить никак нельзя, так нет лутче самодержавного правления, когда самодержец премудр и праведен. И такое тончайшее его рассмотрение, по праведному его благоволению, может увеличивать и уменьшать установленные наказания». Все это место достаточно темно и двусмысленно (едва ли не намеренно); видимо, смысл его в том, что монарх должен действовать по законам; в случаях, не предусмотренных законами, он решает сам; в остальных, он — исполнитель, который может лишь в известных пределах вариировать действие закона.

Большую часть своей речи Сумароков уделяет вопросам правосудия. Он смело и сильно говорит о разложении судебного аппарата (а ведь в это время он был одновременно и вообще административным аппаратом), о путанице в законодательстве, которой пользуются судьи. Он заключает: «Нежество есть источник неправды: бездельство полагает основание храма его: безумство созидает оный: непросвещенная сила, а иногда и смешившаяся со пристрастием, укрепляет оный. Разруши, государыня, разруши стены храма сего, повергни столпы его и разори основание! Созижди великолепный храм ненарушаемого правосудия; но прежде того повели собирати потребные ко зданию вещи и основати

училища готовящимся исправить и наблюдать предпринятые премудрости твоєю законы!»

Сумароков требует нового законодательства. Он требует далее, чтобы составители будущих законов научились «изображати дела ясно, мыслить обстоятельно и порядочно; дабы знало общество, что написано», потому что неясность законов приводит к неисполнению и извращению их на практике. Из-за нее «иногда грешат и честные в судиях люди, подьячие надеждно грабят, невинные страждут, а бездельники торжествуют. В мутной воде рыбу ловить удобнее. Многие думают, что к написанию законов не много нам (! Гр. Г.) потребно времени: а я думаю, что к тому весьма долгое потребно время, а особливо ради того, что науки и прямая грамота у нас еще в самом начале, ежели начались; но чтобы век наш премудрости Великия Екатерины соответствовал, я как сын и член отечества, не того по раскудку моему желаю, чтобы древние законы испровержены, а новые установлены были; но чтобы они при случаях исправляемы были». Эта смягчающая оговорка не может, однако, отменить мысли всей речи. Сумароков продолжает: «На что нет закона или не обстоятелен закон или не ясен: на то бы закон сочинился, исправился или изменился. Подался случай к решению дела, и ежели нет обиженному по закону совершенного удовольствия, да удовольствуется обиженный и да исправится закон».

Кто же должен проводить всю эту законодательную работу? В конце своей речи Сумароков говорит: «Едина статья узаконений стоит иногда, и очень часто многих разумов и многих размышлений (следовательно — по Сумарокову — законодательствовать должны многие разумы, а не только самодержец без всякого рядом с ним стоящего института. Гр. Г.) ... Участные законов исправления в несколько лет соберут ко совершенному уложению довольно вещества: а инако по моему мнению законной книги нам имети еще неудобно».

Итак, Сумароков предложил Екатерине план законодательных работ, план осторожный, смягченный, ставящий вопрос лишь о постепенной и исподволь подготовленной смене старых законов и созидании новой законодательной системы.

И, тем не менее, «Слово» Сумарокова не было напечатано (оно увидело свет лишь в Полн. собр. соч. Сумарокова в 1781 г., во II томе). Слишком смело, может быть, даже дерзко было уже и то, что Сумароков учил императрицу, указывал ей программу действий, слишком явно претендовал на право руководить властью в качестве лидера правящей партии. Этого Екатерина, очевидно, допустить не могла.

Невозможность напечатать «Слово на коронацию» была, без сомнения, для Сумарокова первым указанием, что императрица не считает себя подчиненной панинской партии.

Сохранилась легенда, по всей видимости, не соответствующая действительности, но, тем не менее, характерная для того воспоминания, которое осталось у многих от первых дней царствования Екатерины, от дней панинской победы, дней дворянского либерализма. Митрополит Евгений говорит, что в начале 1763 г., когда двор находился в Москве, «во время данного от двора народу публичного на сырной неделе маскарада... на три дни во всех московских типографиях позволена была свобода печатания» (Словарь рус. светских писателей, 1845, I, 80).

И вот, Сумароков якобы именно и воспользовался этой свободой для напечатания каких-то соображений об издании Свода законов (видимо, имеется в виду «Слово на коронацию») и об учреждении Государственного совета (см. Рус. биогр. словарь. Суворов-Ткачев, Пб., 1912, стр. 156). Факты здесь явно перепутаны. Но не случайно, конечно, имя Сумарокова связывается с проектом Панина и его «Слово на коронацию» окружается обаянием продукта «вольной печати».

Нет никакого сомнения в том, что Сумароков в первое время царствования Екатерины энергично вмешивался в политику, и с ним приходилось на первых порах считаться. Еще в 1767 году ему был дан для прочтения и отзыва Наказ, что доказывает его роль как полуофициального советчика правительства. Заметки Екатерины на мнение Сумарокова о Наказе выдают ее раздражение этой ролью ментора, взятой на себя Сумароковым: «Господин Сумароков хороший поэт, но слишком скоро думает. Чтоб быть хорошим законодателем, он связи довольной в мыслях не имеет».

Вскоре после переворота Сумароков жаловался, что его «обошли, а именно человек с триста...» Видимо, он ставил себя в ряд тех, которые получили «награды» за переворот, т. е. считал себя одним из деятелей переворота, политическим деятелем партии, давшей власть Екатерине. Далее он писал: «Я же и кроме поэзии, может быть, некоторые достоинства имею и мог бы пером моим, кроме стихов, много принести пользы, а особливо по рефлексиям на Россию». Это официальное заявление было выражением открытой претензии участвовать в государственной деятельности правительства, в частности, в работах по реформам, предположенным панинской партией.

5

В начале 1763 года в Москве, где в это время находились после коронации двор и правительство, было устроено грандиозное по тем временам народное театрализованное

зрелище, имевшее целью агитировать за новую императрицу и иллюстрировать политические установки, прокламируемые ею. Устройство этого народного зрелища в его литературной части было поручено сумароковцам, т. е. литературному штабу панинской партии.

Вообще говоря, сумароковцам была в это время отдана агитационная часть правительственной работы. Когда Екатерина с двором приехала в Москву для коронации, была организована торжественная встреча с триумфальными арками, иллюминациями и т. д. Эти произведения особого комбинированного искусства придворных празднеств, имевшие вообще, — а особенно в данных обстоятельствах, — существенное идейно-политическое назначение, в основном были созданы по поручению специальных правительственных органов именно сумароковцами.

Народное зрелище в Москве в начале 1763 г. называлось большим маскарадом «Торжествующая Минерва». Оно должно было завершить все коронационные празднества и вообще торжества по поводу приезда в Москву новой императрицы.

План театрализованного шествия по улицам города принадлежал Ф. Г. Волкову, другу и отчасти ученику Сумарокова; он же был и режиссером всего зрелища. Тексты хоров, исполнявшихся участниками театрализации были написаны Сумароковым. Стихотворное описание — истолкование зрелища — написал Херасков.

Маскарад должен был представить народу в лицах и образах те общественные пороки, против которых намерено было, — таков был смысл декларации, — вооружиться правительством. Заканчивалось шествие картиной золотого века, т. е. царствования Екатерины в маскараде Минервы.

В январе 1763 г. был напечатан при университете листок-афишка о маскараде; здесь говорилось:

«Сего месяца 30 и Февраля 1 и 2 то есть, в четверток, субботу и воскресенье по улицам большей Немецкой, по обоим Басманным, по Мясницкой и Покровке от 10 часов утра за полдни, будет ездить большей Маскарад, названной Торжествующая Минерва, в котором из'явится гн у с н о с т ь пороков и слава добродетели. По возвращении оного к горам, начнут кататься и на сделанном на то театре представят народу разные игрища, пляски, комедии кукольные, гokus покус и разные телодвижения, станут доставать деньги своим проворством; охотники бегаться на лошадях, и прочее; кто оное видеть желает, могут туда собираться и кататься с гор во всю неделю маслиницы, с утра и до ночи в маске или без маски, кто как похочет всякого звания люди».

Нужно сказать, что само шествие «Торжествующая Минерва» было, без сомнения, непонятно «народу», т. к. оно

было основано на аллегориях и мифологических образах. Шествие было растолковано в специальной брошюре, изданной Московским университетом: «Торжествующая Минерва, общенародное зрелище, представленное большим маскарадом в Москве 1763 года генваря—дня». Брошюра начинается обширными «Стихами к большому маскараду» Хераскова, затем идет «Описание большого маскарада», собственно говоря, подробная программа его (в конце этого отдела помечено: «Изобретение и распоряжение маскарада Ф. Волкова»); наконец—хоры Сумарокова (подпись такова: «Только одни хоральные песни в сем маскараде сочинения***»).

Первый раздел маскарадного шествия (после «Провозвестника маскарада с своею свитою») назывался «Момус или пересмешник». Перед каждым разделом фигурировал его «знак» и «надпись»; на знаке Момуса — куклы и колокольчики; надпись его: «упражнение малоумных». Далее шли хоры, кукольные театры, «12 человек на деревянных конях с гремушками. Флейтчики и барабанчики в кольчугах. Родоманд, за бияка, храброй дурак верьхом, за коим следует паж, под держивая его ко су. Служители Панталоновы одеты в комическое платье, и Панталон пустохваст в портшезе, которой несут 4 человека», — затем педанты, затем: «Два человека ведут быка с приделанными на груди рогами, на нем сидящий человек имеет на грудях оконницу и держит модель кругом вертящегося дома»... К этому месту в описании — примечание: «Мом, видя человека, смеялся, для чего боги не сделали ему на грудях окна, сквозь которое бы в его сердце смотреть было можно, быку смеялся, для чего не поставили ему на грудях рогов, и тем лишили его большей силы, а над домом смеялся, для чего не можно его, естли у кого худой сосед, поворотить на другую сторону». Наконец, появлялся «Момус с его свитою». Трудно утверждать с уверенностью, что этот первый раздел шествия имел полуприкрытый политический смысл, но кажется, что весь аппарат образов итальянской комедии должен был быть маской для сатиры на убитого Петра III, — дурака, хвастуна, вояку на словах; в этом смысле характерна опромная коса «Родоманда» (прусская коса), характерна и пародия на разные проекты, поданные в виде нелепых бредней, и игрушки, м. б., намекающие на невышедшего из детства Петра (ср. соединение воинственных мотивов с ребячеством и идиотизмом в образах людей на деревянных конях с гремушками и музыкантов в кольчугах). На портрет Петра III похоже и описание первого отдела маскарада у Хераскова:

Как ветром у иных вертит мозги буянство,
Безумство, кукольство, дурачество и пьянство,
И только вообразить яснее их дела;
В какую слепоту их слабость завела!

Иной под умною одеждой глупость кроет,
Иной на воздухе войны и замки строит:
Тот мыслит о вещах ребячьих, мозг вертя,
И резвится еще с гремушкой — как дитя.

Второй отдел маскарада — «Бахус» был посвящен осмеянию пьянства. Но и здесь не обошлось без политики: в числе групп, составлявших этот отдел, была и такая: «Пьяницы тащат откупщика, сидящего на бочке, корчемники прикованы к его бочке...». И у Сумарокова пьяницы пели: «Всяк час возвращаем кабацкой мы сбор...».

Далее шло краткое отделение «Несогласие», потом тоже краткое — «Обман», здесь фигурируют «Колдуны и колдуньи несколько дьяволов» и потом «Обман, при коем прожектеры». Первое — это выпад против суеверия, характерный для умеренного вольнодумства сумароковцев, второе — явный выпад против дельцов конца елизаветинского царствования и Петра III (в частности, может быть, против П. Шувалова), представлявших немало проектов и проводивших их в жизнь в своих личных интересах (напр., известные финансовые операции П. Шувалова, его гаубицы, и др.).

В описании Хераскова сказано об отделении «Обман»:

Противны слабости такие естеству,
Коль силу отдают над сердцем колдовству,
Которое одна лишь глупая химера;
Но всех обманов злей обманы прожектера.
Он пользы общества стремится описать,
Чтоб новой выдумкой барыш какой сосать.
И ежели его не упреждать обманов,
Так будет зляе он колдовок и цыганов.

Сумароков же в «Хоре к обману» писал, характерно связывая тему о прожектерах-дельцах с темой подьячих:

К ябеде приказной устремлен догадкой,
Правду гонит люто крючкотворец гадкой...
...Откупщик, усердной на Руси народу,
В прибыль государству откупает воду...

Известно, что и сам П. Шувалов и другие дельцы, окружавшие его, в конце царствования Елизаветы раздули монопольную систему и захватили откупа в свои руки.

Следующее отделение маскарада — «Невежество», затем — «Мздоимство»; понятно, что составители маскарада постарались развить излюбленную сумароковскую тему — борьбу с подьячими. Сам Сумароков дал в «Хоре ко мздоимству» своего рода формулу проклятия всей бюрократии сверху донизу:

Естьли староста бездельник, так и земской плут,
И совсем они забыли, что ременной жгут.
Взятки в жизни красота,
Слаще меда и сота:

Так то крючкотворец мелит,
 Как на взятки крючком целит:
 Так то староста богатой,
 Сельской насыщаясь платой:
 Так их весь содом.
 Крючкотворцова жена,
 Такова же сатана:
 А от едакой наседки,
 Таковые ж и детки.
 С сими тварьми одинаки
 Батраки их и собаки:
 Весь таков их дом.

Следующее отделение — «Превратной свет» едва ли не наиболее ответственное в политическом смысле. Волковская программа его довольно невразумительна; вот она:

З н а к

Летающие четвероногие звери, и вниз обращенное человеческое лицо.

Н а д п и с ь

Непросвященные разумы.
 Хор в развратном платье.
 Два трубача на верблюдах и литавщик на быке.
 Четверо идут задом.
 Лакеи везут открытую карету, в коей посажена лошадь.
 Вертопрахи везут карету, в коей сидит обезьяна.
 Карлицы и гиганты.
 Люлька, в коей спеленан старик, и при нем кормящий его мальчи.
 Люлька, в коей старуха играет в куклы и сосет рожок, и при ней маленькая девочка с лозою.
 Свинья с розами.
 Оркестр, где осел поет, а козел играет в скрипку; при них несколько человек, одетых развратно.
 Химера, кою рисуют четыре худых маляра и 2 рифмача, едущие на коровах.
 Бочка, в коей Диоген со свечою.
 Гераклит и Демокрит с глобусом, при коих 6 одетых в странное платье с ветренными мельницами.

Основной мотив этой программы — нелепица, несообразные отношения между людьми и действиями людей. Этот мотив и Сумароков и Херасков истолковали в социально-политическом плане, с целью высказать и всенародно декларировать некоторые политические установки своей группы, которые они имели в виду навязать и правительству. Херасков писал:

В изображении своем превратной свет
 Нам образ жития несмысленных дает,
 Которы напоясь невежества отравой,
 Не так живут, как жить велит рассудок здравой.
 Они дают вещам несвойственный им вид;
 И то для них хвала, что умным людям стыд,
 Которой например недавно был в заплатах,
 И став откупщиком, теперь живет в палатах;
 В карете сидя он не смотрит на людей,
 Сам будучи своих глупые лошадей.

Иль баба подлая, природу утая,
Нарядом госпжа, поступками свинья,
По вкусу своему амур себе находит;
А именно с ослом по светски дружбу водит.
Или какойнибудь безмозглый вертопрах,
И обезьянин вид считает в красотах... и т. д.

Основной удар здесь — против буржуазных дельцов, откупщиков, пролезания «смердов» в знать и в богатство. Здесь Херасков — аристократ, ненавидящий и презирающий своего конкурента в стране, который «недавно был в заплатах», или женщину, утаившую «природу» и сохранившую «свинские» поступки. Далее, он враг придворного кружка, враг пети-метров, т. е. придворных, не помещиков, не дворянских деятелей, а слуг деспота.

Сумароковский «Хор ко превратному свету» сам по себе почти не понятен; видно только, что автор его сильно злится на все вообще в стране и, может быть, на что-то в особенности.

Вот этот хор:

Приплыла к нам на берег собака
Из заполючного моря,
Из за холодна океяна:
Прилетел оттоль и соловейка.
Спрашивали гостью приезжу,
За морем какие обряды.
Гостью приезжа отвечала:
Многое хулы там достойно,
Я бы рассказати то умела,
Естьли бы сатиры петь я смела:
А теперь я пети не желаю,
Только на пороки я полагаю:
Соловей, давай и ты оброки,
Просвищи заморские пороки. Свист. П. Р. ((?) м. б .припев?)
За морем хам хам хам хам хам хам хам (2)
Хам хам хам хам за морем хам хам хам хам (2).
За морем хам хам хам хам хам хам.
Хам хам хам хам за морем хам хам хам.
За морем хам хам хам хам хам хам.

Из хора, напечатанного в таком виде в брошюре «Торжествующая Минерва», можно понять только, что о заморских порядках могли рассказать и собака и соловей (конечно, сам Сумароков), что собака находит заграничные порядки плохими, а соловей, может быть, держится иной точки зрения, что сатира запрещена, что соловья заставляют бранить заморские порядки, но он вместо этого дает только свист и припев, сам по себе довольно примечательный, заменяющий недопустимый по цензурным условиям рассказ.

Ключ к пониманию этого «Хора ко превратному свету» дает «Другой хор ко превратному свету», напечатанный впервые Новиковым после смерти Сумарокова (Полн. собр. соч., 1781, т. VIII).

Это замечательное произведение, заключающее своего рода политическое кредо Сумарокова и всей окружавшей

его «партии», без сомнения, и было первой редакцией хора, подготовленного для маскарада. Сумароков решился, видимо, изложить публично, всенародно, ряд политических мнений своей группы, причем включение хора в маскарад придало бы такому изложению характер правительственной декларации. Он захотел навязать торжествующей Екатерине-Минерве свои взгляды. Очевидно, она не согласилась на это.

Сумароков еще раз потерпел неудачу. Официальность его позиции опять оказывалась полуфиктивной. Ему разрешалось пропагандировать и прославлять переворот, планы экспансии и колониальной политики, но его попытки вмешаться во внутреннюю политику пресекались. Сумароковский «Хор» не смог быть включен в маскарад, и тогда-то, без сомнения, Сумароков написал тот «Хор» который напечатан в брошюре и в котором он выразил свое раздражение по поводу запрещения настоящего «Хора». Второй «Хор» — только лишь ответ на невозможность опубликовать первый, причем ответ довольно дерзкий.

Настоящий же «Хор ко превратному свету» — это большое стихотворение, заключающее утопию, описание идеальных порядков «за морем»; эта утопия в то же время является и сатирой на российскую современность.

Сумароков начинает:

Прилетела на берег синица
Из за полночнова моря,
Из за холодна океяна:
Спрашивали гостейку приезжу,
За морем какие обряды.
Гостья приезжа отвечала:
Все там превратно на свете.
За морем Сократы добронравны,
Каковых и здесь мы выдаем,
Никогда не суеверят,
Не ханжат, не лицемерят.

Итак, первый выпад — против духовества («Сократы» — иронически), против «суеверия», ханжества и т. д. Сумароков — вольнодумец и враг церковного засилья.

Далее достается бюрократии, начиная с высшей и до низших подьячих.

Воеводы за морем правдивы;
Дьяк там цуками не ездит,
Дьячихи алмазов не носят,
Дьячата гостинцов не просят;
За нос там судей писцы не водят,
Сахар подьячий покупает.¹
За морем подьячие честны;
За морем писать они умеют...

¹ Т. е. не получает в виде взятки.

Затем идут враги Сумарокова и его группы, дельцы-подрядчики и откупщики:

За морем в подрядах не крадут;
Откупы за морем не в моде,
Чтоб не стонало государство...

И ниже о ростовщиках и т. п.:

За морем противно указу
Росту заказного не емлют.

и опять:

За морем пошлины не крадут...
Ябеды за морем не знают,
Лутче там достоинство наука,
Лутче приказнова крюка.
Хитрости свободны там почтенней,
Нежели дьячьи закрепы,
Нежели выписки и справки,
Нежели невнятные эксграты.
Там купец, а не обманщик.

Не мало внимания уделяет Сумароков и дворянству, причем и здесь он не менее резок; прежде всего он формулирует основы программы панинской партии по крестьянскому вопросу: ограничение права эксплуатации и мучительства крестьян, отказ от рабства (напр., от продажи людей поодиночке и т. д.) во имя феодального вассалитета:

Со крестьян там кожи не сдирают,
Деревень на карты там не ставят;
За морем людьми не торгуют.

Ср., напр., с вторым из приведенных стихов басню Сумарокова «Ось и бык», помещенную (без названия) в 1769 г. в журнале Екатерины «Всякая Всячина» (стр. 34), в которой говорится о «нежном господчике», «который держит худо щот: По русски мот» — и о «крестьянине прилежном»: «Страдает от долгов обремененный мот: А етова не вспомянет, Что пахарь изливая пот, Трудится и тягло ему на карты тянет» или в «Сатире о благородстве» (в сборн. сатир 1774 г.) о дворянине, который «.. благородие свое нередко славит, Что целый полк людей на карту он поставит».

Стих «за морем людьми не торгуют» вовсе не говорит об антикрепостнических идеях Сумарокова вообще; ср. в записке П. И. Панина по крестьянскому вопросу проект «запретить варварский обычай продавать помещикам своих крестьян в рекруты за чужие деревни для ненасытной роскоши; продавать крестьян целыми семьями»; (ср. и в «Завещании» Н. И. Панина, писанном Фонвизиным, о государстве «где люди составляют особенность людей, где человек одного состояния имеет право быть вместе истцом и судьей над человеком другого состояния, где каждый следственно может быть завсегда или тиран или жертва»... и т. д.).

Ср. также в замечаниях Сумарокова на «Наказ», в которых Сумароков, решительно отстаивая крепостничество, тем не менее говорит: «продавать людей как скотину не должно». Сумароков касается в «Хоре ко превратному свету» и внутриворонских отношений; он — против придворной «знати»-чиновников, он за культуру дворянства:

Пред больших бояр лампад не ставят (за морем. Гр. Г.)
Все дворянски дети тамо в школах:
Их отцы и сами учились;
Учатся за морем и девки:
За морем тово не болтают:
Девушке де разума не нада,
Надобно ей личико да юбка,
Надобны румяны да белилы...
Гордости за морем не терпят,
Лести за морем не слышно,
Подлости за морем не видно.
Ложь там велико беззаконье.
За морем нет тунеядцов,
Все люди за морем трудятся,
Все там отечеству служат;
Лутче работающий там крестьянин,
Нежель господин тунеядец.

Так Сумароков отвечает на указ о вольности дворянства; он и в других местах промит дворян-бездельников. Сумароковцы хотели истолковать указ 1762 года как указ о расширении дворянской службы. Кстати заметить здесь, что дворяне их склада и достатка и не были очень заинтересованы в свободе от службы. Благодаря связям (и состоятельности) они были избавлены от тягот службы, от солдатчины (учебными заведениями и записью с детства на службу); они служили там, где хотели, и, конечно, продолжали служить и после 1762 года, т. к. стремились к политике, к власти. У них не было большой тяги в деревню навсегда, т. к. экономика их поместий не толкала их лично наблюдать за процессом эксплуатации крестьянина, как это было у помещицкой мелкоты, да и не давала им возможности делать это. С другой стороны, система отпусков удовлетворяла их потребность во времени (иногда, впрочем, в длительном) пребывании в деревне. Наконец, ограничения закона об обязательной службе, касающиеся и срока и семейного положения, узаконенные до 1762 г., вообще снимали остроту вопроса о ней для особо привилегированного слоя дворянства.

Между тем, дворянская служба отечеству была одним из устоев социального мировоззрения аристократов-фрондеров.

Я не останавливаюсь на тех местах «Хора ко превратному свету», в которых идет речь о бытовых вопросах, хотя и они примечательны. Недопущение настоящего «Хора ко превратному свету» в текст маскарада «Торжествующая Минерва» сильно уменьшило остроту его политической направленности, но, конечно, не уничтожило ее.

Вслед за «Превратным светом» шло отделение «Спесь». Херасков воспользовался случаем, чтобы опять выступить против пролезания в общественные верхи богатых «смердов»-буржуа, против власти дельцов, а не аристократов:

Мужик, который став именем доволен,
Вдруг делается весь жестокой спесью болен:
Увидим действие сей подлой страсти тут,
Когда тащится он на праздник весь раздут;
И свату бедному не хочет дать дороги,
Он спесью стал козел, когда б приставить роги.
А тварей таковых смешные в свете нет,
Кто род забудет свой коль барином одет;
И стыдно уж ему с своей роднею знаться.
Но должно не сердясь, глупцам таким смеяться.

Следующее отделение маскарада — «Мотовство и бедность с их свитами»; основная тема в нем — картежная игра, добавочная тема — «Колесница развращенной Венеры». На этом кончаются «пороки»; маскарад переходит к прославлению «золотого века» царствования Екатерины.

Еще перед златым веком фигурируют кузнецы, а за ними Вулкан с циклопами «готовит пром», — видимо, против врагов внутренних; затем появляется «колесница Юпитерова» и наступает «золотой век» — пастухи, пастушки, «хор отроков, поющих с оливными ветвями» (намек на мир, подтвержденный Екатериной и отказ от войны с Данией), «24 часа золотых. Для золотого времени колесница, в коей Астрея». Потом целый отдел «Парнасс и Мир»: «Хор Стихотворцев. Парнасс с Музами и колесница для Аполлона, Земледельцов с их орудиями, Мир во облаках, пожигающий военные орудия».

Потом отдел «Минерва и добродетель, с их последователями»: «Трубачи и литавщики. Наука и художества. Колесница добродетели, при коей старики, венчаные лаврами в белом платье. Герои верьхами. Законодавцы философы. (В XVIII веке философами весьма часто называли именно писателей-просветителей — «вольнодумцев» и либеральных мыслителей. Гр. Г.). Хор отроков в белом платье с зелеными ветвями и на головах венцами. Колесница, в коей торжествующая Минерва, в верху оных виктория и слава. Хор музыки. Гора Дияннина» Стихи Сумарокова и Хераскова к последней части маскарада — обычное одическое прославление Екатерины.

Маскарад «Торжествующая Минерва» оказался лишь неполным успехом Сумарокова и его группы. С одной стороны, они выступали как бы от лица правительства и проводили свои идеи во всенародном зрелище, бывшем демонстрацией правительственной программы; с другой стороны, наиболее прямую, сильную и политически заостренную часть текста, приготовленную самим Сумароковым, пришлось убрать, без сомнения, по требованию «высшей власти».

Сумарокова одергивали каждый раз, как только он хотел слишком явно выступить от лица правительства с заявлениями в духе панинских проектов. Получалось так, что и в литературной пропаганде победа партии Паниных и Сумарокова была урезана с самого начала.

В дальнейшем неприятности по этой линии не прекращались у Сумарокова. Он продолжал попытки самостоятельных выступлений и наталкивался на противодействие. В 1764 г. внешнеполитические операции русского правительства, руководимые Никитой Паниным и поощряемые Екатериной, привели к тому, что польским королем был «избран» ставленник русского двора Станислав Понятовский. Сумароков написал по этому поводу «оду королю польскому Станиславу Августу, новоизбранному Пиясту». Ода была напечатана в количестве 300 экз. и тираж выдан на руки Сумарокову (в сентябре 1764 г.).

Вслед за этим ода была «по особливому от двора ее императорского величества повелению уничтожена» (В. П. Семенников. Материалы, стр. 109). Текст оды до нас не дошел. Но ясно, что Сумароков опять позволил себе и в этой оде высказывания, которые не хотела допустить Екатерина, тем более, что ода вообще была жанром по преимуществу политической поэзии, а оды Сумарокова в это время имели характер официальный.

Иначе говоря, с тех пор как Сумароков стал официальным, правительственным поэтом, ему стало труднее печататься и высказываться, чем тогда, когда он был в оппозиции. «Вольнолюбивая» Екатерина оказалась менее склонной на цензурные послабления, чем «деспот» — Елизавета.

Наконец, в следующем году (1765, апрель) опять Сумароков натолкнулся на жесткий надзор власти. Он напечатал отдельной листовкой басню «Два повара». Это был памфлет против определенных лиц, против вельмож или ведьможи. Первая часть его прямо метила, видимо, в князя Якова Петровича Шаховского, известного автора мемуаров и крупного политического дельца. Сумароков начинает:

Виргилий, Цицерон,
Бургавен, Ейлер, Лок, Картезий, и Невтон,
Апелл и Пракситель, Мецен, и Сципион:
О преоблаженная божественная мода!

Зайди когда в приказ;
Где столько как у нас,
Бумаги в день испишут?

А то, что грамота, писцы едва и слышат.
Кто с рода никогда солдатом не бывал,
С Невы до Одера стреляя доставал.
Сапожник Медик был, дая цельбы пустые,
Муж некто знаменит

Молчанием одним попался во святые:
О дни златые!
Но скоро все сие Минерва пременит,
Которая Россией обладает;
От коей мрачный ум сиянья ожидает...

Кн. Я. П. Шаховской во время Семилетней войны был генерал-кригс-комиссаром, причем всячески уклонялся от того, чтобы ехать на фронт. Когда главнокомандующий Фермор вызвал его в новозавоеванный Кенигсберг, он, находясь в это время в Риге, тянул с исполнением приказа, а тем временем выхлопотал себе у правительства и императрицы Елизаветы повеление возвратиться в Петербург.

Потом, получив предписание ехать к армии, Шаховский вновь стал хлопотать и устроил дело так, что остался в Петербурге. Трудно сказать, какие мотивы руководили им при этом, но современники, без сомнения, могли истолковывать его действия в неблагоприятном для него смысле. Именно это и имеет, конечно, в виду Сумароков в первых двух подчеркнутых мною строках характеристики своего героя. «Сапожник» — повидимому, намек на деятельность генерал-кригс-комиссара по снабжению армии (Шаховской, в частности, подал в 1759 г. проект о снабжении армии продовольствием и обмундированием). «Медик» — тоже намек на деятельность Шаховского во время войны. Находясь в Москве, Шаховской ведал и генеральным госпиталем, причем тут произошла целая история, доставившая ему много неприятностей; он захватил для госпитальных служащих помещения дворцовых служб. Дело об этом захвате дошло до императрицы Елизаветы и привело к опале Шаховского, но он выкрутился. В 1760 г. Шаховской был назначен генерал-прокурором на место Н. Ю. Трубецкого. При Петре III он был в отставке и отчасти в опале. После переворота 1762 г. он был возвращен ко двору и к делам. Он был связан и с Н. И. Паниным. Но он не был ни человеком панинского круга, ни человеком, подходившим для Орловых. Он был все-таки дельцом Елизаветинских времен, в основе недалеко ушедшим от государственных воззрений Трубецкого и Шуваловых. В 1766 г. Шаховской вышел в отставку уже навсегда.

Ровно за год до этого Сумароков и написал свою басню. Что именно было конкретным поводом для этой басни, сказать трудно. Во всяком случае видно, что Сумароков чем-то сильно раздражен, что он уже недоволен общим ходом вещей. Он опять настаивает на том, что «скоро все сие Минерва пременит... От коей мрачный ум сиянья ожидает». Несомненно, такого рода «пророчество», сбывавшееся на совет, на указание со стороны поэта-лидера, вовсе не устраивало Екатерину, тем более в 1765 году, когда она

значительно крепче чувствовала себя на троне, чем в первое время после переворота.

Вторая половина басни Сумарокова, к сожалению, не ясна. Непонятно даже, идет ли в нем речь попрежнему о Шаховском или о каком-либо другом правительственном дельце.

Был некой господин, сын дьячий, иль боярин,
Герольдия сама не ведает о том;
Так как же, знать и мне в России здесь о ком.
Однако дворянин, вот что известно свету.
Причина, что имел ливрею и карету;
Перед каретою всегда впряжен был цук,
А за каретою был егерь и гайдук...

Характерно во всем этом не только общее недовольство Россией, но в частности раздражение против дворян по ливрее, а не по роду (к Шаховскому это не могло относиться, но Сумароков мог позволить себе и отступление на тему, смежную с основной). Далее рассказывается, что дворянин этот назвал важных гостей к обеду; но он «кухмистра не имеет. А стряпать не умеет. Дал двух молодчиков учиться в повара, И стали в год они в поварне мастера». Повара стали варить все припасы в одном котле, «чево не слыхано поныне никогда. Что выльется за штука, сварившись оттоль, Где сахар был и соль, Каплун и Щука? На что такой вопрос? Сварился, вылился хаос!». Повара удрали от хозяйского гнева; «Бояря с'ехались и ничего не ели».

Ясно одно, что речь идет здесь о каких-то попытках правительственных мероприятий. Если отнести и эту вторую часть басни за счет Я. П. Шаховского, то, может быть, можно предположить, что Сумароков имеет в виду проект новых штатов коллегий, губернских канцелярий и др. учреждений, составление которого было поручено Шаховскому; он составлял проект почти что год; Сенат одобрил его штаты, но Екатерина не заслушала даже его доклада и утвердила другие штаты.

Нужно, однако, заметить, что Сумароков мог намекать и на какие-либо действия Шаховского по комиссии о коммерции, в которой он состоял (повара, вероятно, помощники того вельможи, о котором говорится в басне).

Так или иначе, но Екатерине, очевидно, надоело выслушивать уроки от Сумарокова. Теперь, почти через три года после вступления на престол, она, наконец, могла одернуть явно зазнавшегося поэта. Он в самом деле решил, что он может заявлять свои идеи от лица правительства, может казнить и миловать (хотя бы в стихах) государственных людей, что он власть имущий. Три цензурных запрета — «Хор ко правратному свету», «Слово» на коронацию, ода Станиславу-Августу, не образумили его; он не хочет мириться с положением чиновника от литературы, а претендует на роль идеолога правительства.

Между тем, открыто ссориться с лидером панинской партии Екатерина все еще не хотела.

Басня «Два повара» была запрещена и, повидимому, уничтожена. Мало того, Екатерина поручила А. В. Олсуфьеву сделать Сумарокову внушение за соблазнительные слова и личные намеки в этой притче. Она приписала к письму к Олсуфьеву по-французски: «Взвесьте хорошенько ваши выражения, потому что мы имеем дело с горячей головой, которая начинает терять смысл, если уже давно не потеряла его. Однако сделайте так, чтоб он поправил свои глупости или поправьте их сами». Очевидно, сумароковская голова «потеряла смысл» еще в 1762 году. Но с Сумароковым надо было обходиться осторожно — за ним была еще сила.

6

История борьбы группы сумароковцев-панинцев с правительством или, вернее, с теми слоями дворянства, которые его поддерживали, борьба за преобладание в стране различных частей единого класса помещиков определяет собою очень многое в истории русской дворянской литературы 60-х—80-х годов XVIII века. Более того, эволюция этой литературы через Карамзина и Жуковского до Боратынского и даже Пушкина едва ли может быть понята достаточно глубоко без учета предшествующей истории дворянского социального, культурного и поэтического расслоения. Историческая, художественная и классовая прародина Пушкина — это едва ли не Фонвизин и, через его голову, Сумароков.

Я не имею возможности изложить в настоящей работе историю всей этой «линии» русской литературы даже в пределах XVIII столетия. В мою задачу входило лишь поставить проблему и предложить вводные, предварительные соображения, относящиеся к этой проблеме и к самой истории литературного творчества либерального дворянства XVIII и начала XIX века. Здесь же, в заключительных страницах работы, я хотел бы наметить несколько внешних вех ближайшего развития той литературно-общественной группы, о которой в ней шла речь.

Переворот 1762 г. выдвинул на первый план литературной и даже политической жизни не только Сумарокова, но и его учеников и товарищей по поэтической школе. Все они пошли в гору, из вольных интеллигентов превратились в правительственных деятелей. Один за другим они получили чины, награды, назначения. Херасков стал директором университета, Ржевский, А. Нарышкин, Нартов и другие начали карьеру, приведшую их к весьма высоким постам и званиям. Все они близки ко двору Екатерины. Херасков организует затеянную ею серию «Переводов из Энциклопедии», опирается на нее в реформировании универ-

ситетского преподавания; другие участвуют в переводе «Велизария» и т. п. Даже молодой Богданович пригодился для журнала «Невинное упражнение»; издававшегося в 1763 г. группой придворных во главе с другом императрицы, Дашковой.

Все это были плоды победы 1762 года. Но внутриклассовые неприятели дворянского либерализма также не дремали. Фактически сумароковцы политики не делали. Им было предоставлено право говорить о ней, но и только. Екатерина усиленно демонстрировала свой интерес к «вольномыслию», к либерализму и этим стремилась подкупить помещичьих либералов; но она уже вскоре после того, как укрепилась на престоле, убедилась, что реально идти путями, указываемыми и Паниным и сумароковцами, и, с другой стороны, например Воронцовыми — это значит потерять корону и, может быть, жизнь, потому что это значит идти против дворянской массы.

Правительственное вольтерьянство оставалось только на словах. Между тем, положение фрондеров осложнилось тем, что именно в 60-х годах начала давать себя чувствовать опасность «слева». Они оказались между двух огней: с одной стороны крепостники и приверженцы «деспотии», чиновники, мелкая шляхта и новая знать; с другой стороны появившиеся в литературе разночинцы, мелкобуржуазные идеологи, настоящие вольнодумцы, подготавливавшие отрицание феодальной системы в целом. Их влиянию подчинился и кое-кто из высшей придворной знати. Д. Аничков, попывич-ученый, попытался выступить с вольнодумной диссертацией о происхождении религии (1769); шляхтич Я. Козельский пропагандировал идеи не только Руссо, но и Гельвеция в книге «Философические предложения» (1768). Богданович, видимо, совратился временно в ту же «ересь» (ср. также статьи из Гельвеция в журнале «Невинное упражнение», в издании которого Богданович соучаствовал, и др.) так же, как Д. Фонвизин (в начале 60-х гг.). Надо было бороться с «безбожниками» и ниспровергателями основ. Быстро вернувшийся в лоно своей группы, Фонвизин стремился уничтожить русских гельвецианцев в образе Иванушки в «Бригадире», комедии, направленной против диких провинциальных помещиков, порочащих звание дворянина.

«Комиссия нового уложения», открывшаяся в 1767 году, обнаружила всю остроту борьбы групп среди привилегированных классов в стране. Купечество и дворянство не могли стовориться. Обнаружилась со всей силой и вражда групп внутри дворянства. Фрондеры-либералы, отчасти спровоцированные Екатериной, выступили с требованием ограничения крепостного права. Сплошным воплем негодования встретили их представители массового дворянства, так же

как и такие консерваторы-аристократы, как например Щербатов. С другой стороны, именно сумароковцы требовали отделения родового дворянства от пожалованного. Да и вообще, требуя реформ крепостного права, они были за его сохранение и даже укрепление на новой основе. Когда перед началом работ Комиссии, Екатерина изготовила для нее Наказ, составленный в духе панинско-сумароковской идеологии, и позволила себе (в особенности в первоначальной редакции) переборщить в намеках на идею освобождения крестьян, Сумароков запротестовал и стал защищать крепостное право. Привилегии родового дворянства были святы для него и его учеников.

Комиссия уложения показала правительству, что большинство дворянства не на стороне либералов-интеллигентов. Еще в 1767 г. Екатерина допускает ряд ни к чему не обязывающих ее деклараций, в роде перевода ее кружком при ее участии запрещенной во Франции книги Мармонтеля «Велизарий», или организации под ее негласным присмотром и под редакцией Хераскова «Переводов из Энциклопедии»; но уже с этого же времени она начинает более решительно, чем раньше, собирать силы для удара против дворянских фрондеров. Желая противопоставить их гегемонии в литературе свою правительственную литературную линию и ввести критику и сатиру в желательное для нее русло, она предприняла в 1769 г. издание журнала «Всякая всячина»; не без «поощрения» Екатерины вслед за «Всякой всячиной» в том же году начал выходить целый ряд еженедельных сатирических журналов: «И то и сё» Чулкова, «Ни то ни сё» Рубана, «Смесь» Эмина, «Трутень» Новикова, затем ежемесячная «Адская почта» Эмина и др. «Всякая всячина» требовала от них беззубой, аполитичной общеформальной «улыбательной» сатиры, но сама в своих статьях занималась вовсе не только общечеловеческой моралью, а злободневной политикой. Она «обличала» фрондеров и аристократов комиссии 1767 года, бранила кружки недовольных и «прожектеров», в частности московских (Москва продолжала быть штабом фронды), хвалила Орлова и бранила его хулителей, защищала от нападок саму царицу. Не хотели ограничиться «улыбательным» морализированием и фрондеры. Их представителем выступил в журналистике 1769 г. Новиков, в значительной мере ученик Сумарокова в литературе. «Трутень» напал и на бюрократию, и на придворных дельцов и фаворитов, и на злоупотребления крепостным правом. Он критиковал существующие порядки смело и зло, но не благоволил и к западному буржуазному вольномыслию и оставался на позициях дворянского либерализма. Впрочем, Новиков, наиболее радикальный из фрондеров, готов был блокироваться и с передовыми буржуазными идеологами. «Всякая всячина»

обрушилась на «Трутня» за его смелую политическую сатиру; он отвечал резко. На стороне «Трутня» была и «Смесь». Полемика приобрела характер дерзкого выступления против власти со стороны подданных, заявляющих свои права на руководство этой властью. И Екатерина и окружающие ее сановники из группы Орловых были недовольны «Трутнем» и вообще тем характером, который приобрела сатирическая журналистика. Один за другим журналы стали закрываться. В 1770 году принужден был прекратиться и «Трутень» (вслед за «Всякой всячиной»). Новиков, однако, не унимался. Он попытался выступить с ежемесячником «Пустомеля» (1770 г.), но дело не смогло пойти дальше двух номеров. В 1772 г. начал выходить «Живописец». Это было апогеем журнальной борьбы фронды с правительством. Нажим со стороны власти, настаивающей на «примирении с действительностью», активизировал литературную фронду. На ряду с отвлеченной, «возвышенной» поэзией, тоже, впрочем, метко бившей по врагу, но только в общечеловеческих выражениях, в журналах Новикова подняла голову «презренная проза». Литература независимых дворян завела арсенал открытого оружия.

Между тем правительство, явно решившееся опереться на дворянскую массу и на созданных им самим верных слуг — сверхмощных магнатов земли, новых вельмож, — нашло и своих писателей. Это был Василий Петров, продолжатель Ломоносова, поэт придворной знати. Это — с другой стороны рептильные щелкоперы, писатели для дворянских низов, чиновников и мелкой шляхты, и шинельные верноподданные стихоплеты вроде Рубана, готового за подачку прославлять кого угодно. Дворянские низы, активизированные политикой Екатерины и еще раньше указом о вольности дворянства, потребовали искусства и для себя. Они были малокультурны и не понимали тонкостей поэзии какого-нибудь Ржевского; они были консервативны и не хотели никаких идей, а тем более «политики»; они искали в литературе либо развлечения, романов с приключениями, либо практической пользы: романы, которые презирали поэты классической школы (Сумароков и его ученики), переводные, а потом и оригинальные, стали излюбленным чтением. Помимо занимательности, они предлагали своему читателю образцы любовных речей, которые с успехом переносились в быт. Для того же читателя издавались такие полезные книги как «Письмовник» Курганова, своего рода энциклопедия филологии, по которой можно было научиться и правильно изъясняться и рассказать анекдот в обществе, и процитировать кстати стишок.

Бой между двумя лагерями дворянства — за правительство, Екатерины и против него разгорелся с особой силой

в начале 70-х годов, в период, когда государству пришлось пережить трудные дни. Шла тяжелая и разорительная война. Чума проникла в Москву, и вот, предверие Пугачевщины, чумный бунт в «первопрестольной» едва не вылился в подлинное крестьянское восстание. Фрондеры требуют власти для себя, уступок со стороны «деспотии». В это же время деспотия переходит от «увещаний» к действиям. Один из вождей фронды, Петр Панин, только что взявший у турок Бендеры, принужден выйти в отставку, оказывается в опале, под полицейским надзором. Вокруг него в Москве — штаб фронды. Сумароков, тоже в Москве, вступает в конфликт с главнокомандующим, ставленником власти — и терпит поражение. Екатерина открыто предаёт осмеянию родоначальника литературной школы независимых дворян. Вслед за этим она выступает со своими комедиями. В первой же из них («О время») она дает памфлет на московских «болтунов», недовольных, сплетников, старозаветных дворян, держащихся старины (ср. ретроспективизм и традиционализм идеологии фронды; Фонвизин потом подчеркнет полемически и объявит своим знаменем имя Стародум).

В этот именно момент и появился новиковский «Живописец» с резкими статьями против злоупотребления крепостным правом, против произвола бюрократии, против вельмож. В «Живописце» поместил статью и молодой Радищев; он дал яркую картину крепостной эксплуатации крестьян; в его статье зазвучал уже голос новой, антифеодальной мысли. Очевидно, Новиков в поисках союзников против главного врага — деспотии и ее устоев — готов был блокироваться с еще молодым и не до конца осознавшим свои позиции Радищевым, хотя сам Новиков никогда не выходил за пределы дворянской идеологии, либеральной лишь в пределах уступок ради укрепления основы. «Живописец» вызвал решительное недовольство правительства и был прекращен в 1773 г. (накануне Пугачевщины).

Новый руководитель правительства Потемкин, под давлением крестьянского восстания, повел политику консолидации всех дворянских сил при беспощадном подавлении попыток продолжать фронду и внутривдворянский раскол. Либерализм был осужден. Панинская группа была разгромлена, сатирическая журналистика окончательно ликвидирована. Сумароковцы тщетно пытались протестовать трагедиями, в которых они клеймили тиранию — конечно, по правилам классицизма и в отвлеченном виде, что не мешало властям догадываться о цели нападок и проявлять беспокойство по линии цензуры. Их планомерно оттеснили от политики, от общественной активности. Сумароков умер опустившимся человеком, многие из кружка совсем отошли от литературы; лишь немногие продолжали работать.

Из всех представителей либеральной дворянской фронды в литературе один упорно бился за право политической пропаганды словом — Денис Фонвизин. В 60-х годах вольнодумец, он издал в 1766 г. свой перевод трактата Куайе «Торгующее дворянство». Он был готов на уступки веяниям капитализма, но не более, особенно в 70-х гг., когда он стал ближайшим помощником Н. Панина. Он сделался лидером панинской партии. Он играл роль и в «делах» и в литературе. В 1783 г., уже в период разгрома панинцев и их литературы, Фонвизин выступил смело и развернуто. Он послал в «Собеседник любителей русского слова», журнал, руководимый кн. Дашковой под надзором Екатерины, «Вопросы», остро задевавшие правительство. Вопросы были напечатаны с ответами самой Екатерины. Кроме того, она одернула дерзкого писателя в тексте своих нравоописательных фельетонов «Были и небылицы». Фонвизину пришлось печатно извиниться. Но еще в 1782 г. он поставил на сцену «Недоросля».

Эта была сатира на диких некультурных провинциальных мелкопоместных помещиков и прославление культурной аристократии. Дворянская чернь, Простаковы, мучащие крепостных, — варвары; ими надо управлять, и управлять ими должны мудрые, и добродетельные Стародумы и Милоны. Но на самом деле Стародумы устранены от власти. Фонвизин обрушивается на двор (т. е. на правительство), на фаворитизм, произвол. Ведь, правительство правит от имени Простаковых. Стародум не может работать при таком дворе. Он богат, но потому, что он разбогател в Сибири, стране колониальной грабительской политики русского дворянства. Наконец, Фонвизин вновь поднимает вопросы, возникавшие в среде оппозиции еще в 60-х годах: он рекомендует правительству практиковать опеку над жестокими помещиками (заклучение комедии), что требовал еще П. Панин в своей записке о крестьянском вопросе в 1763 г.; вопрос об опеке усиленно дебатировался и в Комиссии 1767 г. Екатерина сама затронула его, хотя очень робко и вскользь, в Наказе. Роль Правдина, чиновника, наблюдавшего за помещиками, также не только не панегирик современности, но предложение реформы; устройство именно такого негласного наблюдения за помещиками через губернаторских чиновников с целью укрощения жестоких помещиков и, тем самым, смягчения крепостного гнета, предлагал также П. И. Панин в той же записке. Таким образом, по всем линиям «Недоросль» был полон оппозиционной политической пропаганды. Понятно, что после «Недоросля» и «Вопросов» Фонвизин был изъят из литературы. С 1783 г. до самой смерти он не мог больше напечатать ничего (кроме анонимного некролога Панина). Журнал, предположенный им к изданию в 1788 г., был запрещен. Есть известие, что он не

получил даже разрешения на перевод Тацита. Между тем, перед смертью (1783 г.) Н. И. Панин изложил Фонвизину идеи своего политического завещания, предназначенного для Павла Петровича, когда он станет императором. Фонвизин написал это завещание Панина — обвинительный акт деспотии Екатерины и ее фаворитов и изложение политического символа веры дворянских либералов.

Это было концом панинской политики. Долго боролся Панин. Он окопался в среде своих единомышленников, и сломить его правительству было необычайно трудно. Его «партия» не только открыто выступала против правительства, но готова была идти и на борьбу методами заговора и подготовки переворота. Только перед смертью Панина, Екатерине удалось сломить сопротивление его друзей.

К началу 80-х годов, в результате Пугачевщины, окончательно выяснилось соотношение сил в дворянской литературе, причем либеральное крыло ее подверглось мерам подавления со стороны правительства и, наоборот, росла сила литературы дворянских низов, с одной стороны, и придворного кружка, с другой, — связанных между собой.

Между тем, все большее значение, начиная с конца 60-х годов, приобретало и буржуазное течение в литературе. Оно опиралось и на русскую буржуазию, и на вовлечение в круг буржуазных идей круга чиновничьей «разночинной», и даже мелкопоместной дворянской интеллигенции. Еще в 60-х годах выступили В. Лукин, М. Чулков, Ф. Эмин и др.

Влияние буржуазного сентиментализма все более проникало в русскую литературу в 70-х годах. В 1771 г. Сумароков возмущался успехом на московской сцене перевода «мещанской драмы» Бомарше «Евгения», а уже в 1774 г. Херасков сам написал сентиментальную драму «Друг несчастных»; в 1773 г. М. Веревкин издал драму «Так и должно», написанную также под сильным влиянием «мещанской драмы» Запада. Это были попытки перестроить художественную систему оппозиционной и наступающей на Западе буржуазии в интересах русского оппозиционного либерального дворянства. Ведь и «Недоросль» не чужд элементов «слезной драмы».

В конце 70-х и в начале 80-х годов в литературу вступает новая сила, меняющая в ней все установившиеся соотношения, — Державин. В его поэзии получило настоящее художественное завершение мировоззрения того массового дворянина, который до сих пор с точки зрения школы Сумарокова, главенствовавшей в литературе, был некультурным варваром и для которого составлялись и письмовник Курганова, и сборники анекдотов, и любовные романы. Это был мелкий и средний помещик, заполнивший созданные для него места губернских учреждений, поддерживавший власть,

подавивший либералов-аристократов; он учел уроки Пугачевщины и готов был блокироваться с окружившей трон кучкой фаворитов и дельцов, создавших себе несметные богатства, но дававших жить покорным Митрофанам Простаковым, уничтожая Правдиных. Сам Державин был представителем именно этой, не сильно образованной шляхты. С нею вместе он преуспел после Пугачевщины и добрался до положения вельможи. Люди панинского круга были для него чужими. Кружок придворных дельцов, с которыми он никогда не мог до конца примириться, все же был ему ближе. Он представлял ту силу, которая страдала от произвола Потемкиных и Зубовых, но все же именно их режиму была обязана укреплением своих позиций и потому поддерживала их. Державин промит вельмож-тиранов, но он все же ослеплен их блеском, их властью. Он не ищет реформ. Он доволен настоящим и готов славить режим Екатерины, хотя и позволяет себе сатиру против некоторых деталей в практике власти. Крепостник и консерватор в политике, Державин был новатором в искусстве. Он разрушил каноны и схемы отвлеченной поэтики классицизма, отверг традиции сумароковской школы. Жизнь, со всей ее конкретностью, с бытом, с индивидуальным лицом поэта и его героев, с точным чувственным образом природы и вещей вошла в поэзию с Державиным. Его поэзия жизнерадостна, бодр; он — представитель дворянства, завоевавшего твердые позиции, и он доволен миром. Яркие краски природы, сытные и великолепные пиршества, сибаритство помещицкой жизни, так же как пышность празднеств и «гром побед» — все это нашло место в его искусстве. Его искусство активно, как поддерживающая его группа общества. Державин в своих стихах клеймит своих врагов, защищается от нападений, полемизирует. Его творчество было своеобразной поэтической газетой его эпохи, злободневной и острой, полной намеков на людей и события, полной животрепещущего интереса; здесь был и фельетон, и статья, и даже заметка. Самый язык Державина разрушает нормы и правила классицизма; он конкретен, он стремится к яркой образности, причем в нем свободно смешаны и «высокие» и «низкие» элементы; принцип условности отбора слов согласно категориям жанра он заменяет принципом выразительности. Стихия живой речи формирует его стиль, а не принцип специфической речи искусства, как особой словесной стихии. Державин говорит в своих стихах от лица индивидуального человека, поэта, имеющего биографию, быт, личные привязанности и антипатии. В этом смысле его поэзия индивидуалистична. Поэт для него — определенное живое лицо, он рассказывает читателю о событиях своей жизни, о своей жене, о своих друзьях. И он обращается со своей поэтической речью не

только к придворным и не к кружку избранных, посвященных в тайны искусства и мудрости, — как, напр., это было у сумароковцев, — а к массе читателей, неизвестных ему, к «публике». Он обращается к ней через голову правительства и помимо условностей искусства и он ищет в ней сочувствия и поддержки. Чувствуя силу активного художественного слова и опору в читательской массе, Державин говорит с правительством как равный. Не будучи настроен либерально, он, тем не менее, оказывается судьей действий власти и вельмож, он заявляет о своих правах поэта как свободой личности и как трибуна. В этом сказывалась антифеодалная струя, изнутри подрывавшая крепостнические устои его мировоззрения, так же как начинал изнутри разлагаться феодализм и в экономике дворянства его эпохи. Державин не мало воспринял от преромантической эпохи Запада, — он внес в свое искусство мотивы Оссиана, учился и у немецких поэтов своей эпохи.

Таков был итог его творческой работы. В начале же своего пути он был принят с восторгом и в правительственном кружке и массовым дворянским читателем; он мог быть противопоставлен либеральной панинской группе писателей классиков, писателей-аристократов и фрондеров. В 80-х годах бывшие либералы феодального толка, пережившие разгром панинского кружка и принужденные отказаться от надежд на открытую политическую борьбу, в большом числе перешли на другие формы деятельности. Они ринулись в мистические искания, в масонство. От былого философского вольнодумства, хотя бы умеренного, осталось очень мало; они признают даже официальную церковь. Масонство дает им и утешение в неудачах — своим мистическим учением, и новую сферу деятельности — своими морально-пропагандистскими задачами и, наконец, новую и уже законченную, притом наполовину тайную и во всяком случае неофициальную организацию — своей структурой ордена и обрядностью.

Они примкнули к тому течению масонства, для которого были существенны идеи культуры древнего рыцарства, которое было окрашено в тона феодальной романтики, которое стремилось к власти над миром не только с помощью тайных знаний (философского камня и т. п.) и очень походило на тайное политическое общество.

Еще в 70-х годах масонство этого типа в России становилось политическим штабом партии Панина и его единомышленников. Сам Панин был масоном, так же как, напр., князь Репнин, лидер его группы и т. д. В 80-х годах развернулась широкая общественная работа в масонстве Новикова (рядом с ним стоял вначале теоретик, философ кружка Шварц). Адептами были и Херасков, и Ржевский, и Тру-

бецкие (братья Хераскова), и Нартов, и другие члены кружка «Полезного Увеселения».

Новиковские организации в условиях потемкинского режима выглядели как государство в государстве, как организации общественной дворянской силы, независимые от правительства и действовавшие вопреки ему. Конечно, деятельность московских масонов не могла быть терпима властью. Тем более она была опасна для правительства, что розенкрейцеры вовсе не чуждались политики. Они стремились вовлечь в свою деятельность Павла Петровича, они завязывали тесные связи с границей, в частности с прусским королем. Замыслы их, без сомнения, шли далеко.

Екатерина испугалась. Сначала она боролась с розенкрейцерами комедиями, в которых объединяла шарлатана Калиостро с масонами, обвиняла их в жульничестве и т. д. Одновременно она перешла к полицейским мерам; деятельность Новикова была подвергнута гонениям и ограничениям, наконец, совсем прекращена. Потом Новиков был арестован и заключен в Шлиссельбургскую крепость. Вся организация была ликвидирована. В это время уже разворачивалась литературная деятельность выученика новиковского кружка, Николая Михайловича Карамзина.

ЭККУРСЫ И ПРИМЕЧАНИЯ

(1) К стр. 20. Обильные ссоры и трения в Московском университете в 1760-х годах обнаруживают, в сущности, непреодолимую рознь между дворянами-администраторами и профессорами, бюргерами и геллертерами.

Еще в 1758 г. университетская конференция подняла дело о магистре Яремском, преподававшем латынь. Его обвиняли в неявке на уроки, халатном отношении к своим обязанностям. В виду пропуска им занятий, к нему на квартиру послали доктора; Яремский оказался здоровым. 2 сентября ему был сделан выговор в заседании конференции (рукопись архива Московского университета—«Протоколы конференции» университета. Протокол 2 сентября 1757 г., № 8. О. Яремском говорит Фонвизин в «Чистосердечном признании»).

Профессор исторического факультета Дильтей враждовал с Херасковым. В конце 1765 и начале 1766 г. разразилась целая история с Дильтеем. Еще в первые годы существования университета Дильтей заявил, о своих подозрениях, якобы против него составился целый комплот, в котором замешан и Херасков, тогда еще ассесор; затем он публично называл Поповского пьяницей. В 1761 году у него было новое столкновение с конференцией университета. Наконец, с самого начала 1765 года Херасков, уже директор, поставил вопрос о том, что Дильтей пропускает свои лекции, будучи занят частными уроками, которые приносят ему доход. Херасков неоднократно докладывал куратору о Дильтее, говорил с ним об этом и в университете и на дому у Адаурова (см. архив Моск. университета, ордер куратора директору от 22/III 1765 г., протокол конфер. 1765 г., стр. 103); в результате началось дело. Кроме неисполнения служебных обязанностей, Дильтею поставили в вину некоторые «недочеты», допущенные им в его учебнике Универсальной истории, напечатанной в типографии университета (Шевырев—Ист. Моск. университета, стр. 131,—неясно пишет, что «нашли еще какие-то недочеты в типографии, по случаю напечатанной им Универсальной истории». Но судя по дальнейшему, недочеты были в самой Истории). Дошло до того, что у Дильтея удержали жалованье и перестали считать его профессором университета, т. е. просто выгнали его. Тогда Дильтей подал жалобу на университетскую канцелярию в Сенат. «В ней он исчислял обиды, ему сделан-

ные, что будто бы отвлекали студентов от его лекций, оскорбляли его в старшинстве, удержали его жалование без причины» (Шевырев, стр. 132). Что касается до студентов, то в 1765 г. у Дильтея был только один слушатель. Началось следствие. 28 октября канцелярия получила сенатский указ о даче дополнительных сведений, касающихся дела Дильтея; этот указ Херасков сообщил в конференцию для того, чтобы здесь такие сведения были собраны, при следующем отношении:

Из Канцелярии Императорского Московского Университета в конференцию оногож Университета.

Каков Ее Императорского Величества из Правительствующего Сената о внесении в дополнение к имеющемуся во оном Сенате по челобитью бывшего в Университете Профессора Дильтея делу написанных объяснений, указ сего Октября 28 дня в Канцелярию Университета получен со оного для надлежащего исполнения сообщается при сем копия.

Михайло Херасков
секретарь

Регистратор Иван Перелыбрин

Октября 28 дня
1765 года

(Протокол конф. за 1765 г., стр. 615. Прилож. к протоколу конференции 28 октября 1765 г., № 49. Тут же, стр. 617—618, приложена копия указа. Отношение писано писцом; подпись Хераскова своейручная).

Дильтей представил в Сенат свое оправдание, в котором подробно опровергал все обвинения, выставленные университетом. В конце 1765 г. из Петербурга приехал профессор Керштенс и «привез известие слышанное от академика Миллера и двух сенаторов, что Дильтей оправдан во всех своих поступках. Это известие записано было в протокол конференции» (Шевырев). Но университетское начальство не удовлетворилось таким решением. Были предприняты новые шаги к доказательству вин Дильтея. По предложению куратора Ададурова конференция осудила учебник истории, написанный Дильтеем. Затем было выставлено обвинение в похищении Дильтеем в его речи «целой страницы из Гейнекция. Наконец, в конференции, по многократному и настойчивому требованию Ададурова, профессеры должны были дать показания касательно нерадения Дильтея к должности и его поведения» (Шевырев). Припомнили старые «грехи» Дильтея; так, уже в январе 1766 года куратор затребовал от профессоров точные сведения о деле Дильтея, разбиравшемся в конференции еще в 1761 году (Ордер куратора от 26 января 1766 г., протокол конф. за 1766 г.). Сведения эти были собраны и оглашены в заседании 20 марта 1766 г. На вопрос, с чего началось дело 1761 года, профессеры отвечали, что однажды, повидимому во время кутежа, произошло побойще и дошло до обнаженных шпаг; в этом принимал участие Дильтей: „pöst zsercagationes eo processisse, ut strictis gladiis sese invicem aggressi fuerint, de quo per servum sauponaе (vulgo marqueur dictum) quem tum tempore Dom.

Concil. Aulicus Cheraskoff in conferentiam introduxit, convicti, et ipsi confessi sunt id quod etiam ex eo apparuit, quia ille servus, gladium Dominus Diltheo e manu eripere volens, a gladio trans manum deducto vulneratus erat; quod vulnus Dom. D. Kerstens examinavit“. (Проток. засед. 70 марта 1766 г., № 13 стр. 89—90. Перевод: «Потом вышло так, что набросились друг на друга с обнаженными шпагами, в чем они и сами сознались, уличенные трактирным слугой (в просторечии именуемым маркером), коего тогда господин Дильтея советник Херасков ввел в конференцию. Здесь же выяснилось, что этот слуга, пытаясь вырвать из рук господина Дильтея шпагу, был ранен пронзившей его руку шпагой; эту рану освидетельствовал господин д. Керштенс»).

На вопрос о том, кто внес в конференцию это дело, отвечали, что „in absentia ejus temporis Directoris Dom: M. Melissino pertractatam fuisse a tunc temporis respective consiliarius aulicis et assessoribus, Domini Cheraskoff, Golowin et Koschin, et tunc in conferentia praesentibus Professoribus: Froman, Dilthey, Kerstens, Barsow, Rost, Reichet et Schaden“ (ibid., перевод: «В отсутствии в то время директора г-на Мелиссино, это дело было обсуждено тогда надв. сов. и ассесорами гг. Херасковым, Головиным и Кожиным и присутствовавшими тогда в конф. профессорами». Эта история произошла не ранее июня 1761 г., т. к. Мелиссино был уволен в отпуск с 10 июня).

Ададунову не пришлось использовать против Дильтея сведений, собранных о скандале 1761 года. Уже на следующий день после того, как они были заслушаны в конференции, 21 марта, он получил указ за подписью императрицы, которым все дело разрешалось в благоприятном для Дильтея смысле.

В этом указе, помеченном 9 марта, предписывалось принять Дильтея снова в службу «с прибавлением жалованья против протчих сверстников его, ежели им прибавлено». Кроме того Дильтею предоставлялась сверх кафедры права, еще кафедра греческого языка, если он захочет принять ее и если имеет необходимые к тому сведения (Ордер куратора директору от 21 марта 1766 г., см. книгу протоколов конференции за 1766 г., стр. 99, и Шевырев, стр. 133). Ададуров немедленно особым ордером сообщил содержание полученного указа Хераскову. На следующий же день была собрана конференция, на которую был приглашен Дильтей, Ададуров сам прочел указ; Дильтей снова оказался профессором; что же касается кафедры греческого языка, то ему по этому языку назначено было испытание для выяснения, может ли он взять на себя преподавание. (Протокол конфер. 22 марта 1766 г., № 14; стр. 99, и Шевырев, стр. 133). Однако, несмотря на приказание самой императрицы, и Херасков и Ададуров, повидимому, отказались подписать протокол конференции 22 марта: хотя оба они в заседании присутствовали, подписей их под протоколом нет. (См. протоколы конфер. 22 марта 1766, № 14, стр. 99 и 8 апреля 1766, № 16, стр. 106).

Не успело закончиться дело с Дильтеем, как началось другое дело с другим профессором, Рейхелем; и здесь Херасков играл роль. Еще в декабре прошлого 1765 года в одном из заседаний конферен-

ции между Рейхелем и Херасковым произошло столкновение; в пылу спора или, вернее, ссоры Рейхель наговорил Хераскову грубостей. По этому поводу университет подал жалобу на профессора в Сенат. Покуда жалоба лежала в Сенате, весной 1766 года против Рейхеля было закончено новое дело. В том самом заседании конференции, когда дело закончено дело Дильтея (22 марта 1766 г.), обсуждался вопрос о недобросовестном отношении Рейхеля к своим обязанностям. Профессора жаловались на то, что и Рейхель занят другими делами, не имеющими отношения к университету, а своих лекций не читает. Поэтому профессора предлагали вовсе уволить Рейхеля из университета, находя, что так именно следует поступить, согласно университетскому регламенту (проток. конфер. 22 марта 1766 г., № 14, стр. 94—95). Куратор, присутствовавший на заседании, отвечал, что уволить Рейхеля нельзя. Через несколько дней Херасков устно доложил Ададунову, что Рейхель якобы читал с декабря 1765 г. по апрель текущего 1766 года всего 2—3 лекции. 4 апреля Ададунов написал ордер директору, в котором сообщал, что хотя профессора и просили его уволить Рейхеля по силе регламента, но он не считает возможным поступить так, потому что студенты пока что ничему у Рейхеля не научились; он отрицает, что по регламенту надо уволить Рейхеля и полагает, что такое увольнение (до истечения срока контракта) явилось бы для профессоров прецедентом отлынивания от исполнения своих обязанностей, если у них будут другие дела; он предписывает Хераскову «объявить (Рейхелю), чтоб он в положенные по каталогу часы лекции свои читал непременно, не принося в том никаких отговорок». (Ордер куратора директору от 4 апр. 1766; см. протоколы конф. за 1766 г., стр. 107—108 в копии).

Через три дня, 8 апреля, Херасков подал Ададунову уже письменный рапорт, в котором Херасков, наведя, повидимому, более точные справки, указывал, что Рейхель читал с 8 декабря 1765 г. по апрель 1766 г. не более 11 лекций (а не 2—3). С своей стороны, Рейхель заявил свой протест против выставленного обвинения; в конференции 15 апреля было заслушано его доношение, в котором он утверждал, что сведения сообщенные куратору, будто он читал 2—3 лекции, ложны и что на самом деле он их читал двадцать одну. (К проток. конф. 15 апреля № 18, стр. 119 приложено оправдание Рейхеля). Тем не менее дело было все же передано в сенат; к основному обвинению в неисполнении обязанностей Ададунов присоединил еще жалобу на то, что Рейхель учинил ссору с содержателем книжной лавки при университете Вевером.

В июне месяце решилось первое дело с Рейхелем о скандале в конференции; Сенат рассудил это дело в пользу университета, вернее, в пользу Хераскова. В протоколе заседания конференции 30 июня 1766 г. записано: „Praesens in hodierna conferentia extraordinaria Illustrissimus ac Excellentissimus Dominus Curator, vi mandati Ill. Senatus Dirigentis, reprehendit Dom. Prof. Reichelium verbis sequentibus“: (Протокол конференции 30 июня 1766, № 6, стр. 49—50. Перевод: «Присутствующий в сегодняшней экстраординарной конференции его высоко-

превосходительство господин куратор, в силу указа правительствующего сената сделал выговор господину профессору Рейхелю следующими словами): «Господин профессор Рейхель. О происшедшем 10 числа минувшего декабря между директором и вами, о чем и в журналах конференции записано, получил я из Правительствующего сената указ, которым мне повелено при собрании всех профессоров вам, профессору Рейхелю, сделать выговор за грубые и дерзкие против директора произнесенные слова, и что Правительствующий сенат с неудовольствием слышать принужден был, что в ученом собрании вместо ожидаемой и должной Государству пользы разные беспорядки и между членов вражды делаются; а следствие велено совсем оставить».

В заседании конференции 30 июня Хераскова, повидимому, не было; между тем, конференция собралась в этот день только для заслушания выговора Рейхелю и по окончании речи Ададунова разошлась. (Под протоколом заседания 30 июня подписались, кроме Ададунова, профессора: Керштенс, Барсов, Шаден, Лангер и Эразмус, но не Рейхель).

Через две недели после этого пришло решение второго дела с Рейхелем, и опять не в его пользу.

В протоколе конференции 15 июля 1766 г. записано: „Praesens in hodierna conferentia extraordinaria Illustrissimus ac Excellentissimus Dominus Curator indicavit: se accepisse d. 12 h. m. mandatum ab Illustr. Senatu Dirigente, vi cuius ille Domino Profess. Reichel intimavit sequentia (проток. конф. 16 июля 1766 г., № 25, стр. 169—170. Перевод: Присутствующий в сегодняшней экстраординарной конференции его высокопревосходительство господин куратор сообщил, что он получил 12 числа сего месяца указ от Правительствующего сената, в силу которого он внушил господину проф. Рейхелю следующее): «Господин профессор Рейхель. По рапортам господина директора объявлено мне, по первому словесно, что вами, господином профессором, лекций читано от 8 декабря 1765 года по апрель месяц сего года не более двух или трех, с чего и в ордере от меня четвертого апреля было написано, на которой по рапорту письменному того апреля 8 числа, показано читанных вами лекций с 8 декабря по означенный апрель месяц сего года не более одиннадцати, по чему представлено было от меня об оном, також и о происшедшей у вас с книгопродавцом Вевером споре, Правительствующему сенату с требованием резолюции, на что сего Июля 12 дня в полученном из Правительствующего сената указе, по прописании из апробованного о университете проекта 6 пункта, объявлено: когда же по оному учреждению точно положено, в которые именно дни профессорам лекции читать, следовательно де они и обязаны во все время своей службы сему узаконению повиноваться, то с неисполнителями оного поступать Правительствующий сенат возложил на собственно мое рассмотрение; а я рассматривая силу сего повеления и узаконенной в апробованном проекте шестой пункт за потребно нахожу вам г-ну Профессору Рейхелю при собрании всех прочих господ Профессоров о том учинить выговор, как и Правитель-

ствующему сенату было представлено, с тем, чтоб впредь тех публичных в Университете лекций вы не пропускали ни одной, понеже тем порядок учения совсем пресекается и учащиеся, препровождая праздно определенные на то часы, время свое погубляют бесплодно и ожидаемой пользы вовсе лишаются, от чего и апробованному о Университете проекту делается неисполнение, а прочим учащим подается худой пример; а в партикулярной с книгопродавцем Вевером ссоре повелено тем Правительствующего сената указом ведаться судом где по указам надлежит, о чем вам и объявляется».

Что касается до Вевера, то у него выходили неприятности не с одним только Рейхелем.

В октябре 1766 года Медицинская контора затребовала в Университете экземпляры отпечатанного уже, но не выпущенного в продажу перевода «Таблиц Шааршмидовой Анатомии», сделанного профессором Эразмусом. По поводу посвящения и предисловия, предпосланных переводу Эразмусом и также самого содержания книги Херасков написал отношение к Эразмусу следующего содержания (приложение к протоколу от 4 ноября 1766 г., № 38, стр. 273—274, вверху листа написано «копия»; все писано рукою писца без даты):

«Благородный господин императорского Московского университета доктор и профессор.

По полученному от его превосходительства тайного советника сенатора и куратора Василья Евдокимовича Ададунова сего октября от 12 числа ордеру на мое представление, а мне от вас в конференции, велено: Шааршмидовой Анатомии таблицы, напечатанной оным титул, по требованию Медицинской конторы надзирателя, как вы господин профессор о том в конференции мне представляли имянно отпустить; чего ради и в волную продажу уже употреблять велено ж без дедикации и предисловия; понеже де оные печатаны казенным коштом, то и приписать следовало бы ее императорскому высочеству государю цесаревичу Павлу Петровичу, а не партикулярной по благоизобретению вашему,¹ а предисловия де, как оное сочинено, для некоторых находящихся в нем нарекательных изображений при оных таблицах печатать он, господин Куратор, за сродственное не признал. А сего октября 28 дня в присутствие мое в конференции при объявлении оного ордера от вас, господина директора и профессора, представлено, что вы признаете некоторые в той книге неисправности, по чему и опасаетесь от публики критик, имени своего при титуле оной книги напечатать не желаете, а какие имянно неисправности признаете, на которые и критика состоять бы могла, о том от вас не объявлено, а без оного ни к первому ни к другому приступить не можно. Того ради, ваше благородие, извольте об оном объяснить мне писменно в непродолжительном времени, какие имянно признаете в той книге неисправности, на которые и опасаетесь от публики кри-

¹ Здесь, может быть, пропущено слово «особе».

тик, и чрез какое бы полезное средство можно было от таких критик избыть; как о том от вас и словесно было объявлено; вам же как трудившемуся в переводе оной так и науки в чем те таблицы состоят сведующему о ошибках в оной сведение иметь можно ближе, нежели другому, дабы чрез одного трудящегося в переводе не могло быть нареkania целому месту неповинно.

Вашего благородия покорный слуга

Михайло Херасков»

По отношению к провинившимся студентам и гимназистам в университете применялись следующие наказания: их лишали на время права носить шпагу, студентов и гимназистов одевали на 3 дня в «крестьянское платье», сажали на хлеб и воду, лишали месячного жалованья. Конференция добивалась того, чтобы не было «неумеренных и жестоких наказаний» учеников; об этом существовало особое постановление. Когда в 1765 г. учитель Рехт все же «штрафовал» «учеников. Николая Метлина и Петра Жадовского битьем линейкою по руке», то конференция возбудила целое дело. Она просила куратора за нарушение Рехтом инструкции, данной конференцией, и за поступок «в противность всех законов с жестокостию с учениками» отрешить его все от службы в университете, или же вычесть у него жалованье за полгода (рапорт куратору от 4 мая 1765 г.). Ададулов поручил Хераскову исследовать дело и выяснить, в первый ли раз совершил Рехт такой поступок. (Ордер куратора директору от 11 мая 1765, прилож. к протоку конф. 14 мая 1765 г., № 24, стр. 377—378). В 1766 году (23 марта) конференция еще раз подтвердила, что битье по рукам запрещено, а вместо того разрешается одевать гимназистов в «крестьянскую одежду». В виде крайней меры предлагалось исключать из университета. (Так, напр., в 1766 г. профессора просили куратора разрешить исключить несколько студентов. См. протоку конф. 14 окт. 1766 г., № 35, пункт 3).

В 1768 году Херасков, директор университета, дважды выступал в конференции с заявлениями о речах, читавшихся на публичных актах. Темы речей, предположенных к произнесению профессорами, должны были быть одобрены конференцией. Кроме того, Ададулов неоднократно напоминал Хераскову, чтобы и он и конференция следили за содержанием речей с точки зрения цензуры.

22 апреля, в день рождения Екатерины II, состоялось торжественное собрание при университете, на котором читали речи: профессор Эразмус — о нынешнем состоянии врачебной науки в России, и доктор Третьяков — о начале и учреждении университетов в Европе. Херасков в это время был болен. По обыкновению, обе речи немедленно после акта были напечатаны. Речи оказались на взгляд Хераскова или, может быть, на взгляд Ададулова подлежащими исправлению. Выздоровев, Херасков внес на первом же заседании конференции официальный ордер, которым устанавливалась обязательная предварительная цензура публичных речей, приготовленных для произнесения на университетских актах и для напечатания после того. Вот этот ордер:

«В Конференцию Московского императорского университета.

По тому, что в последних речах говоренных во время высочайшего торжества апреля 22 сего 1768 года оказались многие сумнительства и дерзновенные выражения, о которых при сем случае умалчиваю и оные речи по причине моей болезни без моего рассмотрения и напечатаны; того ради сим предлагаю университетской конференции дабы впредь в отвращение подобных непорядков всякие речи приготовляемые для публичного чтения, вносимы были в общее собрание университетской конференции; где бы они прочтены и рассмотрены, дабы не вышло нечего противного благопристойности, и кем надлежит подписаны и конфирмованы были. А потом уже печатать.

Мая 3 дня, 1788 года. Михайло Херасков

(Прилож. к протоку, конфер. 3 мая, 1760 г., № 9 пункт 1, стр. 19. Все, кроме подписи и сноски — рукой писца. Подпись и вставка, отмеченная у меня разрядкой — рукой Хераскова. В подлиннике сноска на левом поле. Ордер этот напечатан у М. И. Сухомлинова. Ист. Росс. Акад., IV, стр. 207).

Трудно сказать теперь, что именно в речах Эразмуса и Третьякова показались «сумнительным» или «дерзновенным» начальству. В речи Третьякова говорится, между прочим, о корыстных целях католической церкви при распространении ею просвещения, и вообще католическое духовенство изображено непочтительно; есть и такие выражения, как «гугнивый и косноязычный капуцин с бесосновательным учением своим»... и т. д. Может быть, эти именно места речи Третьякова и вызвали ордер Хераскова. В следующем же заседании конференции, 7 мая, вопрос о предварительной цензуре речей был подвергнут обсуждению. Профессора присоединились к мнению Хераскова о необходимости цензуры. В протоколе конференции записано: „Novissima in conferentia ab Illustri ac Magnif. Domino Directore scriptum de legendis orationibus publice recitandis in pleno Professorum concessu cohibitum, ea, quo par est, attentione, recipiunt, propositamque in ibi orationum censuram jussam equamque et ipsi censent“. (Протоку. 7 мая 1768 г., № 10, стр. 49, пункт I. Перевод: В ближайшую конференцию внесенный ордер его высокоблагородия г-на директора о прочтении речей, предположенных к публичному произнесению, при собрании профессоров с досто-должным вниманием получен (профессорами), которые сами полагают предположенную в нем цензуру справедливой и необходимой).

Однако профессор Эразмус не удовлетворился принятием решения на будущее время. Он настаивал, чтобы ему указали сомнительные места в его речи с тем, чтобы он защитил их.

В том же протоколе записано „Dom. D. d. Prof. Erasmus ad protocollum dedit sequentia: quoniam in conferentia praecedente a Magnifico Domino Directore ad acta datum scriptum tecte tantum indicat, in mea ultima oratione contineri multa dubia et temerarias expressiones; ad illud responsionis loco regero, me tunc responsionem accusatam, uti eruditum decet, daturum esse, quando primum mihi clare loca ostendentia indicabantur“. (ibid,

пункт 2. Г-н проф. Эразмус дал для внесения в протокол следующее: ордер, приобщенный к протоколу предыдущей конференции от его высокоблагородия г-на директора, весьма не ясно указывает, что в моей последней речи содержится много сомнительного и дерзновенные выражения, то я на это вместо ответа докладываю, что я тогда дам ответ на обвинение, какой полагается, когда мне прежде будут ясно указаны места, подлежащие обсуждению).

Через 2 месяца, 30 июня, университет праздновал день восшествия на престол Екатерины II торжественным актом. К этому акту были приготовлены две речи: Десницкого «О прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции» и Дильтея „De eo, quod justum et circa beneficia minogenibus concessa, si in dolo reperti sunt“. Согласно принятому с мая месяца положению, обе речи были подвергнуты обсуждению в конференции за несколько дней до торжества (25 июня); впрочем, это обсуждение не имело значения, потому что они уже были закончены печатанием. При обсуждении речи Дильтея вновь возникли разногласия между автором и Херасковым. Херасков упрекал его за допущенные в речи ошибки; он спрашивал во-первых, почему Дильтей говорит, что Петр I имел звание доктора Оксфордского университета, „quod tamen ex probatis auctoribus ostendi non possit“.

На это Дильтей ответил, что источник его указан в тексте. Затем Херасков находил, что не следовало помещать непонятно откуда взятого известия о том, что императрица Екатерина II была избрана членом Берлинской Академии Наук и т. п.: „De receptione augustissimae Imperatricis in numerum membrorum Academiae Scientiarum Berolinensis, atque de scripta hac occasione epistola, quam orationi inseri non posse existimabat Dom. Director, cum ea de re nihil in novellis publicis Petropolitanis dictus sit“.

В самом деле, Дильтей в своей речи даже приводил слова, которыми Екатерина отвечала Берлинской Академии, поднесшей ей диплом на звание члена: „Mon savoir se borne à connoître, que tous les hommes sont mes frères, et à ne point m'écarter de ce principe dans toutes les actions de ma vie“. (Шевырев, стр. 157). На обвинение Хераскова Дильтей отвечал ссылкой на иностранные газеты: „ad hoc respondet Dom. Dilthey: se hoc habere ex novellis extraneis“.

Наконец, Херасков спрашивал, зачем Дильтей назвал Московский университет „Alma Elisabethana“, тогда как это наименование не подходит к нему, т. к. все иностранные университеты всегда называются не по своим основателям, а по городам, в которых они находятся. Дильтей не оспаривал этого мнения Хераскова, но заметил, что он не может изменить данного места своей речи, т. к. она уже напечатана полностью. (Протокол заседания конфер. 25 июня 1768 г., № 17, стр. 107—107).

Наиболее заметным событием в университетской жизни за 1769 год была история с диссертацией Д. С. Аничкова. Аничков был магистром еще с 1762 года и читал математику, логику и метафизику. В 1769 г. он изъявил желание получить звание профессора. Конференция выразила свое согласие и передала дело Адаурову, который потребовал

от Аничкова представления диссертации и публичной защиты. ее. В начале академического года Аничков представил сочинение „Dissertatio philosophica de ortu et progressu religionis apud diversas maximeque rudes gentes“ или в русском тексте: «Философское рассуждение о начале и происшествии богопочитания у разных, а особливо невежественных народов». Тогда же «Рассуждение» было напечатано. Однако профессора, рассматривавшие его, не одобрили его содержания. В заседании конференции 24 августа диссертация Аничкова была подвергнута обсуждению, причем профессора обвиняли Аничкова в ложных мнениях о религии и в излишней приверженности ко взглядам Лукреция, т. е. в атеизме. В особенности протестовал против идей Аничкова профессор Рейхель; он написал даже речь в опровержение их.

Аничков был принужден исправить свою диссертацию и напечатать ее снова во второй редакции; первое же издание было уничтожено. По мысли Аничкова (судя по второй редакции его «Рассуждения»), источником религии является страх, возбужденное воображение, или по его терминологии, «привидение» и, наконец, удивление перед подвигами героев, приводящее к обоготворению последних; он прибавляет здесь же, что его рассуждения относятся лишь к языческим религиям.

На этом мытарства диссертации Аничкова не кончились. Московский архиепископ Амвросий подал «донесение в синод», в котором, ссылаясь на свою обязанность наблюдать, «не делаются ли какие суеверия и оные пресекать» (по регламенту), указывал на дерзкие идеи сочинения Аничкова, предположенного к защите на диспуте в университете. По его словам, Аничков «явно восстает противу всего христианства, опровергает священное писание; богознамения и чудеса, рай, ад и дьяволов, сравнивая их с натуральными или небывальными вещами, а Моисея, Сампсона и Давида с языческими богами; в утверждение того приводит безбожного последователя Эпикура, Люкреция, да всескверного Петрония; положения же 1, 2, 3, 5, 10, 11 — совсем натуральной откровенной богословии противны» (В. Иконников. Русские университеты в связи с ходом общественного образования. Вестн. Евр., 1876, № 10, стр. 512—513). Затем архиепископ сослался на то, что диссертация Аничкова осуждена университетской конференцией, хвалил речь о ней Рейхеля и просил об истреблении экземпляров диссертации. В своем решении «Синод не мог допустить мысли о прямых нападках Аничкова на указанные вопросы, но тем не менее просил сенат запретить университету печатать подобные сочинения, а профессорам читать в таком же духе лекции. Но обер-прокурор синода Чебышев протестовал против состоявшегося решения, как основанного на голословных обвинениях. Он подал свой протест в сенат, прибавляя, что последний не может постановить определения, так как «без доказательства никто обвинен быть не может». (там же). Дело было положено в сенате под сукно и так и оставалось нерешенным вплоть до 1787 г., когда было постановлено сдать его в архив. Таким образом, Аничков избежал прямого преследования за свои идеи. Но кафедру

ему тогда не удалось получить. Он был назначен профессором лишь через два года, в 1771 году.

(²) *К стр. 24.* Н. Батюшков писал Н. И. Гнедичу 7 ноября 1811 года: «Покойник Херасков, сей водяной Гомер, любил давать советы молодым стихотворцам и, прощаясь с ними, всегда говорил, приподняв колпак: «Чистите, ради бога, чистите, чистите! В этом вся сила. Чистите! О, чистите, как можно более чистите, сударь! чистите, чистите, чистите!» (сочинения К. Н. Батюшкова, т. III, 1886, стр. 150).

(³) *К стр. 27.* «Спасской школой» корил В. Петрова и В. И. Майков в 1 песне «Елисея» и тут же писал, что его поэзия — это «школьный напев».

(⁴) *К стр. 31.* Сумароков писал в «Трудолюбивой Пчеле», в письме «к подъячему, писцу или писарю (то есть к такому человеку, который пишет, не зная того, что он пишет). «Писарь! ты хулишь издания под именем «Трудолюбивой Пчелы», болтая что в них только стихи; это неправда, не одни стихи в них, да и стихов никто кроме тебя и тебе подобных невеж не уничтожает»... и т. д.

(⁵) *К стр. 31.* По вопросу об организации самого журнала, в частности, о взаимном отношении Хераскова и университета, среди библиографов существует разногласие; до недавнего времени считалось выясненным, что «издателем» «Полезного Увеселения» был Херасков, Один только Булич высказался не столь решительно; он говорит: «Вероятно Херасков, бывший потом куратором Московского университета и наполнявший своими стихотворными пьесами и прозаическими статьями книжки журнала, принимал как начальник деятельное участие в издании, вызывая студентов на переводы и стихотворения». (Н. Булич. Сумароков и современная ему критика, СПб., 1854, стр. 205). В 1907 г. Н. М. Петровский выступил против установившегося взгляда. Он говорит, что «из объявлений о «Полезном Увеселении», помещенных в «Московских Ведомостях» за 1759 (№ 76), 1760 (№ 81) и 1762 г. (№ 2, 20, 21—ср. в брошюре (В. Ф. Корша): Столетие Московских Ведомостей (1756—1856), Москва, 1857, стр. 119—121, 123, 124), видно, что этот журнал издавался от университета».¹

Следует, однако, согласиться с более старым мнением. В значительной мере, правда, разногласие порождено недоразумением, происходящим от недостаточной выясненности значения слова «издатель» в XVIII веке.

Прежде всего следует привести доказательства в пользу того, что руководителем журнала был именно М. М. Херасков. Таковым должно служить положительное свидетельство Новикова о том, что он был «издателем» «Полезного Увеселения». Это свидетельство повторяют митрополит Евгений и Анастесевич («Улей», 1811, ч. II, стр. 114). Сопиков также указывает на Хераскова, как на «издателя» журнала. Затем, именно Херасков в письме своем к Сумарокову от 25 марта 1762 г. хлопочет о доставлении от этого последнего материала для журнала;

¹ Н. М. Петровский. Библиографические заметки о русских журналах XVIII в.—Известия отд. р. яз. и слов. Ак. Наук, 1907, т. XII, кн. 2, стр. 296,

Херасков, а не кто-нибудь другой, прежде чем перейти с начала 1762 г от еженедельных выпусков к ежемесячным, просит разрешения на это у куратора (материал в архиве Московского университета). Повидимому, Хераскову принадлежат вводные статьи первого номера журнала и, несомненно, ему принадлежит программная статья о направлении журнала в первом номере его за 1761 год. Наконец, Херасковым дано журналу 142 пиесы, число значительно превосходящее соответствующие числа других сотрудников, кроме Ржевского (144 пиесы). К тому же, Херасков — единственный человек, который по служебному своему положению мог заведывать университетским журналом.

Переходя к разбору отрицательных аргументов, нужно сказать, что ни одного современного свидетельства против показания Новикова не существует. Возражения же Н. М. Петровского не имеют силы, в виду того, что объявления в «Московских Ведомостях», в указанных им номерах и еще в других, которых он не указывает, говорят о предполагаемом издании или же вышедших уже частях журнала «при Московском университете», и нигде не сказано, чтобы журналом руководил кто-либо помимо Хераскова, вообще ничего не сказано о том, кто руководит журналом. Лишь один раз, в самом первом объявлении в «Московских Ведомостях» от 21 сент. 1759 г. (№ 76), говорится, что будут издаваться Периодические Сочинения «От . . . университета». Вот это выражение и могло ввести Н. М. Петровского в заблуждение.

Повторяю, что решение вопроса затрудняется благодаря тому, что слова «издатель», «издавать» и т. п. употреблялись в XVIII веке не в том смысле, в котором они употребляются теперь. В XVIII веке «издателем» назывался руководитель и инициатор журнала, тот, который подбирал сотрудников, выбирал и, если надо было, исправлял материал и, наконец, часто писал сам больше всех в своем журнале; это понятие ближе всего подходит к позднему понятию «редактора». В этом смысле Новиков «издавал» не только «Трутенъ» или «Живописецъ» но и «Вечернюю Зарю» и «Утренний Свет»; Сумароков «издавал» «Трудолюбивую Пчелу» и т. п. Более того, «издателем» часто назывался просто автор того или иного произведения; так например, Херасков считает себя «издателем» «Бахарианы». («Бахариана», 1803, стр. 473). Новиков, в 1781 году, называет себя «издателем» Полного собрания сочинений Сумарокова, хотя он был и редактором его. Когда хотели обозначить лицо, на счет которого была издана книга, то писали, что она издана «иждивением того-то». Выражение же «при Академии Наук» или «при университете» значит только то, что книга напечатана в типографии одного из этих учреждений. Таким образом, свидетельство Новикова указывает на то, что Херасков был редактором и руководителем «Полезного Увеселения», а объявления в «Московских Ведомостях» на то, что журнал печатался в университетской типографии. Но выражение «Ведомостей» — «от . . . университета . . . издаваны будут» . . . говорит о другом; сюда же присоединяется и то обстоятельство, что Херасков все же должен был просить куратора о разрешении перейти на ежемесячник; повидимому, куратор имел власть над журналом. Ключ к решению этого вопроса дается легко.

«Полезное Увеселение» издавалось «иждивением» университета, т. е. на его средства; притом оно издавалось не как журнал частного лица, как «Трудолюбивая Пчела», а как журнал университета; это обуславливалось уже тем, что университет давал средства для его издания. Я представляю себе дело так: Херасков, поэт и глава обширной группы писателей, задумал издавать журнал. Для этого он воспользовался своим официальным положением асессора при университете и предложил конференции, а та предложила куратору соответствующий проект издания университетского журнала. Согласие куратора было получено; решено было издавать «от Университета» журнал; в этом решении, во всем проекте, Херасков был лишь чиновником; хозяином журнала должен был остаться университет. Но в университете всякая отрасль его хозяйства и деятельности была поручена специально ведению того или иного сотрудника. Поэтому нужно было выбрать чиновника, которому можно было вверить и эту новую отрасль. В период с 1755 по 1760 г. все части университетской организации, носившие просветительный характер, попадали в ведение асессора Хераскова; он управлял типографией и библиотекой, он был избран университетом для наблюдения и руководства московскими театрами, как русским, так и итальянским; вместе с тем асессор Херасков был поэтом и сумел организовать вокруг себя целую плеяду учеников и единомышленников; естественно, что Хераскову было поручено заведование университетским журналом; «Полезное Увеселение» — журнал, душой которого был поэт Херасков, но официально считалось, что журнал «издавался» асессором Херасковым «от университета». Это двойственное отношение писателя к своей работе, когда он, глава журнала, скрыт, а показано лишь лицо учреждения, в котором он служил, вполне согласовалось с обычаями эпохи. Припомним, что и оды Ломоносова иногда выходили без имени автора, «от Академии Наук», иногда же «от лица Академии» их «подносил» Ломоносов; так же точно от лица университета писал оды Херасков и многие другие. Но когда проходило некоторое время, официальный хозяин литературного произведения отпадал и оставалось имя истинного автора его. Так и здесь: Новиков уже знает только Хераскова, как «издателя» «Полезного Увеселения».

21 сентября 1759 года в «Московских Ведомостях» (№ 76) появилось следующее объявление:

«Будущего 1760 году с Генваря месяца от Императорского Московского Университета издаваны будут Периодические сочинения на Российском языке, в каждую неделю по одному листу, ценою в год на простой бумаге по 4 рубля, а на хорошей по 4 рубли с полтиною; и желающим оныя понеделньо или помещаю по получать, явиться заблаговременно у книгодержателя Вевера, или у его прикащика».¹

¹ Из этого объявления видно, что журнал мог выписываться и как ежемесячник; тогда, очевидно, подписчик получал по 4 номера сразу. Может быть, от этого обстоятельства произошла ошибка Новикова, называющего «Полезн. Увесел.» ежемесячным изданием.

Аналогичное объявление было помещено через год; в «Моск. Ведомостях» от 22 декабря 1760 г. (№ 102) читаем:

«Желающие получать еженедельные Университетские сочинения, называемые Полезное Увеселение в предь на 1761 год, могут явиться у Университетского книгопродавца Вевера; а цена оным будет по прежнему».

Впрочем, последнее замечание оказалось неверным. В 1761 году «Полезное Увеселение» стоило дешевле, чем в первый год издания, именно 3 р. в год. Это явствует из объявления, помещенного в той же газете от 4 января 1762 г. (№ 2): «Чрез сие объявляется, что издаваемые донныне при Императорском Московском Университете еженедельные листочки, впредь будут издаваться помесечно; а цена их в год имеет быть таж, что и прежде, а именно: три рубля». Может быть, также, что цена за журнал была понижена еще в середине 1760 года. Объяснить удешевление подписки можно тем обстоятельством, что издатели не выполнили обязательства выпускать каждую неделю по печатному листу. В самом деле, начав с номеров по 16-ти страничек in 8^o каждый, они очень скоро перешли на выпуск по 8 страниц, изредка давая опять номер журнала в полный лист. В течение 1760 года всего вышло 50 номеров; из них 10 номеров в лист и 40 номеров в пол-листа (в лист в I полугодии: №№ 1, 2, 3, 4, 18, 22, 24; во II полугодии: №№ 4, 13 и 14); в 1761 г. всего вышло 52 номера журнала; из них 41 номер в пол-листа и 11 — в лист (I полуг.: №№ 1, 9; II полуг.: 4, 10, 11, 13, 19, 22, 23, 24, 26). За 2 года собралось 4 тома журнала. В 1762 году журнал стал выходить помесечно. Каждый месяц занимает 3 печатных листа (48 страниц) кроме апреля, заключающего только 2¼ листа (36 страниц). Журнал выходил в конце каждого месяца. Так, 8 марта было объявлено в «Моск. Ведомостях» (№ 20):

«Чрез сие объявляется, что издаваются ежемесячные сочинения и переводы при здешнем университете, и оные как на январь, так и на февраль месяцы в книжной оногo университета лавке продаются: чего ради желающим оные покупать или в год, или порознь, явиться в книжной лавке, где и цена им объявлена будет».

Через несколько дней это объявление было повторено с указанием, что номер журнала стоит 25 копеек. («Моск. Ведомости», 1762, № 21, 12 марта). 4 июня в «Московских Ведомостях» (№ 45) объявлялось о выходе майской книжки журнала (и о продаже всех предыдущих выпусков, начиная с январьскогo; это объявление было повторено 11 июня, в № 47). Всего в 1762 году вышло 6 книжек «Полезного Увеселения». После июня месяца журнал прекратил свое существование.

Большинство пьес, помещенных в «Полезном Увеселении» не подписаны. Однако, есть возможность установить авторство почти всех их. Ключ к анонимным пьесам дает сам журнал. Просматривая его, мы то и дело замечаем перед отдельными произведениями римские цифры; однако, далеко не все пьесы обозначены ими; иногда после римской порядковой цифры следует две, три и более пьесы, иногда только

одна. Самые цифры расположены в восходящем порядке в пределах каждого тома (полугодия журнала). Далее замечаем, что если римская цифра объединяет несколько произведений, то под последним из них стоит подпись; иногда, правда, подпись находится под несколькими пьесами, находящимися между двумя римскими цифрами, но тогда это подпись одного и того же автора. Так, например, в № 18 II тома журнала за 1760 г. под цифрой XXXV находим и 6 мадригалов, и 7 эпиграмм, и 3 эпитафии-эпиграммы, и снова 5 эмиграмм, и идиллию, и басню «Бык и лягушка», подпись же «М. Х.» стоит лишь под последней пьесой. Таким же образом в № 13 I тома за 1761 г. после цифры XXI идут «Разные стихотворства», именно: 3 оды, 4 притчи, идиллия и 2 загадки, после чего стоит подпись «А. Ржевской». Наоборот, в № 19 первого тома за 1760 г. находим под цифрой XI I эпистола и элегию; каждая из пьес подписана буквами «М. Х.» Также в № 5 тома первого за 1761 г. под цифрой IX находится «Речь скифского посла к Александру Великому» в прозе, переведенная Андреем Нартовым, и вслед за нею стихотворения: «Отчаяние», «Г. Чемезову», «Деньги» и «На ученого Бомбаста»; под последним из них опять находим подпись «А. Н.», т. е. Нартов.¹ С другой стороны, общее правило таково, что под одной римской цифрой не может быть произведений, подписанных разными авторами. В течение двух с половиною лет журнал лишь один раз отступил от этого правила. Именно: в № 23 тома первого за 1760 г. под цифрой XLVI помещено «Письмо» С. Н/арышкина/, «Сонет» за той же подписью и, наконец, пьеса «Сон» из сочинений госпожи Де-зульер», переведенная Александром Кариным. Этот случай нельзя объяснить иначе, как ошибкой издателя или даже наборщика². Примечательны также случаи, когда два рядом стоящие произведения одного жанра, объединенные общим заглавием, разделены все же особыми для каждого из них римскими цифрами, повидимому, только потому, что под ними стоят разные подписи. Так, например, в № 21 тома первого за 1760 год имеем после цифры XLIII заглавие «Молитвы», затем «I» и стихотворение А. Нартова; потом идет цифра XLIV потом «II», т. е. вторая молитва и, наконец, стихотворение, подписанное «М. Х.». Аналогичный случай, например, в № 5 тома второго за 1760 г.: цифра XII, заглавие «Плачу и рыдаю» и пьеса Нартова, затем — «XIII» и пьеса А. Карина, при которой то же заглавие, относящееся и к ней, пропущено. Все эти наблюдения заставляют меня признать следующее: римская цифра обозначает, что все следующие за ней произведения

¹ Конечно, бывают и случаи, когда две рядом стоящие пьесы имеют каждая свою римскую цифру, хотя принадлежат одному и тому же автору.

² Еще более очевидна опечатка в № 17 тома первого за 1761 г., где просто пропущена цифра XXXII, долженствовавшая быть перед «Стансом» Богдановича, т. к. находящиеся перед ним стихотворения А. Карина обозначены цифрой XXXI, а находящиеся после него стихотворения Ржевского — цифрой XXXIII. Не нарушает также правила объединение в № 24 тома второго 1761 г. двух сонетов А. Нарышкина и Ржевского под цифрой XXXIX, т. к. это сонеты «Сочиненные на рифмы, набранные наперед», т. е. они составляют вместе как бы одно произведение.

принадлежат одному автору и как бы отделяет друг от друга произведения разных авторов. Благодаря римским цифрам том журнала распадается на ряд как бы небольших отделов, каждый из которых заполнен одним писателем. Другого значения римские цифры, повидимому, иметь не могут. Таким образом, приняв во внимание, что все анонимные пиесы, помещенные под одной римской цифрой с подписанной пиесой, заключающей ряд, принадлежат тому же автору, что эта последняя пиеса, мы можем с легкостью выяснить принадлежность почти всех произведений, помещенных в «Полезном Увеселении» тем или иным авторам. Если мы к этому основному способу прибавим еще некоторые другие, то у нас останется для всех пяти томов журнала только лишь 19 пиес, неизвестно кому принадлежащих.¹ Разумеется, что значение римских цифр в журнале было понятно современникам и, следовательно, для них только эти 19 пиес оказались анонимными.² Не меняло дела и то обстоятельство, что большинство подписей заключается в одних инициалах. Столичный читатель знал, конечно, имена всех писателей данного момента, а тем более всех сотрудников университетского журнала, и легко мог раскрыть инициалы.³ Обилием подписанных произведений «Полезное Увеселение» выделяется среди других журналов середины XVIII века. Почти во всех из них значительная часть пиес была анонимна; так было дело и в «Ежемесячных Сочинениях», и в «Праздном Времени», и потом в «Добром Намерении», и в «Невинном Упражнении» (все пиесы анонимны), и потом в журналах 1769 года и т. д. Наоборот, в «Грудолобивой Пчеле» Сумарокова все пиесы подписаны. Следовательно, в этом отношении «Полезное Увеселение» взяло пример с Сумароковского журнала. С другой стороны, оно следовало примеру «Праздного Времени», т. к. именно этот журнал был первым в России еженедельником (с 1750 г.). Весьма часто бывало так, что все пиесы данного номера «Полезного Увеселения» принадлежали одному автору; такой номер являлся как бы сборником произведений этого автора. Так, Херасковым были заполнены в 1760 году 15 номеров (I т.—1 (?), 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19; II—7, 8, 10, 17, 18) и в 1761 г.—4 номера (I т.—№ 4; II—8, 12, 18); Ржевским были заполнены в 1761 г. 9 номеров (I т.—13, 18, 21, 24; II—5, 6, 10, 15, 21); Богдановичем в 1761 году 3 номера (I т.—11; II—2 и 9), А. Нарышкиным—один (I т.—№ 20) и т. д. Иногда весь номер заполнялся одной пиесой: или это была торжественная ода (1760, т. I, № 17), или обширная эпистола (1761, I, 12) или, чаще всего, прозаическая статья (1760, т. I, № 20; II, № 3, 13, 16, 23; 1761, т. I, № 7 и т. д.). Ника-

¹ Ни Неустроев, ни другие, работавшие по изучению русского журнала XVIII века, не обратили внимания на римские цифры в «Пол. Увес.» и потому оставили анонимными значительную часть пиес, помещенных в журнале.

² Тем более, что и в других журналах римские цифры значили то же самое. См. напр., в «Ежемес. Сочинения».

³ Сомнение могло быть лишь относительно подписи «А. Н.», т. к. было два поэта с этими инициалами—Нартов и А. Нарышкин. Впрочем, и произведения, подписанные этими инициалами в «Полезном Увеселении», могут быть с основанием уточнены в отношении их авторства.

ких отделов по принципу разделения журнальных жанров в «Полезном Увеселении», как и в других журналах середины XVIII века не было; произведения печатались попеременно: стихи с прозой, эпиграммы с псалмами и баснями и т. д.

(⁸) *К стр. 37.* Так, И. Соколов в статье «Комедии и трагедии и все драматические сочинения или служат к исправлению нравов человеческих, или больше их развращают» («Пол. Увес.», 1760, I, 121) оспаривает мнение, что в комедиях даются примеры, как обманывать родителей и господ, что «там в прелестном платье жены и девицы представляют, которые словами и поступками своими молодых людей в развращение приводят». Наоборот, по мнению Соколова, обманам и т. п. легче научиться «из общей жизни», чем в театре» «сие сходнее, что господа и родители научаются из комедии предостерегать себя от плутовства их. А слуги и молодые дети, будучи известны, что чрез комедии хитрости и обманы их наружу выходят, то для сей причины иногда воздерживаются, чтоб не попасть в то ж самое неблагополучие, в какое комедия обманщика низвергла... также комедии «дают нам знать, в каком посмеянии бедные любители у неверных любовниц своих, или как оне от них корыстуются и иные многие печальные следствия любви изображают». Далее он переводит вопрос в принципиальную плоскость: «А что не все мы из них научаемся, как жить добропорядочно, то еще это не доказательство, что оне в себе не имеют пользы; довольно и того, если разумные люди, что до счастливой жизни касается, некоторые правила из них почерпают. Ибо ученые люди не скоро назовут то вредным, из чего некоторая польза произойти может». Законы пользуются другими средствами для исправления; но «я и комедиям, без ущерба законов, великую силу приписываю; по тому что законы, наказания и прочие жесточайшие средства чаще от одного только упрямства в нас производят пороки, нежели укрощают их. Напротив сего подверженных людей порокам с лучшим успехом можно исправить, когда насмешка соединена будет с некоторою приятностью. Сверх сего, сочинения на театре такую удивительную силу имеют, что все порочные люди: честолюбивые, скупые, легкомысленные, ветренные и непостоянные, ласкатели, когда гнусность своих пороков увидят, исправляются удобнее, нежели важными увещаниями, за которые многие у друзей своих пришли в великую ненависть»... и в другом месте: «Ибо, когда представляются на комедии людские пороки, как они гнусны, мерзски и предосудительны, и в каком у всех зрителей посмеянии, не всяк ли смотря на сие исправится может?» Те же мысли повторяет и А. Карин в своем «Письме» (1761, I, 105); и он приводит суждение хулителей театра и возражает им; они

Трагедию зовут душевным искушением,
Комедию ж честных поступков развращеньем;
Но чем удобней лъзя исправити наш нрав,
Как в зрелище таком пороки описав?
Словесно зеркало оно нам представляет,
Пороки худши в нас забавой исправляет.
Она примеры нам дает, как в свете жить,
И от страстей себя вреднейших как хранить.

Невежи, знайте, что, под образом забавы,
Она испорченны в нас исправляет нравы.
В незнаньи говоришь: все на театре врут,
И что комедиант один великий плут;
Дурачит своего он тамо господина,
И как обманывать отца, он учит сына.
Изрядна речь твоя, хвалю твой быстрой ум:
Но кажется, в главе твоей с природы шум.
И так с болезни сей она не понимает,
Комедия чрез то в себе что заключает.
Она стеречься нам пороков тех велит,
И на обман слуги склоняться нам претит.
Но винен ли творец такого сочиненья,
Что не имеешь ты ума и рассужденья,
Худого с добрым что не можешь разобрать,
И что там говорят, не можешь ты понять?

Комедия... те все стремнины открывает,
Которые нам страсть цветами засыпает.
Трагедия—пример владыкам и князьям,
Как должно сыскивать им путь в бессмертной храм... и т. д.

Так же понимали сотрудники «Полезного Увеселения» назначение других, не драматических жанров литературы.

Подробно рассматривает вопрос о назначении поэзии С. Домашнев в своей статье «О стихотворстве» (1762, стр. 195). Он останавливается на роли, которую поэзия играла в культуре древнего мира, говорит о том, что Платон и Цицерон осуждали ее с точки зрения своей религии; но сам он не согласен с этими мудрецами; он защищает поэзию и утверждает, что даже в те времена заблуждения она приносила только пользу. «Однако, несмотря на все, есть и в нынешние времена церберы сего прекрасного искусства». Он оспаривает их мнение. Затем он утверждает: «Главнейшее старание стихотворства было всегда исправление нравов, и для достоверности в том надлежит только рассудить особенное намерение всякого стихотворного сочинения. Эпическая поэма стремится дать нам полезные наставления, скрытые под аллегориею важного и геройского действия. Ода прославляет дела великих людей и побуждает других им последовать. Трагедия внушает в нас омерзение к беззаконию в рассуждении плачевных следствий, кои оно влечет за собою, и почтение к добродетели в рассуждении справедливых похвал и награждений ей последующих. Комедия и сатира исправляют нас увеселяя и ведут непримиримую войну с пороками и смешными обыкновениями. Элегия проливает слезы над гробом человека, которой достоин сожаления. Эклога¹ воспевает непорочность и утеху полевой жизни. Естьлиж после употребляемы были сии различные роды сочинений к чему ни есть другому, то в сем случае отвращены они от естественного их пути. А с начала все они стремились к одному концу, которой был, сделать людей лучшими».

Как кажется, несколько противоречиво звучит по отношению ко всем размышлениям Домашнева следующий отрывок, предшествующий приведенному: «А хотя в нем (т.е. в стихотворстве) и есть сочинения,

¹ Напечатано, несомненно, по ошибке,—«Элегия».

не заключающие в себе ничего кроме приятности; но разве не позволено человеку искать себе оных, а особливо, естли то без всякого предосуждения добродетели сделаться может? Мы имеем живопись, архитектуру, музыку и прочие прекрасные художества, которые, выключая увеселения наших чувств, не приносят другой пользы; но в рассуждении сего никто их не презирает».

Впрочем, может быть следующая за этим фраза примиряет мысли автора: «Стихотворство приятностию и живостию изображений умягчает строгость наставлений, которые без сих украшений были бы многим несносны и отвратительны».

(7) *К стр. 42.* Явственно автоапологетический характер (по отношению ко всей литературной группе, конечно) имеет «Письмо» А. Ржевского,¹ посвященное все той же теме о клеветнике (П. У., 1761, I, 67):

О вы, которые яд зла в себе таите,
И добродетели невинные тесните,
Иль лучше так сказать, стремитесь утеснять,
За что меня, за что стараетесь пожрать?
За то ль, что я храню святую добродетель?
В чем может всяк из вас неложной быть свидетель,
За то ли, что и вам злодеем не был я;
За то ли, что для всех чиста душа моя... и т. д. до конца
И так не можно быть в союзе вам со мной:
Век будет брань вести язык со мной ваш злой:
Век слыша клеветы я буду насмехаться:
Хоть век питайте злость, век буду утешаться.

Намеком на неких недоброжелателей, злонамеренно истолковавших какое-то произведение (басню?), вышедшее из среды поэтов «Полезного Увеселения» (Хераскова?) звучит и «Эпиграмма на криво-толков» Хераскова (П. У., 1761, I, 192).

Повидимому, указание на реальные отношения заключено и в статье Ржевского «Письмо к Г... Х...», т. е. к г. Хераскову, составляющей как бы ответ и продолжение статьи последнего «О Повадках» (П. У., 1761, июль, № 3. Письмо Ржевского: П. У., 1761, авг., № 5). Ржевский начинает статью: «Государь мой. Вчера будучи у вас читал я описание анатомических ваших примечаний о повадках приключаящихся от острых соков; и как возвратился домой, то вспомнил о некоторых двух из моих... или о етом позвольте мне промолчать, о двух моих согражданиях, которые порочили мои стихи, не читая и никогда не выдаючи их; а порочили за то, что я им не кланяюсь...»

Далее почти вся статья посвящена сатире на клеветников, причем сам герой («я» — автор) вызывает острое раздражение у большого манией клеветничества.

Наконец, прямо против стихов и кружка друзей, явно, что против стихов «Полезного Увеселения» и кружка Хераскова выступает

¹ «Письмо» опубликовано в журнале анонимно; его авторство устанавливается по списку опечаток, приведенному на стр. 96 за подписью А. Ржевского, относящейся как к этому списку, так и к предшествующим ему двум стихотворениям.

недоброжелатель, изображенный в стихотворении Хераскова «Клеветник» (1761, № 22, декабрь, стр. 207); клеветник говорит здесь:

Могу ли я тогда яд в сердце удержать,
Могу ль уста зажать,
Когда собрание я дружеское вижу,
Чего я ненавижу?...
Да только тем одним в печаль меня ввергают,
Что нас в стихах ругают.
Но я оборочу на них свои грехи,
Начну ругать стихи;
Хотя я ничего в стихах не разумею,
Но я ругать умею,
И разглася, что в них сокрыт всеобщий вред,
Своих избавлюсь бед.

Здесь же имеется в виду доносительный характер «клеветы» на поэтов «Полезного Увеселения». Херасков отвечает «клеветнику»:

Стремися, клеветник, стремись на стихотворство,
Кажи свое проворство:
Но как душа твоя для всех полна вреда,
Так стих — твоя беда.
Хоть сеешь плевелы когда и сам с собою,
Стихи всегда с тобою.
Зачем они с тобой, я должен об'явить:
Чтоб честность защищать и чтоб тебя язвить.

В течение всего своего существования журналу приходилось испытывать по поводу всей деятельности группы его сотрудников нареkania не только эстетического порядка. О «клеветниках и вреде их в обществе и в быту см. также в «Полезном Увеселении» следующие произведения: Херасков. О клеветнике, 1760, I, 107; Новизна, 1760, II, 106; Общее желание, 1760, II, 237; И. Богданович. Епистола, 1761, I, 21; Сказка, 1761, I, 98; Херасков. Прибаска, 1761, II, 71; его же, Эпиграмма, 1761, II, 207; А. Ржевский, Сверчки и клеветники, 1761, II, 232; Херасков. Комар, 1762, стр. 93 и др. Ср. также примечательную «Сказку» Хераскова (1761, II, 241), где описывается философ, принявшийся исправлять людей (и «самых знатных»), но его наука — «лекарство, а не жало, Для всех испорченных сердец, А то лекарство раздражало Сердца злодейски наконец, И обратилось в огорченье Философу его ученье. Его рассудок самой здоровой Вредительным описан был, Советы названы отравой, Что общей он покой губил; Но мой философ клеветою Пренебрегает, как мечтою...» Едва ли весь этот отрывок не метит на самого автора, на его друзей и их общих врагов. Не указываю других более мелких фактов.

(8) *К стр. 4* Прозаическое письмо Хераскова дополняют предпосланные ему два объемистые стихотворные «письма» А. Нарышкина и Ржевского. Последний дает пространное изложение ряда моральных идей; примечательно, что он различает здесь слабости, т. е. безвредные недостатки, свойственные слабой человеческой природе, от зла, т. е. вменяемых действий, приносящих вред.

Довольно в свете сем утех для человека,
Для нашей брeнности, для временного века,
Везде приятности для наших глаз растут,

Довольно и сердца утех здесь обретут.
 Хоть слабостям и все утехе те причастны,
 Но мы и рождены все слабостям подвластны.
 В нас страсть желание и действие творит,
 Она движение сердечное чинит.
 Лишь должно нам во всем рассудку подвергаться.
 А ум наш с истиной довлеет соглашаться.
 Чтоб добродетель нам вождем всегда была,
 Чтоб не были ни в чем причастниками зла;
 Чтобы подобного себе не утесняли,
 Чтоб общей пользе все желанья подвергали.
 Не свойственно отнюдь быть столь суровым нам,
 Чтобы ругаться всем светским суетам.
 Кто строго в свете все, гордятся, презирает,
 В сугубой слабости всегда тот утопает.
 Теряет радости, теряет он покой,
 Теряет: для чего ж? для славы лишь пустой... и т. д.

Разграничению «слабости» и «зла» («Не нужно и нельзя нам слабости не знать, Лишь должно гнусну злость из мысли истреблять» — говорит Ржевский) суждено было выступить в русской журналистике через несколько лет с особым значением. О слабостях и незаконности сатирической борьбы с ними шла в 1769 году полемика у «Всякой всячины» с «Трутнем». Позицию отказа от прямой борьбы вообще, а против слабостей в особенности, заняло и «Полезное Увеселение».

Адресуясь к московскому дворянству, поэты «Полезного Увеселения» адресовались к братьям по классу, хотя бы и не желавшими слушать их и доверять им. Здесь не было оснований к значительному расколу и к осуждению основ. Иное дело, если речь шла не о дворянстве, а о «подьячих»; здесь шла борьба социальных сил не на жизнь, а на смерть, и потому так резки, так «сатиричны» нападки на подьячих у Сумарокова и у его учеников, хотя сатира их вовсе не была адресована самим этим подьячим. Иной смысл имел, конечно, спор о сатире и о слабостях в 1769 г., поскольку вся историческая ситуация резко изменилась. Тогда дворянской интеллигенции пришлось бороться открыто, и она схватилась за сатиру. Но Екатерина II не хотела этой борьбы, и она протестовала против сатиры.

Теперь же, в начале 1761 года, А. Нарышкин в своем «Письме к А... Р...» принципиально восстает против осмеяния чужих действий (имеются в виду действия дворянства, которое только и интересует «Полезное Увеселение»). По его мнению, лучше исправить самого себя, и тем самым воздействовать на общество, чем винить другого. В этом — путь к царству добродетели на земле, к всеобщему блаженству. Он начинает так:

Коль слаб наш, Р/жевский/ ум! в пороках утопая,
 Виним других дела, себя не понимая.
 Не лучше ли свои пороки примечать,
 И добродетельно их тщиться исправлять?
 Мы волей высшего творца всея вселенной
 Для жизни созданы на свете благоденной
 Для пользы вместе всех здесь каждый сотворен,
 Последней человек сообщества есть член.
 Всяк должен в свете сем зло истреблять стараться,
 И миролюбно лишь правдой утешаться;

Но как же можно нам то зло искоренить,
Коль не стараемся друг друга мы любить?
Увидя в ком порок, смеемся и ругаем,
Не добродетель тем, мы зло лишь размножаем.
Когда бы истинно друг друга всяк любил,
И тоб за первую на свете должность чтил,
Увидев бы в другом порок, он не смеялся,
Но убежать того порока-б сам старался,
И исправляючи так каждый бы себя,
Исправили бы свет, все зло изотребя.

Дружба — вот панацея от моральных зол, к которой призывает
Нарышкин:

О слабость, бедное участие людей!
Зло хуля, в то впадать, есть доля жизни сей.
О дружба, где живет всегда не лестна верность!
В тебе коль может быть простительна чрезмерность:
Ты ненавистница дел будучи худых,
Будь исправителем пороков днесь моих;
.....
Храм добродетели, где истина живет,
Где к ближнему любовь питается, растет,
Где человечество драгое обитает,
Куда уклониста войти лесть не дерзает;
С открытым сердцем я теперь к тебе иду,
И коль есть счастье где, так я в тебе найду.

В поэтической переписке Нарышкина и Ржевского вопрос о порицании пороков был поставлен на общеэтическое почвѹ. Этот же вопрос, более конкретно, в применении к определенным литературным жанрам, разрешает в том же смысле Ржевский в «Притче о сатире» (1761, II, 94). Здесь сатира разделяется на два вида, причем признается лишь один вид ее — сатира осторожная, «без зла» (и «без зависти»), другой же вид порицается.

Как истину изгнали,
Из града люди вон;
Пороку власть отдали,
Ему восставя трон;
Насильство и обманы
Власть стали разделять;
Когда сии тираны
Всех начали терзать;
То истина святая
В изгнании от них,
На хищну власть взирая
Губителей своих,
Пошла просить у Музы,
Защитницы своей,
Чтоб разрешила узы
Нешастливых людей.

.....
Та склонность показала
Любимице своей
Сатиру ниспослала
Она в защиту ей.
Порок стал в утесненьи
От справедливых муз,
Нашел и он спасенье
От сих тяжелых уз.

Он сам родил сатиру,
На зависти женясь,
И стал вторично миру
Владелец он и князь.
Так неотменно должно
То всем нам наблюдать,
Писать чтоб осторожно
И перьвой подражать;
Пороки утеснять,
Сатира чтоб была,
Чтоб правду защищати
Без зависти и зла.

Еще более определенно высказался Херасков в одной из своих «Прибасок», (1761, II, 72). Здесь дана целая программа творчества в отношении к морали, повторяющая основные мысли его же «Письма» в начале года. Вот эта прибаска:

Не пышною славой
Мой дух заражен,
Не злобы отравой
Пишу разозжен;
Не мечь и досаду
Мой стих принесет,
Но честным отраду,
Порочным совет¹.
Со шпагой гоняться
И слабых¹ рубить,
То может назваться,
Стихами бранить.
Отечеству должно
Услуги казать,
А глупых возможно
Немножко тазать.
Довольно без брани
Терзаемся мы,
С дурачества дани
Не емлют умы.
Любители друг друга
Велит нам закон,
Друг другу услуга
Смягчает наш стон.
Дар малой природа
Иметь мне дала,
Для пользы народа
К стихам привела.
Тружусь добродетель
В стихах превознести,
Того я радеть,
То ставлю за честь.

В самом деле, среди произведений, помещенных в П. У., сатирических немного. Из конкретно-сатирических тем, имеющих в виду специфические явления общественной современности, освещаемые с точки зрения мировоззрения группы «Полезного Увеселения», выделяется, во-первых, унаследованная от Сумарокова тема — подьячие (впрочем, гораздо менее подчеркнутая, чем у самого Сумарокова), тема дворян-

¹ Разрядка моя.

ской некультурности и пустоты бессмысленной жизни, наконец, тема клеветника.

В 1761 году, после окончательного установления позиции журнала, сатира в нем играет еще меньшую роль как в смысле количественном, так и в смысле степени ее конкретности.

К вопросу о сатире в «Полезном Увеселении» можно подойти и с другой стороны, вполне согласуя, однако, и этот путь исследования с соображениями, высказанными выше. Понятно, что осмысление речи, слова как орудия высказывания и идеологической активности, характерным образом выражает основные тенденции литературного, а также и вообще мировоззрительного мышления данной эпохи в пределах данной социальной группы. Слово в дворянском искусстве 60-х годов было плоско. Оно должно было представлять собою тоже замкнутую систему, феодально укрепленную своими логическими признаками и непроницаемую для внеположных систем, так же как для внеположных целей и применений. Поэты в эту эпоху требовали уважения к сословному качеству поэтического слова, т. е. благородного, благородного от разумной идеи прекрасного. Слово не должно было служить элементарной коммуникации — так, по крайней мере, думали люди, создававшие и воспринимавшие словесные произведения данного круга. Оно воздействует тем, что конструируется в сложных композициях, соответствующих заданиям «правил» и приспособленных для осуществления идеала прекрасного, т. е. в то же время и морально ценного.

Слово должно задерживать на себе, на ткани произведения как словесной конструкции, внимание читателя, тем самым отрешая его от его бытовых интересов. Сознание читателя (и писателя, конечно) должно было разделиться на отделенные друг от друга «способности», сферы интересов и мышления, оно должно было подвергнуться иерархической классификации; обращаясь на высокое — на поэзию, сознание должно было выключить все другие, в особенности более «низменные», т. е. менее отчетливо приведенные в систему, практические сферы своего бытия, например, чувственное восприятие природы, человеческие конкретные ощущения и т. п. Именно такая установка могла осуществить идейную слепоту на реальность, например, крепостного права. Для этого самое словесное произведение стремилось исключить возможность восприятия в нем элементов внеконструктивных, внеэстетических, — по понятию данной группы внеразумных в смысле рационального анализа мира. Сознание различало в словесных образованиях элементы, по представлению данной литературы, самостоятелно-словесные, эстетические, от таких, которые не специфичны ни для слова как такового, ни для эстетического канона. Такими элементами оказывались прежде всего чисто-сюжетные возможности слова и его практически-активные функции; и те и другие должны были быть изъяты.

Сюжет произведения, мыслимый сам по себе как фабула, как реальный или псевдо-реальный факт, не специфичен для слова; он является как бы транссловесным фактором речи. Он может быть

воплощен и в пантомиме и в ряде рисунков. Такой сюжет может провоцировать интерес читателя к элементам произведения, стоящим как бы вне зависимости от словесной ткани, а это было недопустимо. Даже в трагедии, произведении неизбежно имеющем элементы фабульности, интерес фабулы, ее увлекательность были устранены прежде всего тем, что зритель почти всегда знал исход пьесы и самый ход ее, поскольку тема ее — историческая или историко-мифологическая. Я говорил в свое время в другом месте о том, как Сумароковская школа трагедии сводила ее к драматизированной элегии, стремясь выветрить даже скромные элементы сюжетного сплетения. Следовательно, и снятия сюжетного интереса путем осведомленности читателя в ходе фабулы было недостаточно. Драматизм интриги должен был замениться пафосом эмоционально-идеологического ряда.

Главными, почти исключительными сферами творчества даже в прозе, были лирика и потом медитация, дидактика. Повествовательные жанры не жили в этой системе.

Литература этой эпохи боялась того, чтобы читатель не увлекся фабулой, не представил себе героя произведения «как живого», т. е. вне слов, его созидующих. Если бы персонаж произведения был нарисован так ярко, так индивидуально, так специфично, что читатель мог бы «узнать» его в жизни, т. е. видеть его между строк, между слов, что он возникал бы как «образ» из произведения или над ним, — вся система искусства оказалась бы попорченной. Читатель читал бы не слова и только слова, а сквозь слова стремился бы уловить образ человека. А это было нежелательно. Человек — достояние жизни, быта. Достояние литературы — эстетически оформленное слово. Слово не должно быть прозрачно так, чтобы через него можно было увидеть людей и мир; наоборот, довлея само себе, оно должно было закрывать мир, создавая его по своим законам. Оно не проницаемо. В то же время оно не ведет читателя вглубь, от поверхности фонетики и ближайшего смысла в перспективу осмыслений практических, философских, бытовых. Его семантический резонанс минимален. То же, что сказано о персонаже, можно сказать и о мире, зримом, слышимом, неповторимо-индивидуальном, о пейзаже, о вещах. Живой образ всего этого разорвал бы хрупкую ткань эстетической словесной конструкции. Читатель увидел бы не искусство, а жизнь, — так думал человек круга Хераскова: а только искусство — область прекрасного, мудрого, благого (вместе с неотделимой от него наукой); жизнь — безобразна, не подведена под рубрики чистого рассудка, не добра, не умна, не создана по схеме рациональной системы; вторжение ее в искусство убило бы его; оно было бы подлинной революцией, и не только в литературном, а и в социальном смысле, потому что «жизнь», конкретная, нерационализированная «жизнь», единичная практика — достояние «низов», а достояние дворянства — «благородная» мысль, отвлеченная и схематическая.

Поэтому поэзия середины XVIII века лишена «изобразительности», как ее понимали позднее, лишена яркой образности в духе реализма или даже романтизма. Она не видит природы, не видит реальных

простых вещей. В ней нет и образов индивидуальных людей, нет персонажей, построенных так, как построены, напр., персонажи романов XIX века или хотя бы байронических поэм. Ее герои — схемы, маски, так же как ее мир — мир схем, мир рационалистического лиризма и отвлеченной мысли. Отсутствие живых людей и образов реального мира в литературе эпохи Сумарокова и Хераскова — не признак отсутствия умения изображать, а характерная черта стиля, то есть мировоззрения в слове. Еще более, чем персонаж и зримый мир, возникающие из слов, но в сознании читателя перерастающие заключающие его слова, оказывающиеся как бы независимыми от этих слов — каноны поэтического мышления классицизма (а ведь именно, классицизм и был формой литературной мысли аристократической помещицкой интеллигенции середины XVIII в.) исключали из своего кругозора самоценный, самодовлеющий сюжет. Сюжетный интерес, интерес к самим изображенным событиям и фактам, рвущимся за частоклол слов, был опасностью, угрожавшей классической литературе, но в течение ряда десятилетий подавляемой ее авторитетом. Увлечательность — враг литературы, создаваемой Херасковым, его современниками, его учителями. Они требуют от читателя, чтобы он читал литературное произведение медленно, взвешивая каждое выражение, воспринимая изящное равновесие ритмической фразы, взвешивая поэтическое достоинство каждого слова именно как поэтического слова, то есть ощущая в нем прежде всего его функцию отрешенности, его эстетический колорит. Читатель, который торопится узнать, что произойдет с героями, который глотает страницу за страницей, следя лишь за развитием событий, который переживает эти события как подлинные события, совершает величайший грех против искусства, вообще против истины — такова была концепция русского дворянского классицизма.

Такой читатель разрушает систему логических взаимоотношений между замкнутыми сферами бытия, он отказывается от классификационных устоев мышления, стирая грань между рационалистически разделенными мирами: миром искусства и миром вещей, быта, житейских событий. Сочувствуя героям, волнуясь за них, он как бы погружается в мир обычных человеческих чувств и интересов. Он забывается, теряет ощущение отчетливой ясности восприятия, он подчинен не чистым законам истины и красоты, а «вульгарному» чувству волнения, жалости или еще чему-то в том же роде, он теряет самообладание: нет хуже греха против рационалистического мышления дворянского классицизма. Аристократ середины XVIII в. обязан был владеть своей мыслью, владеть своей волей; искусство должно было укреплять его на путях воспитания логики его воли, а не одурманивать его увлекательностью. Оно настаивало на спокойствии, на легкости восприятия, на незыблемости законов (которые могут быть поколеблены взволнованным чувством) как на своей основе. Мир аморфный, не раскрытый в своих вечных законах ни мыслью, ни законом прекрасного, мир безобразный и «низменный», т. е. бессмысленный, врывается в ясную область поэзии, ломает все рамки, все перегородки и все определения.

Жанр — основа логики в поэзии, основа самой поэзии — разрушен в сознании такого презренного читателя; не все ли ему равно, в конце концов, стихами или прозой пишет автор, — ведь ему важно знать, что случится дальше. Он не замечает слов, слова для него только форма. Вот здесь скрытое главное. Такой читатель различает форму от содержания; он интересуется только содержанием, игнорируя форму. Для людей, создававших дворянскую литературу 40-х и до 60-х годов это различие не существовало.

Но как только победил «презренный» читатель, увлекающийся сюжетной книгой, как только появилась такая книга, как только литература перестала претендовать на роль таинства истины и красоты, доступного только людям высшей, родовой культуры и стала развлечением или практически полезным делом, — родилось содержание как историческая категория. Оно стало центральным понятием художественного мышления после того, как «презренная» литература фабульного интереса завоевала высоты лирической поэзии, казалось, недостижимые. Это завоевание совершил Державин.

У писателей додержавинской поры не удавался эпос. Это понятно. Их система, не позволявшая им оперировать элементами «содержания», элементами слова, мыслимыми, как внесловесное в слове, не допускавшая развития ни сюжетности построения, ни индивидуального героя, ни даже описательной подачи мира природы и вещей, не давала им материала для большого произведения. В прозе в это время писали торжественные речи, построенные как лирические или лиродидактические произведения. Писали и журнальные статьи сатирического характера или рассуждения. Журналы этого периода чаще всего почти не имели журнальной формы. Это были цельные книги, разделенные на части внешним образом и выходящие по частям. Читатель, покупавший их частями, в конце года переплетал эти части в один или два тома; части были тоненькие и даже пагинация была сквозная на целое полугодие или год; даже титула иной раз не полагалось при каждом номере журнала. Переплетенный том уже ничем не отличался от других книг. Он переиздавался потом через много лет и не терял своего смысла и значения¹. Но журнал не был укреплен логикой жанровых законов. В системе литературных классификаций он был «ниже» других законных жанров; включая в себя произведения различных жанров, он терял жанровую определенность. Периодичность выхода в свет соблазняла (полемика общественная и литературная была первым соблазном).

Признаки опасности появились прежде всего именно в журнале. Рядом с журналом издавалась газета. Газеты (их было две — по одной в Москве и Петербурге) имели совершенно практический характер; они были вне «настоящей» литературы. Они заполнялись известиями — информационными, официального характера и объявлениями. Деловые цели и того и другого отдела газеты стояли вне сомнений. Никакому эстетическому канону газета не была подчинена.

¹ О характере журналов середины XVIII в. имеется ненапечатанная, к сожалению, работа А. Я. Кучерова.

Газета не могла не влиять на журнал. Нужно помнить, что издательский механизм был сходным в обоих видах периодической прессы. Внешне непереходимого различия между ними не было. Газета, выходящая два раза в неделю тетрадкой в четвертую долю листа и занимавшая половину печатного листа, не отличалась по типу от журнальчиков, выходящих нередко каждую неделю тетрадками в восьмую долю, занимавшими от половины до целого печатного листа.

Полемические выпады против врагов и «гонителей», против определенных лиц появляются уже в журнальных статьях у Сумарокова (1759 г. — «Трудолюбивая Пчела»). Позднее, в 70-х годах газета начинает явственно проникать в журнал. Но она не может разрушить старые устои. Происходит механическое соединение газеты и журнала. Журнал включает в свой состав два отдела, газетный и журнальный (см. «СПб. Вестн.»). И тот и другой замкнуты старыми традиционными формами. Но самое соседство под одним титулом «литературы», «законнообразного» творчества с незаконной газетой, несущей свои внеэстетические жизненные интересы и цели, симптоматично.

Между тем, уже с 1769 года вновь всплывает вопрос о сатире в журналистике и более резко, чем раньше. Дело в том, что сатира может отнестись к использованию речи так же, как сюжетная проза или поэма. Сатира общественно-активная, сатира «на лицо» — бьет прямо «в жизнь», разрывая замкнутую ткань словесного ряда. Она практична, газетна, не подчиняется бесстрастию закона прекрасного.

Именно против такой сатиры и протестовал в начале 1760-х годов журнал Хераскова. Теперь, в измененных условиях, именно такая сатира побеждает.

Тогда же, в начале 60-х годов, устои классической поэтики были еще крепки, — и в журнале и в отдельных поэтических жанрах. Поэтому-то и не выходили большие поэмы в эту эпоху, что требования поэтики, пред'являвшиеся к поэме, высокому или хотя бы каноническому жанру, не могли быть соединяемы с сюжетным или описательным стержнем, ведущим значительный по объему материал. Еще Кантемир начал писать поэму о Петре I — «Петриду»; дело не пошло дальше первой песни. Попытка Ломоносова была не более удачна. Взявшись за дело с большим творческим напряжением (см. «Записку» Штелина — Мат. для ист. р. лит. П. А. Ефремова, 1867, стр. 165), Ломоносов оборвал поэму уже на второй песне; что-то мешало построить ее; это что-то сводилось прежде всего к внутренней противоречивости поэмы в пределах классической художественной системы. Не избег соблазна выступить с поэмой и Сумароков, но его попытка привела к еще меньшим результатам. Его «Дмитриада» включает всего только одну страницу.

Пришлось оставить попытки создать эпическую поэму и итти необходимыми путями.

Поэму надо было строить на тех элементах поэтической речи, которые были в ходу и были узаконены. Этим путем пошел Херасков. Он развернул медитативно-дидактическое стихотворение, эпистолу, до размеров небольшой поэмы. Примечательно, что для первого опыта

расширения стихотворения с целью механического получения поэмы была использована именно эпистола, жанр и без того допускавший весьма крупный объем произведения. Между сумароковскими «письмами» о русском языке и о стихотворстве и дидактической поэмой Хераскова «Плоды Наук» (1761) различие не велико. Но «Плоды Наук» разделены на 3 песни, и каждая песня построена по своему плану (планы песен используют схему «хрии», краткой речи, по правилам классической риторики); «Плоды Наук» — поэма. Развернутую до размеров поэмы сатиру представляет собою «Игрок Ломбера» Майкова (1763). И здесь автору удалось избежать сюжетного интереса, равно как напр., бытоописательного. Развернутую до размеров поэмы в 5 песнях торжественную оду или эпистолу представляет собою «Чесмесский бой» Хераскова (1771 г.). Таким образом, еще в 70-х годах классические законы искусства боролись за свою власть, даже в области, наиболее для них спорной. Между тем времена изменились.

Еще в 50-х годах в Россию проникли французские романы, старинные и современные. Появились переводы. Вожди классицизма забили тревогу. Роман представлял опасность, едва ли не большую, чем газета. Здесь были использованы силы, еще мало знакомые русскому читателю — увлекательность, занимательность, сочувствие героям. В ход пошли романы авантурные, плутовские (сатирические). Все это говорило о подъеме нового читателя, в конце-концов о появлении враждебной социальной силы, и не только в литературе. Одни романы нужны были придворным петиметрам, другие — малообразованной шляхте и далее «низам», вплоть до мещан и мелких «подьячих».

Сумароков разразился статьей «О чтении романов». Он громил этот опасный вредный жанр; он был раздражен его успехом. Он писал: «Романов столько умножилось, что из них можно составить половину библиотеки целого света. Пользы от них мало, а вреда много. Говорят о них, что они умеряют скуку и сокращают время, то есть, век наш, который и без того краток. Чтение романов не может назваться препровождением времени; оно погубление времени»... и т. д. Он делает оговорку: «Хорошие романы хотя и содержат нечто достойное в себе (повидимому, моральную установку. *Гр. Г.*), однако из романов в пуд весом спирту одного фунта не выйдет и чтением одного больше употребится времени на бесполезное, нежели на полезное. Я исключаю, Телемака, Донкихота и еще самое малое число достойных романов»... Далее он обсуждает вопрос о близости Телемака к эпической поэме, а о Донкихоте говорит, что эта книга — сатира на романы (Трудол. Пчела, стр. 374). Это было в 1759 году. В начале 1760 году Херасков (?) в программной статье к своему журналу «Полезное Увеселение» распространился на тему о том, как надо читать книги. Он хотел воспитать читателей к должному восприятию литературы, им создаваемой. Он уже знает своего врага. Романы ненавистны ему именно тем, что они совращают читателя неправильным методом чтения, отношения к слову, разрушающим фундамент его творческого метода. Херасков пишет иронически: «Ежели стану читать для того, что дома скушно, а гости не едут, т. е. чтоб прогнать как-нибудь

время, так я советую читать все, что захочется, и что попадетсЯ, для того, что это для таких людей не опасно; гости приехали, материя из головы уехала, да и век назад не возвратится.

Ежели я стану читать, чтоб пользу получить от выбранной мной книги, то я прежде всего буду думать: что за книгу я читать берусь? как читать ее буду? всякую ли материю толковать или скорей книгу кончить? но это не похвально для книг хорошего содержания. Романы для того читают, чтоб искуснее любиться, и часто отмечают красными знаками нежные самые речи; а философия, нравоучении, книги до наук и художеств касающиеся и тому подобные не романы, и их читают не для любовных изречений... и т. д. («О чтении книг». П. У. 1760. т. I, стр. 3).²

Херасков знает тех, кто поддаются совращению. Это не те представители высокой дворянской культуры, для которых культура и литература — дело, и немаловажное. Это — многочисленные представители шляхты, только вчера научившиеся грамоте. За ними стоят другие (купцы, священники), также не лишённые досуга и спешно заменяющие славянскую грамотность русской. Этих читателей трудно заставить понять отвлеченную, рациональную, строгую схему, в которой хочет жить, мыслить и творить Херасков. Они готовы уже платить за развлечение. Роман дает деньги своему автору. Сумароков, стараясь заставить императрицу помочь ему в бедственном материальном (и моральном) положении, пишет ей: «Разве мне поработав ради славы, приняться за сочинение романов, которые мне дохода довольно принести могут; ибо Москва до таких сочинений охотница, но мне романы ли писать пристойно, а особливо во дни царствования премудрой Екатерины, у которой, я чаю, ни единого романа во всей ее библиотеке не сыщется» и т. д. Далее романы ставятся на одну доску с Бовою. В этом пункте Сумароков согласен с Ломоносовым, который, рассуждая о литературных «вымыслах», говорит: «Французских сказок, которые у них романами называются, в числе сих вымыслов положить не должно; ибо они никакого нравоучения в себе не заключают и от Российских сказок, какова о Бове составлена иногда только украшением штиля разнятся, а в самой вещи такая же пустошь, вымышленная от людей, время свое тщетно препровождающих, и служат только к развращению нравов человеческих и к вящему закосновению в роскоши и плотских страстях». (Риторика, 1748, § 151, стр. 153).¹

¹ По другому тексту это место читается так: «Из сего числа исключаются сказки, которые никакого учения добрых нравов и политики не содержат и почти ничем не увеселяют; но только разве своим нескладным плетеньем на смех приводят, как сказка о Бове и великая часть французских романов, которые все составлены от людей неискusstных и время свое тщетно препровождающих» (П. С. С. под ред. Сухомлинова, т. III, стр. 207). Тут же Ломоносов говорит о Фенелоне Телемаке, которого он не относит к романам, а относит к типу «повестей» и ставит высоко, наравне с Аргенидой Баркляя.

² Ср. также в «Своб. часах» (1763, стр. 178), в статье «Рассуждение о слове à la bourgeois», где говорится о петиметрах, которые смеются над тем, «кто сидит дома, читает книги, кроме французских романов» и т. д.

Написать роман,— хуже этого падения Сумароков себе не представляет. До сих пор он писал для славы, писал в порядке выполнения своего служебного положения,— он получал чины и жалованье за свое писательство; его печатали на казенный счет. Доходы с книг были — никакие. Опуститься до торговли своим творчеством ему, природному дворянину и высокому поэту, тяжело. Но еще тяжелее, пожалуй, изменить делу своей жизни, отказаться от самых глубоких, самых твердых позиций своего мироощущения, пойти в шуты, писать для забавы читателя, а не для творчества закономерных ценностей, участвовать в разрушении системы мысли, умственного бытия, в которой только и могут существовать и высоко оцениваться произведения самого Сумарокова, — принять участие в развращении литературы, словом, написать роман.

Признать роман допустимым видом творчества,— это значило признать сюжетный интерес как таковой, а это в свою очередь значило упразднить самого себя, умертвить жизненный нерв своей поэзии,— мировоззрение, питавшее ее.

В 1773 г. Сумароков считал, что угроза написать роман может послужить аргументом *ad hominem*, вроде угрозы окончить жизнь самоубийством. Мне неизвестно, подействовала ли его угроза на Екатерину.

Но прошло не более 4 лет. Сумароков не кончил жизнь самоубийством, но он переделал небольшой сюжетный роман-новеллу. Он даже не напечатал его. Очевидно, дело было на этот раз не в деньгах; времена изменились. (См. П. С. С. Сумарокова, т. X: «Исмений и Исмена»; автор этой новеллы, повидимому, Pierre Francois Godard Beauchamps 1689—1762. См. *Fin du théâtre français*, t. 16. *Comédies en prose*, t. VI 1824 p. 3. Ср. также Геннади. Словарь. II. 267 Его произведение — вольный перевод греческого романа. Должно отметить, что та же новелла была переведена, повидимому, другим лицом и издана в 1769 г. на русском яз.— «Любовь Исмены и Исмениаса»).

В 1759—1760 гг., сигнализируя опасность, Сумароков и Херасков могли бы думать, что эта опасность еще не велика. На вершине культуры стояла та группа общества, к которой принадлежали они. Читатели романов были внизу культуры, шли на поводу, верили в достоинство идейной схемы высшего слоя и позволяли себе чтение романов в порядке бытового занятия. Роман оставался в быту. Поэзия царила над бытом. Все еще было на своем месте. Но к 70-м годам роман стал заявлять претензии на звание литературного жанра. Борьба завязалась не на жизнь, а на смерть. Роман вытеснял классическую культуру.

С 1763 года стали появляться романы Федора Эмина. Они были написаны дурным языком; Эмин пытался оправдать это обстоятельство рассказами о своих необыкновенных похождениях, о том, что он, мол, иностранец. Характерно, что именно здесь, «внизу» литературы, зарождается индивидуальный биографизм, авторская личность. В «Мирамонде» читатель должен был волноваться за судьбу героев тем более, что они, как в этом хотел их убедить автор, живые подлин-

ные люди, один из них — сам автор, приключения — подлинные факты. Подлинность факта жизни врывается в отрешенный круг искусства.

Романы приключений Эмина — элементарные авантюрные романы; главное в них — увлекательная для весьма непритязательного читателя цепь индивидуальных приключений героев. Язык, словно — лишь оболочка, не стоит обращать на них внимания. Давая занимательное чтение, романы Эмина приносили и практическую пользу читателю; и в этом смысле они вводили быт в искусство, разрушая отъединенность его от других жизненных сфер. Герои этих романов очень мало психологически разработаны. Но они много говорят о любви и говорят с претензиями на дешевый салонный эстетизм, запутанно, длинно, вычурно. Щеголи и щеголихи из «низов» дворянства и из купечества, для которых Эмин был последним словом светской культуры, пользовались романами как сводками образцов любовного жаргона. Роман мог научить составить письмо к возлюбленной, объясняться в любви, сетовать на несклонность и т. д. и т. д. Роман оказывался учебником модного тона (ср. у Хераскова). За Эминым пошли другие; переводные и оригинальные романы, новеллы завоевывали свое право на существование. В настоящую литературу стали проникать даже анекдоты. Анекдоты образовали одну из главных частей знаменитого «Письмовника» Курганова, книги вполне серьезной и полезной. Рядом с ней стоит «Товарищ разумной и замысловатый» П. Семенова и др.

В 1760 году в преддверии к своему первому журналу Херасков предавал проклятию сюжетную прозу. В 1763 году во втором журнале Хераскова «Своб. Часы» помещен ряд сюжетных новелл. Увлекательные приключения их героев давали возможность предложить читателю моральные уроки. Моральный оттенок не мог спасти положения по существу; к тому же и настоящие авантюрные романы типа романов Эмина всегда бывали морально окрашены, и в них добродетель торжествовала, а порок наказывался.

В 1766 г. Эмин выпустил в четырех томиках роман «Письма Эрнеста и Доравры». Это уже не авантюрный роман, а сентиментальный, написанный по образцу «Новой Элоизы», почти переделка романа Руссо. Сентиментальный роман — новый и еще более сильный удар по основам поэтики середины XVIII века. К нему уже нельзя было отнести легко, свысока. Это была настоящая литература, претендующая на учительную роль в жизни, несущая новое мировоззрение новой социальной группы. Между тем, внесловесные, по понятиям дворянских классиков, элементы в этой литературе еще усилились. Интерес к внешним и необычайным приключениям сменился гораздо более глубоким интересом к перипетиям душевной жизни, к потрясающим событиям обыденного быта. Кроме того появился индивидуальный герой.

Поэзии, окопавшейся на вершинах, приходилось подумать об опасности. Но, ведь, дело все еще шло о прозе; более того, даже прозаические жанры, освященные традицией и укрепленные жанровым определением, оставались неприкосновенными (торжеств. «слово»). Вопрос шел лишь о том, признать ли роман законным жанром. Ясно, что

классическая поэзия не могла пойти на такое признание, не уничтожив себя. Попытки компромисса продолжал Херасков. Он был готов идти на уступки. Недаром именно он впоследствии, уже стариком, к возмущению своих сверстников, перешел в лагерь Карамзина и смело стал под его знамена. Но в 60-х годах, уступая, он не хотел сдать основных позиций. Поэзия была еще в малой мере досягаема для нового, буржуазного в основных своих проявлениях мировоззрения. Новое и не интересовалось поэзией; новый читатель едва ли любил стихи, едва ли понимал их; поэзия для него была трудна и, может быть, даже скучна. Но Херасков хотел победить и в прозе, победить, уступив кое-что и тем самым введя новое в рамки законного движения.

Херасков написал «Нуму Помпилия». Это — роман, но построенный не на сюжете, а на дидактическом материале, роман в духе «Телемака», которого даже Сумароков признавал заслуживающим уважения, но с тенденцией вытравить авантюрный характер, сильно сказывающийся в «Телемаке».

Как «Плоды Наук» — эпистола в 3 песнях, так «Нума Помпилий» — рассуждение, речь в 12 главах. Сюжетные отрывки вставлены в книгу на правах примеров к доказываемым мыслям. Сюжетная рамка — лишь метод облегчить подачу отвлеченного материала. Опыт компромисса в 1768 году не удался. Вставные новеллы увлекали интересом фабулы. Они были тем более действенны и притом в чисто бытовом, жизненном плане, что они были нагружены актуальным общественным содержанием. Вместо отвлеченной прозаической медитации получилась сводка тенденциозных новелл, растворенная медитациями. Повидимому, сюжетные элементы не могли быть примирены с отвлеченной медитацией; они взрывали всю систему, и медитация оказывалась не отрезанным анализом истины, а житейски активным выступлением.

Активные требования жизни вторгались в мир застывших понятий классического искусства. В 70-х годах сюжетность проникла в поэзию. Появился ряд больших поэм. Маленькие поэмы молодого Хераскова были уже пройденным этапом. Компромисс расширился, уступки увеличивались. «Душенька», «Елисей» — поэмы с сюжетом.

В 1779 году появилась «Россиада», эпическая поэма; исход фабулы в ней известен заранее, но военные и любовные эпизоды в ней не лишены установки на сюжетный интерес. Есть в ней и стремление построить образ человека — героя (Сумбека, Алей). Конечно, во всех этих поэмах главное — не их сюжет. Основой внешнего объединения материала поэм является все еще незыблемое понятие жанра; художественная система, повидимому, не затронута. Сюжет дает лишь возможность раздвинуть рамки, увеличить объем вещи. Это благополучие обманчиво. Сюжетный интерес должен разрушить всю систему изнутри, так же как бытовой материал в «Елисее» или описательный в «Россиаде», так же как построение индивидуального героя. Кризис литературы 70-х годов привел в конце-концов не к застою, а к неустойчивому равновесию. Стоило явиться Державину, и все здание классической поэзии, уже подточенное изнутри, уже непонятное для людей, несущих новую литературу от Эмина-отца до Эмина-сына,

разом рухнуло. В 1781 году Аблесимов, ученик Сумарокова, так назвал свою книгу-журнал: «Разкащик забавных басен, служащих к чтению в скучное время или когда кому делать нечево стихами и прозою». Отрешенность поэзии от жизни, требовавшей уже открытого участия литературы в жизни, была отменена.¹ Знак к отмене ее подал Державин, первый взявший неприступную доселе твердыню классицизма — лирику.

(⁹) *К стр. 53.* Весьма характерны для ретроспективизма аристократических либералов панинского круга взгляды на Петра I, высказанные Е. Р. Дашковой. Она стоит в этом вопросе на позиции, которую я не затруднился бы назвать славянофильской; она осуждает Петра за его деспотизм, за создание военно-бюрократического государства и видит в до-петровской Руси страну не только культурную и могущественную, но и вполне соответствующую ее аристократическо-либеральным идеям, страну, где знать имела свободу и привилегии, а слуги (т. е. крепостные) также были ограждены от тирании хозяев; все это, по ее словам, уничтожил Петр. Она считает, что Россия — своеобразная страна, не нуждавшаяся в приближении к Западу.

См. архив кн. Воронцова, кн. 21, 1881. Mémoires de la princesse Dachkov, стр. 219—221 и 361. Ср. также Е. Шмурло. Петр Великий в оценке современников и потомства. Вып. I, 1912, стр. 82—83.

(¹⁰) *К стр. 80.* Мне кажется, что нет необходимости останавливаться на доказательстве того положения, что истолкование ряда стихотворений Сумарокова в качестве злободневных политических выпадов не противоречат сказанному выше об отвлеченности стиля поэзии Сумарокова и его школы, отрешенности от единичных фактов конкретной действительности. Недаром в течение более чем полтора столетия указанные стихотворения Сумарокова так же, как ряд других аналогичных, воспринимались как общие морально-бытовые рассуждения, и непосредственной направленности на конкретные факты общественной борьбы в них не видели. Они так и написаны — вполне отвлеченно, без прямых указаний на свою активную роль, в точном соответствии с принятым как общеобязательный канон жанра и стиля, а их подлинное политическое значение образуется как бы вне текста, уже тогда, когда стихи попадают в «жизнь»; т. е. опять схема соотношения такова: стихи, по концепции Сумарокова, осуществляя закон разумного и прекрасного в слове, тем самым вполне адекватно выражают и закон разумно-должного в государственном строе, опирающийся на те же рациональные основания; поскольку же закон разумно-должного в государственном строе призван разогнать неправду неупорядоченных стихий общественного быта (в частности, общественные «страсти» и вытекающие отсюда грехи, как взяточничество и т. п.), так же как свет истины разгоняет тьму предрассудков; поскольку этот закон призван победить «подлые» стремления людей, неспособных быть его стражами, смердов всех родов, — постольку и

¹ Конечно, объективно и ранее поэзия была общественной силой, я имею в виду субъективное переживание литературы данной эпохой и данным классом.

поэтическое произведение, построенное по своему закону истинного, осуществляет тем самым дело искоренения враждебных сил всякого рода, в том числе и в государственном строе. Такова сущность точки зрения самой литературы сумароковского типа; она своеобразно преломляет истинное положение вещей; в самом деле, выражая данную эстетическую и вообще мировоззрительную концепцию сущего, стихотворение, напр., Сумарокова, конечно же, боролось тем самым и с его социальными врагами.

Сложнее обстоит дело с вопросом о сюжете и сатире. Ведь Сумароков и его школа изгоняли из процесса восприятия образность, возникающую сверх логически-укрепленных словесных значений, образность бытовую, эмпирическую. Между тем, такая образность неизбежно возникала в политически-сатирических вещах Сумарокова, не говоря о стихах, направленных персонально. Повидимому, этот рационалистический замысел искусства, этот доведенный до крайнего предела последовательности формализм эстетического мышления вообще не смог быть осуществлен полностью в практике искусства. Сам по себе этот факт неосуществленности до конца, факт борьбы с самой природой вещей и был одним из весьма характерных проявлений сущности мировоззрения данной общественной группы. Он типически соотносится с ее местом и ролью в классовой борьбе. Обреченность ее путей, ее социальные стремления, не имевшие ни реальной почвы, ни прошлого, ни будущего, ее выступление с архаическими идеями, и в то же время с либеральными настроениями — все это, приведшее в конце-концов к катастрофе в политике, связывалось и с обреченностью формалистического донкихотства в поэзии.

Все сказанное не может относиться к статьям Сумарокова 1760 г. Это — прямые газетные статьи с сатирой налицо, внутренне взрывающие систему его искусства. Они были за пределами законов эстетики Сумарокова, как всякая практическая, просто практическая речь. Я уже говорил выше о роли газеты и газетности в разложении канонов искусства классицизма.

(11) *К стр. 91.* Напр. «Источник и ручей». Шумящий источник, низвергающийся с гор насмехается над тихим ручьем, но тот отвечает:

«Источник! можешь ли за то гнушаться мною,
Что я в течение тих,
А ты опасен, лих?
Твоим достоинством я сердца не прельщаю,
Хотя передо мной имеешь громкий глас.
Ты землю пустошишь, а я обогащаю,
Так кто ж полезнее для общества из нас?».

Или «Фонтанна и речка». Фонтан насмехается над скромной речкой: «Я там всходя реву, где молния и гром», — говорит он. Река отвечает:

«...я в век на уповала,
Чтобы, в железные трубы заключена,
Бедняжкой ты меня и подлой называла.
Причина храбрости твоей и высоты,
Что вся по самые уста в неволе ты;
А я, следуя в течении природе,
Не знаю пышности, но я теку в свободе.

На подлинник я сей пример оборочу:
Представя тихие с шумящими водами
Сравнять хочу граждан с большими господами
И ясно докажу... однако не хочу».

Здесь открытое противопоставление своего круга вельможному; характерно при этом «радикальное» обозначение своих людей «гражданами».

(12) *К стр. 114.* В. М. (может быть, В. Майков) в «письме» к издателю «Адской почты», напечатанном в «Смеси» (1769, лист 17, стр. 130—131) писал: «Я вам скажу, что ни в одном обществе нет столько беспорядков, как между полами. Весьма бы было полезно, есть ли бы здесь для них были заведены школы, в которых надлежало бы их учить больше всего совести и чести. Онамнясь некоторый из сих господ не хотел похоронить младенца за то, что не дочелся одного пятикопеечника в рубле, данному ему отцом умершего, который он взял наперед. Харчевники и трактирщики гораздо скромнее их, потому что за селянку денег наперед не просят. Мать младенца со слезами просила батюшку, чтоб перестал шуметь. Но поп Солнышко, до тех пор ничего и никого слушать не хотел, пока она у подруги не заняла гривны и не отдала оную попу. Недавно один из них подрался уже при олтаре с своим дьячком за то, что у него в кармане копейки побрякивали, а у попа тогда не было на что купить и четвертки вина».

Эта антицерковная статья обратила на себя внимание «высших сфер» и вызвала цензурный реприманд (см. В. Семенников. К истории цензуры в Екатерининскую эпоху. Русский Библиофил, 1913, № 1).

(13) *К стр. 112.* Официальная временная грань, после которой начинается складываться «Екатерининская» армия — может быть, 1764 год, когда была издана «Инструкция пехотного полка полковнику»; но на самом деле перелом произошел позже. «Инструкция» мало задела существо вопроса — о реорганизации структуры армии в целом; общий характер ее, навыки армейского быта, обычное право армии, так же как основные тенденции ее эволюции, как социального тела стали намечаться в новых очертаниях в 70-х годах. Воплотителем этих новых тенденций в армии, хотя, конечно, и не причиной и, может быть, даже не первоначальным источником планов и проектов их, явился Потемкин.

Завершителем системы армии, как она строилась при Елизавете, был Румянцев. Когда эта армия изменилась, когда традиции 50-х — 60-х годов стали для нее историей, имя Румянцева сделалось символом добрых старых времен в пределах военной истории страны. Все приверженцы дворянской фронды в 70-х и в особенности в 80-х годах видели в Румянцове своего вождя, героя, несправедливо гонимого врагами отечества, овладевшими волей императрицы. С другой стороны, правительство решительно теснило его, как лидера фрондирующей общественной группы. Рядом с Румянцовым стоял П. И. Панин.

Создатели армии, выдвинувшей на передовые посты Румянцева и Панина, хотели сделать ее сложным часовым механизмом, где каждый человек был ограничен в своих действиях сетью организационных

взаимозависимостей как по отношению к вышестоящим, так и по отношению к подчиненным. Двигателем ее должен был быть не отдельный человек; исполнителями также — не отдельные живые люди с инициативой и волей. Вся она целиком должна была быть точно пригнанной, четко работающей машиной, где каждый человек — лишь механическая часть и где все его действия целиком предрежены его местом в общем соотношении частей. Солдат, офицер, генерал — все сверху донизу должны были функционировать не в меру своего человеческого смысла и усердия, а постольку и так, как им предписывала рационалистически установленная твердая схема военного дела. И бой, и поход, и мирное учение превращались в шахматную игру. Это было, может быть, наивысшее практическое осуществление отвлеченно рационалистической схемы мира, обосновавшей так много исторических явлений в XVII и XVIII веках как в области государственной, так и в области искусства и мысли. Галломан, философ и деспот, Фридрих II, построил, не без усилий и неудач, образец такой армии механизмов. У него учились и русские военачальники.

Системность, как принцип поглощения человека (с маленькой буквы), индивидуума, определяла и структуру румянцовской армии и ее бытовые и военные навыки. Таково по крайней мере должно было быть представление о хорошо налаженной армии, к реализации которого стремились ее руководители и которое воплощалось, по видимому, если и далеко не полно, то во всяком случае воплощалось в достаточно характерных очертаниях.

Иерархический принцип, явственно выражавший в специфических условиях армии концепцию государства, поддерживаемого несмешиваемыми сословиями с четким разделением между ними прав, привилегий и обязанностей, был методом политического мышления именно панинской группы. В армии царили жестокость, дух муштры, палочной механизации; с другой стороны, суровость режима службы не ограничивалась только лишь рабом-солдатом. Каждый участник армии должен был быть подогнан к образцовому трафарету своей должности, и процесс этой подгонки не мог не быть насилием над человеческой природой для каждого его объекта. Впрочем, тяжесть всей лестницы начальственной строгости, от генерала к полковнику, от него к капитану и ниже вплоть до унтер-офицера, конечно, ложилась в конце-концов на плечи солдата. Прежде всего, армия была крепостнической армией, и такой она осталась надолго. Менялись лишь методы крепостнического подавления раба и использования рабского труда. Рабу были они едва ли не все одинаково мучительны.

Армия в середине XVIII века, армия, завершением построения которой был румянцовский режим ее, в высшей степени культивировала фрунтовую выучку, опирающуюся на жесточайшую карательную систему. Это была тщательно воспринятая прусская система выколачивания из солдата штатских настроений и бунтарского духа, то есть, собственной мысли и инициативы. Румянцов был жесток и как помещик и как военачальник. То же безликое и бесчеловечное представление о суровом возмездии, неизбежно падающем на провинившегося

и мстящем сторицею за каждую незначительную вину, диктовало и уставы крепостного суда, его уголовный кодекс, и карательную практику армии. Именно этот чудовищный схематизм рационалистического мышления в духе Фридриха II, не признающий личности «преступника», не замечающий конкретной неповторимости обстоятельств «преступления», видящий в своих жертвах только единицы юридической систематики, целью своей ставящей не менее отвлеченную идею безусловно работающего конгломерата единиц военной систематики,— лишь этот схематизм мог принять и выдержать, мог обосновать психологическую возможность для руководителей армии проведения в жизнь тупой жестокости пыток и мучительств, принятых тогда дисциплинарных методов, объективно реализовавших практику классового подавления в армии. Та же идея чистого порядка, абсолютной системности реализовалась и в культе фрунтового благолепия, в той невероятно большой роли, которая в это время приписывалась маршировке, артикулу, внешнему виду солдата. Сложность одежды солдат несколько не противоречила устремлениям командования. Солдат, облеченный в декоративный костюм, уже отделявший его самой своей необычностью от неорганизованной стихии быта, затянутый в непривычные ему рейтузы и колет, лишившие его свободы движений, нагруженный до предела тяжелым оружием и прочей сбруей, запряженный в хомут твердой, туго-заплетенной и просаленной косы, не дававшей ему возможности двигать головой по-человечески, тем более, что и шляпа, также непривычная, терроризировала его,—этот солдат был прежде всего рабом своего обмундирования, символизировавшего всю систему военного строя в целом. Полная пригнанность всех бесконечно сложных деталей этого обмундирования, образцовая, деревянная точность фрунтовых операций была пределом, к которому стремилось начальство, причем никакие жертвы не казались ему слишком тяжелыми. Любая неисправность в отношении к норме, принятой для внешнего вида солдата, приводила к избиению его. В 1783 году Потемкин, решивший изменить (упростить) одежду солдата, писал в записке, составленной по этому поводу, о том, как много обращали внимание в армии на косы, шляпы, клапаны, обшлага и проч. — «занимая же себя таковою дрянью, и до сего еще времени не знают хорошо самых важных вещей, как-то: марширования, разных построений и оборотов. А что касается до исправности ружья, тут полирование и лощение предпочтено доброте; стрелять же почти не умеют. Словом, одежда войск наших и амуниция таковы, что придумать почти нельзя лучше к угнетению солдата, тем паче, что он, взят будучи из крестьян, в 30 почти лет возраста узнает узкие сапоги, множество подвязок, тесное нижнее платье и пропасть вещей, век сокращающих». О пудренных косах и пуклях Потемкин говорит с негодованием: «Завиваться, пудриться, плесть косы, солдатское ли сие дело? У них камердинеров нет. На что же пукли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами... Если б можно было счесть, сколько выдано в полках за щегольство палок, и сколько храбрых душ пошло от сего на тот свет. Простительно ли,

чтобы страж целости отечества удручен был прихотьюми, происходящими от вертопрахов, а часто и от безрассудных». («Мнение князя Потемкина об обмундировании войск». Р. Арх., 1888, III, стр. 364—367). Впрочем, следует отметить, что при Потемкине солдату и по линии внешней декорации не стало легко жить, хотя отношение к этому вопросу со стороны начальства изменилось. Однако, именно при Румянцове в армии «говорили: 1 из 10; это означало, что из 10 рекрут удаётся образовать одного, согласно приказаниям полкового командира, а 9 ранее года умрут под палкою». (Ланжерон, Р. Стар., т. 83, 1895, апр., стр. 154).

Суровость воинского режима до-потемкинской армии, приобретающая формы жестокой палочной системы по отношению к солдату, падала и на офицерство. Над каждым офицером висела грубая власть высшего, командира. Этот командир — генерал или фельдмаршал — мог обходиться с офицерами как с мальчишками. Полковник, как и ротный командир, должен был бояться вмешательства в свои дела со стороны любого начальства, он был лишен инициативы, как и солдат его полка. Все они должны были чувствовать себя слугами сурового закона армии, следящего за ними и требовательного. Конечно, вовсе нельзя себе представить дело так, будто в румянцовские времена в армии царили гражданские добродетели и не было злоупотреблений. Самоуправства, злоупотребления, произвол были и в это время; они были нарушением действовавшей нормы, хотя бы и очень частым. Позднее они стали нормой, и дело здесь не в количестве преступлений, — его учесть невозможно, — а в историческом смысле, в качественном характере бытовых и организационных навыков армии, осуществлявших ее социальное лицо.

Ограничение человека и его произвола схемой — такова была тенденция развития военной организации еще с петровских времен. «Командир полка, по духу Устава Воинского 1716 года был лишен всякой самостоятельности; его власть парализовалась или придиричивым контролем комиссара, или доносом фискала, или протестом подчиненного офицера», — пишет официальный историк военной администрации в России («Столетие военного министерства. 1802—1902. Историч. очерк развития военного управления в России». I, 1902, стр. 54—55. Главн. редактор — Д. А. Скалон. Составитель — Н. А. Данилов).

Изданная в 1764 г. «Инструкция пехотного полка Полковнику» (II. С. З., т. XVI, № 12. 289, стр. 972—999) носит на себе отпечаток борьбы переходной эпохи. С одной стороны, она несколько ограничивает экономическую власть полковника: движение денежных сумм по полку должно было согласно инструкции контролироваться всеми офицерами полка или же (приходо-расходные книги) штаб-офицерами и ротными командирами; приемку в полк всяких вещей должен производить полковник «купно со всеми штаб-офицерами»; сюда же идет запрещение задерживать выдачи жалованья, амуниции и провианта, запрещение использовать кого бы то ни было из полка в «должности, чину и званию военного человека не принадлежащие», равно как запрещение использования офицерами солдат в качестве слуг сверх нормы.

В таких указаниях видно участие в комиссии, выработавшей инструкцию, таких людей как Румянцов и Панин. Однако, с другой стороны, инструкция не давала никаких гарантий исполнения указанных положений. Они не были защищены никакими конкретными мероприятиями. Наоборот, инструкция открывала широкие возможности для злоупотреблений, разрешая солдатам «наниматься» в частные работы, а также рекомендует полковникам организовать постройку одежды солдат, их «аммуниции» хозяйственным способом в полку, хотя и выплачивая использованным на этой работе солдатам «заработанные деньги». Вообще в инструкции, несмотря на ограничения, заметна уже тенденция выделить полкового командира как властителя полка; недаром тот же Румянцов протестовал против некоторых положений, заключенных в ней. «Исходя из среднего уровня нравственных понятий массы, он находил, что широкую власть командирам полков предоставлять еще рано. Он восставал против того, чтобы вся хозяйственная часть была вверена исключительно командирам полков, так как, по его мнению, это может развить в армии корыстолюбие и беспорядки в хозяйстве в ущерб казне и войскам. Он указывал на пользу учреждения инспекторов, которые наблюдали бы как за качеством комиссариатских вещей, так и за порядком отправления в войсках службы» — пишет историк военного искусства (А. Байов. Курс истории русского военного искусства. Вып. V, СПб., 1909, стр. 28).

Румянцов был прав. Через десяток лет дело пошло так, что даже контроль действий полковника со стороны офицеров превратился в пустую формальность, только усиливающую безраздельную власть командира.

Таким образом, предпосылки к замене системы армии-машины армией сатрапов, превращающих ее в свое поместье, намечались еще с начала царствования Екатерины. Но они не могли иметь хода. У власти стояли люди, которые не давали им разрастись. Армией заправляли деятели типа Румянцова и Петра Панина; они давали тон и военно-административной работе правительства. Все это изменилось при Потемкине.

Прочный иерархический коллектив, в котором каждый офицер, чувствуя себя лишь рабом системы, не чувствовал себя в достаточной мере зависимым от людей, вне этой системы находящихся, которому замкнутость взаимного контроля могла давать опору и силу противодействия личным, случайным дезорганизаторским тенденциям власти, был не по нраву правительству Потемкина. Внутренняя организация армии внушала опасения и в смысле покорности. Рабствование иерархии, чину, схеме предполагало уважение к этим чинам и схемам — непозволительное с точки зрения полицейской централизации, поскольку оно устанавливало абсолютные ценности не подведомственные данному центральному аппарату; в политическом плане это уважение было требованием высших сословных привилегий, требованием священных прав для сословной иерархий, неприкосновенности для нее, в конце-концов, бунтом независимых дворян против ига деспотии и фаворитов. Потемкинскому правительству необходимо

было сломить фронду независимых дворян; необходимо было разломать крепкую спаянную систему их власти в армии. Недостаточно было в этом смысле последовательно, хотя и неспешно, оттеснять главных деятелей армии эпохи Прусской и первой Турецкой войн от руководства армией. Это было сделано неукоснительно. Сам Румянцов ко второй Турецкой войне окончательно потерял влияние, а во время этой войны был поставлен в положение командира без подчиненных, опального, на которого были обращены взоры всех недовольных. Опорой безграничной, не руководимой никакими нормами традиции или иерархии, власти Потемкина в армии были верные люди в полках — полковники. Они сделались чиновниками, слепыми орудиями в полицейски-бюрократической сети, заброшенной на армию, как и на всю страну. Они получили, — это было залогом их верности, — почти неограниченные возможности наживы и неограниченную власть в полку. Таким образом выковывалась в связи с заданием правительства — сломить тенденции к независимости помещицкой фронды новая экономика и новая организационная структура армии, выковывалась не столько законоположениями, сколько каждодневной последовательной практикой военных властей, руководимых вице-президентом военной коллегии Потемкиным (с 1774 года; президентом он стал лишь через 10 лет, с 1784 г., но правил армией с середины 70-х годов). Армия Потемкина стала выковывать офицеров-чиновников, подчиненных подхалимской зависимости от «милостивца». Идея власти схемы, сословия, рода заменилась требованием покорности власти деспота. Если фрондеры не уступали добром, их заставляли уступить. Потемкин, последовательно проводивший политику ущемления независимых дворян-офицеров, подавления их дворянской гордости, демонстративно позволявший себе скандальные выходки в этом смысле, был в особенности крут по отношению к тем, кто выражал недовольство новыми порядками. К недовольным принадлежал, конечно, и Суворов; но он не был прямолинеен, подольщался к Потемкину, вилял. Однако вокруг него держались еще, повидимому, румянцовские порядки. Потемкин писал ему: «Сведал я, что офицеры ваши разглашают, что они не могут ни в чем угодить, забывая, что если бы они делали что других полков делают, то бы они равно сим угождали. То и изволите им сказать, что легкий способ все кончить: отстать мне от них и их кинуть, представляя им всегда таковыми остаться, каковы мерзки они прежде были, что я и исполню, а буду заниматься и без них обороною государственною». (Р. Арх. 1886. I. 308).

Полковник стал хозяином полка, как Потемкин — хозяином армии; именно — личным хозяином, как плантатор является хозяином своих рабов; полк не столько повиновался командиру, сколько принадлежал своему барину. Отсюда — чудовищный произвол, разврат власти, составлявший не случайное последствие, а существо ее; отсюда же новые формы эксплуатации солдата как рабочей силы. О потемкинской армии я имел случай говорить в статье «Солдатские стихи XVIII века»

(Лит. Наследство № 9). Здесь укажу документы, пополняющие сведения о разложении армии Потемкина.

Документы, хранящиеся в Симферопольском историческом архиве, свидетельствуют, насколько систематически бежали русские солдаты из отрядов, расположенных в Крыму в последней четверти XVIII столетия. Укажу для примера дело канцелярии таврич. губернатора, архивный номер 23: «О пойманных из бегов... воинских служителях». Здесь — ряд материалов: то речь идет о бежавшем донском казаке, то о рекруте, который «бежал от Перекопа на первом ночлеге из препровождаемой до Карасубазара рекрутской партии и шатался по татарским деревням», но потом вернулся в полк, то о двух пойманных «гусаринах», бежавших из «константиновского легкоконного полку»; то это рапорт хорунжего Петра Антонова в канцелярию правителя области Каховского о том, что «сего сентября 2-го числа на Зуиской почте отправленной из областного правления беглой солдат Василий Ильин в ночное время команды моей у казака (т. е. у казака моей команды. *Гр. Г.*) Григорья Ковалева из-под караула неведомо куда бежал и оставил казенных вещей плащ белого сукна и сапоги», то переписка о поимке бежавшего в июле прошлого года из Херсона из второго Фузилерного полку солдата Леонтия Потапова, сына Канатова, 35 лет, из экономических крестьян, взятого на службу в 1772 году. Бежать Канатова подговорил его товарищ Яков Полипанов. (Когда Потапова поймали, сначала он назвался Иваном Ивановым Грековым).

Все эти и другие документы этого дела относятся к 1785 году.

Пожалуй, еще более показательное другое «дело» той же канцелярии (арх. номер 77): «по рапорту таврического легкоконного полку бригадира фон Шица о сыске и поимке бежавших из одного полку нижних чинов и рядовых по всем здешней области местам о учинении публикации», 1787 года. 5 сентября этого года бригадир Антон фон Шиц рапортовал правителю таврической области В. В. Каховскому: «Полка мне вверенного нижние чины, чиня побегу, укрываются большою частию в здешних местах по вновь заводимым казенным слободам и сим укрывательством пользуясь, столь умножают побегу, что на сих днях таковых в марше полку бежало до двенадцати человек. Я, не имея никакого способа к удержанию таковых побегов и лишаясь людей, кои не только с собою уносят казенные вещи, даже и уводят казенных лошадей»... далее, он просит принять меры помощи.

Еще ранее, 12 июля 1787 г., брат правителя Таврической области генерал-аншеф М. В. Каховский, командовавший войсками в Тавриде, получил от генерал-майора барона Ферзена рапорт о том, что из разных полков бежало «немалое число» рядовых. На основании этого рапорта Каховский, командовавший таврическими войсками, писал 16 июля Каховскому, управляющему таврической областью, о том, что «многие бежавшие из полков рядовые укрываются здешней области в селениях между поселян и других жителей» и требовал, чтобы было приказано жителям не принимать дезертиров.

16 сентября того же года помечен новый рапорт бригадира Антона фон Шица о дезертирах; при этом рапорте приложен список именной

беглецов из таврического легкоконного полка нижних чинов, бежавших в разные числа. В списке показано пятьдесят шесть человек. К 1786 году относится еще одно дело канцелярии таврического губернатора (арх. номер 38) — о вернувшихся беглых. В этом деле собраны документы о множестве дезертиров, вернувшихся в армию. Возвращались они потому, что рассчитывали стать независимыми поселенцами в новоприсоединенном к России Крыму, истолковывая по-своему соответственные распоряжения правительства. В деле даны и сведения об этих несчастных. Например, мы узнаем, что 22 января в канцелярии правителя таврической губернии явился сам беглый Нижегородского драгунского полку рядовой Василий Иванов сын Гурянов. Ему 30 лет. «Родился он в Орловском уезде в вотчине г. генерала Хитрова, в деревне Гонючей, а в 1774 году отдан в рекруты». Бежал в 1783 г. из-под Ростова. Жил до 1786 г. в разных местах «в заработках».

27 января в ту же канцелярию явился беглый Севского пехотного полку рядовой Александр Васильев Боканенков. Ему 37 лет. «Родился он курского уезду в деревне Дреняевой из однодворцев»; взят в службу в 1781 г. Он отстал от полка по болезни, догонял полк, но по дороге «напав на него разбойники ограбили имевшиеся у него деньги 35 р., сертук тонкого голубого сукна, камзол, сапогов двое, рубашек 4 и штаны плисовые» и документ к тому же, — «после чего он по простоте своей вознамерился от службы удалиться и пробрался с идущими разными чумаками в Польшу».

В Симферопольском архиве есть также документы, говорящие об использовании солдат в качестве рабочей силы. Эксплуатируя своих рабов-солдат, командир-хозяин тем не менее вовсе не хотел, конечно, разбрасывать их, терять. Он готов был загубить солдата на работе, заморить его голодом, пользуясь его содержанием, заморить его в госпитале, пользуясь его усиленным пайком, но терять его без всякой пользы для него невыгодно, особенно если дело шло о солдате-мастере или солдате-ловкаче, умеющем самостоятельно (хотя бы грабежом) достать себе пропитание (последнее облегчало переход содержания в руки командира). Тем более это было невыгодно, поскольку пополнение «убылых» мест могло произойти не сразу. Отсюда нежелание полковников выдавать своих солдат суду, стремление прикрыть их преступления, в частности грабежи, неизбежные в системе экономики потемкинской армии. Психология и практика полковника в этом отношении совпадали с психологией помещика, предпочитавшего высечь вора-крестьянина у себя на конюшне, чем лишиться рабочих рук, выдав его гражданскому суду для отправки в Сибирь или для иной кары.

В указанном смысле характерно дело о двух солдатах-грабителях, хранящееся в Симферопольском архиве в делах канцелярии таврического губернатора (архивный номер 134); дело это не единично. Речь идет о солдатских грабежах, большом вопросе для всякой местности, в которой были расположены русские войска, в особенности же большом для Крыма, где русские оккупанты чувствовали себя бесконтрольными властителями покоренного края и его населения.

23 апреля 1789 г. прапорщик Иван Грот, «смотритель казенных поселян» препроводил к вице-губернатору Таврической области коллежскому советнику Карлу Ивановичу Габлицу двух солдат, арестованных за то, что они «шатались без письменных видов» и «делали шалости и воровства слободы Мангуш у казенных поселян скота» — Василия Озерова из Севского пехотного полка шестой роты и Нефеда Недивасова из Старооскольского полка тоже шестой роты. В рапорте, представленном по этому поводу, Грот подробно описывал преступление Недивасова. Солдаты «шатались» в лесу. Недивасов «у пасущих неподалеку от Мангуш овец отогнал с пятью человеками из отары 20 баранов (но как пасущий овец чебан начал кричать, то оные солдаты начали ему угрожать, что не кричи, а то и еще из лесу придут солдаты, тебя зарежем и отнимем всю отару: как же на оной его чебана крик сбежались люди, и из оных солдат поимали только одного вышеписанного Нефеда Недивасова, протчие же бежали, а как сего апреля 21-го числа в селении Мангушах из стада солдатами угнато четыре пары волов и три коровы: то оных волов видно оные же солдаты своровали. А как от них солдат приходят поселяне в крайнее разорение, потому что неоднократно приходят человек по 10-ть и более к пасущим скот в стада и отгоняют скот — пока пастух добежит до селения и об'явит, то уже их и сыскать невозможно»... и т. д. Как видим, грабеж со стороны солдат был поставлен широко.

Дело о пойманных солдатах-грабителях было совершенно ясно. Они должны были быть осуждены. Но не совсем так посмотрели на это дело их командиры, более заинтересованные в сохранении ловких мародеров в своих полках, чем в сохранности имущества крымских «казенных поселян». По рапорту Грота началась переписка, Карл Иванович Габлиц рапортовал о деле правителю Таврической области С. С. Жегулину. Жегулин сообщил о поимке Озерова полковнику его полка. Все это было проделано незамедлительно, и уже 28 апреля полковник ответил Жегулину:

«В Таврическое Областное Правление, Севского пехотного полку.

РАПОРТ

Сего полку рядовой Василий Озеров, по нахождению его в лесу под Полать горою с командою для полковой работы, был послан с рапортом в полк, но как он одержим падучею болезнию, то сбившись с дороги зашел в Мангуши, где тамошним начальником взят под караул и представлен во оное правление, почему полк Севской сим представляя просит Таврического областного правления повелеть его, Озерова, для доставления в полк отдать нарочно посланному при сем каптенармусу Голову.

Полковник Н и к о л а й Д и в о в

№ 218-й.

Апреля 28-го дня 1789 года.

Квартиры при Бакчисарае.

После того как таким образом закончилось дело об Озерове, Жегулин отправил уже сам второго арестованного, Недивасова (Федивалова), к полковнику его полка; при этом он обязательно сообщил обстоятельства дела Озерова, что он, мол, по сведениям от Дивова, не виновен и к Недивасову отношения не имеет.

Полковник Старооскольского полка не отстал от своего коллеги, полковника Севского полка. 14 мая он рапортовал:

«Высокородному и превосходительному господину бригадиру Таврической области правителю и кавалеру Семену Семеновичу Жегулину.

Старооскольского пехотного полку
полковника и кавалера Чиркова.

В полученном от вашего превосходительства под № 250-м повелении значится, что пойманный вверенного мне полку рядовой Нефед Федивалов и представленной к вашему превосходительству якобы в краже у Мангушских казенных поселян баранов, по присылке его от вашего превосходительства я допрашивал и он показывает то ж, что показывал и в губернии, что он отлучась не для кражи, а для сыску пропавших лошадей, которых не найдя возвращался к полку лесом, где и напали на него той слободы поселяне, взяв его, но не найдя притом никакой кражи, ссылаясь на всех тут находящихся, содержался три дни без пищи и отправлен прямо в областное правление; где содержась? под стражею также был допрашиван и показал то ж самое, о чем вашему превосходительству рапортовать честь имею.

Полковник Николай Чирков

№ 157.

Маия 14 дня 1789 г.

Лагерь при Бакчисарае».

Конечно, крестьян, от которых исходила жалоба, при всем этом судопроизводстве не сочли нужным допросить вновь.

Неудивительно, что при таких условиях солдаты не стеснялись открыто грабить крымское население и в одиночку и целыми бандами.

Среди тех же дел канцелярии таврического губернатора, хранящихся в Симферопольском архиве, имеется достаточно доказательств этого. Вот пример (архивный номер дела 210). 4 ноября 1789 г. татарин из деревни Джургин Симферопольского уезда, Абдул Халим, подал прошение (написанное по-татарски; тут же перевод) правителю таврической области С. С. Жегулину. Здесь он писал о том, что «прошедшего октября 30 дня в половину ночи приехав в означенную деревню до 30 человек донских казаков, которые ограбили мой дом и взяли целый ряд вещей, список которых он и дает. Тут и кафтанов женских 7, и шуба 1, и сапогов 2 пары, и бурка 1, и кафтан китайчетый 1, и ручников 25, и женский пояс 1, и меху 25 ок, и ремней сыромят-

ных 25, и холста 25, рубах 5, смуши 25 и денег 150 рублей. Видимо, татарин был из богатеев. Когда же находившиеся во время грабежа «в оной деревне на почте Донские казаки услышали и хотели их ловить, то они одного из сих ранили в палец пулею», — то есть открыли стрельбу. В результате розыска по этому делу, было установлено существование целой компании, банды казаков, занимавшихся грабежом. Кроме Абдул Халима, они ограбили татарина Мамбета Мусина, Муллу Бек Алли. Арестовано было из этой банды двенадцать человек, и еще один убежал.

К тому же 1789 году относится еще одно дело: об ограблении на 593 р. 50 к. симферопольского купца Бугдаса Симеонова; грабила группа солдат и обывателей (архивный номер дела 164) и т. д.

О снабжении армии говорят также документы дел канцелярии таврического губернатора (Симферопольский архив); например, дело «о оказавшейся в магазинах Севастопольском и Перекопском гнилой и неспособной в пищу муке и о освидетельствовании оной в последнем» от мая — июня 1789 г. (арх. номер 144); из этого дела видно, что смотритель Перекопского магазина секунд-майор Беренс неоднократно представлял начальству, что мука идет из Херсона негодная, гнилая, со щепой, но от заявлений толку было мало. Такое же дело — в 1792 г. об огромных запасах гнилой муки и крупы для армии в Карасубазарском магазине в 1702 году (арх. номер 261). По этому делу идет переписка по целому ряду инстанций, начиная от громомечущего Суворова, требующего под страхом наказаний, полностью здоровой муки, кончая мелкими армейскими сошками. В деле несколько актов освидетельствования муки и круп, и все они сводятся к одному и тому же: большая часть муки загнила «с заведением множества червей»... «в пищу нижним военно-служителям употребляться не может за гнильностью, горечью и тяжелым духом», — «сгнило и слеглось»... «в пищу неспособные за горечью, сляглось, смешиванием с землею и заведением множества червей» и т. д. Круп тоже много «помочено и погнило», или «много есть несеянной и с запахом», или «некоторое число найдено в пищу неспособной от пересыпки несколько с песком, затхлось и горечию» и т. д. (Цитаты из «свидетельства», — акта осмотра провианта от 11 августа 1792 г. за подписью комиссии 8 офицеров).

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<i>Предисловие</i>	3
<i>Глава первая</i>	5
1. Дворянская фронда.—2. Придворная литература 1730—1740 гг.—3. Дворянская интеллигенция.—4. Шляхетный корпус и Московский университет.—5. Сумароковцы.—6. „Полезное увеселение“	
<i>Глава вторая</i>	47
1. Дворянская честь и воспитание дворянства.—2. Классовое расхождение в идеологии сумароковской группы.—3. Борьба с „подьячими“ и „откупщиками“.—4. Борьба с „двором“.—5. Тяга в деревню.—6. Этика писателей дворянской фронды.—7. Отношение их к церкви	
<i>Глава третья</i>	124
1. Братья Панины.—2. Сумароков об экспансии на Восток.—3. Переворот 1762 года.—4. Сумароков в начале царствования Екатерины II.—5. Маскарад „Торжествующая Минерва“.—6. Дворянская фронда в литературе 60—80-х гг. XVIII столетия.	
<i>Экспурсы и примечания</i>	192

Г. А. ГУКОВСКИЙ

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
XVIII ВЕКА(Тезисы диссертации на степень доктора литературы
р а т у р о в е д е н и я)

I

1. Дворянская литература XVIII века (как и само дворянство, создававшее ее) не была едина; внутри ее шла борьба различных течений, являвшаяся выражением внутри-классовой борьбы отдельных групп помещичьего класса. В то же время дворянская литература и идеология вообще формируется в процессе классовой борьбы в пределах основного противоречия эпохи, определяющего все основные факты ее жизни, — антагонизма помещиков и крепостного крестьянства.

Во второй половине XVIII столетия в литературе все более начинает оформляться и мировоззрение подымающейся русской буржуазии, — и в то же время формируется течение радикально-демократической идеологии.

2. Литература XVIII века, и в частности дворянская литература, теснейшим образом связана с политической жизнью своей эпохи, с конкретными фактами политической борьбы и внутри дворянства и вне его.

3. В середине столетия формируются группы дворянской интеллигенции. Это — группы дворян, настроенных независимо, ощущающих себя аристократами и в то же время недовольных своим положением, претендующих на руководящее значение в управлении страной, противопоставляющих себя правительственной верхушке класса.

4. Роль очага культуры независимой дворянской интеллигенции сыграл прежде всего Шляхетный кадетский корпус.

Вслед за ним и новооткрытый Московский университет был подчинен влиянию той же группы дворянской интеллигенции,

литературным идеологом которой был Сумароков. Органом этой группы явился в 1760—1762 годах журнал „Полезное увеселение“.

5. Эстетическое мировоззрение Сумарокова и его группы, с его рационалистической отвлеченностью, с его тенденцией к незыблемости схем, правил, условных ценностей, — было органически связано с основами социального мышления европеизированных и фрондировавших помещиков.

6. Пропаганда морали и разума, составлявшая основную задачу журнала группы учеников Сумарокова, имела не общечеловеческий характер; это была конкретная политическая задача нового обоснования дворянских привилегий и в то же время проповеди дворянского либерализма. Мораль и разум, с точки зрения писателей круга Сумарокова, сословны, причем именно дворянство является их носителем в чистом виде, тогда как народ руководится неразумными „страстями“.

7. Общественная активность проповеди учеников Сумарокова привела к конфликтам между ними и окружавшим их реакционным дворянством.

8. Темы дворянской чести и воспитания дворянина, строящие значительное количество произведений середины XVIII века, являлись темами злободневными и политически-актуальными в борьбе независимого либерального дворянства за идеологическое и политическое господство.

9. Общество в изображении литературы круга Сумарокова должно состоять из строго отдельных, несмешиваемых слоев-сословий, из которых каждое повинуетя своим особым законам жизни и даже мышления. Переход из одной социальной рубрики в другую недопустим. Эта концепция была направлена против „засорения“ дворянства, против „пролезания“ в него людей из низов. Сумароков и его единомышленники, недовольные бюрократическим характером правительства, хищничеством придворных дельцов и т. д., активно выступают против значения и власти чиновничества, „подьячих“, с одной стороны, и против „откупщиков“ — с другой.

10. В связи с этой конкретной политической борьбой в литературе стоит и борьба Сумарокова и его круга с двором, т. е. с правительством, борьба, приобретающая иногда резкие формы и показывающая, что дворянская фронда уже в последние годы царствования Елизаветы Петровны достаточно окрепла.

11. Двойственность идейной позиции дворянской интеллигенции 1750-х и 1760-х годов заключалась в том, что, сражаясь во имя освободительных идей, дворянская фронда стремилась, однако, обеспечить сохранение феодально-крепостнических отношений, хотя бы в „подправленном“ виде. В сфере идеологической это приводило к внутренним конфликтам и шатаниям. Идеи западных просветителей, попадая в среду русской дворянской фронды, теряли свою радикальную или демократическую направленность и перестраивались в интересах борьбы данной группы русского дворянства.

12. Сумароков и его ученики, умеренные вольнодумцы, выступают против официальной церковности, против „суеверия“, фанатизма, против обрядности. Но и здесь они — против подрыва основ религии, против буржуазного „вольномыслия“ — атеизма.

13. По мере того как формируется радикально-демократическая философия и публицистическая мысль вне дворянской литературы, в конце 1760-х годов и в 1770-х годах происходит поворот Сумарокова и его учеников к примирению с церковью и отказ от ряда элементов протеста вообще. Основную роль при этом сыграло крестьянское восстание 1773—1774 годов.

14. В 1760—1762 годах фрондирующая дворянская интеллигенция, литературу которой возглавил Сумароков, организуется в политическую группу, вождем которой становится Никига Панин. Эта группа стремится к ограничению самодержавия дворянской конституцией и введению крепостного права в рамки „законности“. Она имеет в виду захватить власть в свои руки и повести правительство путем предположенных ею реформ. Уступая напору растущих новых сил экономики страны и напору врагов своего класса, она делала уступки даже в области крепостнических отношений, — но все же для того, чтобы, уступив часть, сохранить остальное.

15. Никита Панин и его „партия“ активно участвуют в подготовке переворота 1762 года. Они рассчитывают, посадив на трон Екатерину, управлять ею и, через нее, страной. Сразу после переворота они приступают к выработке проектов реформ. Но этим реформам не суждено быть проведенными в жизнь. Екатерина воцарилась не только благодаря панинской „партии“, но и благодаря поддержке низовой реакционной дворянской „шляхты“ („партия“ Орловых). В правительстве разворачивается

борьба двух течений внутри дворянства. В 1770-х годах, прежде всего в связи с крестьянским восстанием, дворянская фронда получает поражение. Но в 1762—1766 годах Панин и панинцы еще сильны.

16. В эти годы Сумароков претендует на роль официального поэта нового правительства. В своих одах он выступает с политическими декларациями, защищает переворот, но иногда и поучает правительство как представитель силы, имеющей право диктовать ему свои условия. Отсюда возникают конфликты Сумарокова с новой властью, исподволь осаживающей поэта. Сумароков явно стремится подчинить идеологию правительства идеологии панинской группы, но Екатерина II не менее явно показывает ему невозможность этого. Характерна в этом смысле и ненапечатанная тогда речь Сумарокова на коронацию, и, в особенности, цензурная история с „Хором ко превратному свету“ в маскараде „Торжествующая Минерва“; этот маскарад имел значение театрализованной пропаганды переворота, возведшего на трон Екатерину, вообще представлял собою своего рода всенародную политическую пропаганду нового правительства.

17. После ряда поражений дворянской фронды в 1770-х и в начале 1780-х годов оставшиеся представители ее ушли в масонскую организацию, в розенкрейцерство, объединявшее мистико-моральную пропаганду с борьбой методами тайного общества.

II

18. Последнее яркое проявление борьбы дворянской фронды с правительством следует видеть в творчестве секретаря Никиты Панина, Дениса Фонвизина, в частности, в его творчестве 1782—1783 годов. Это были годы разгрома „партии“ Панина, гибели самого главы движения, и Фонвизин борется пером в эти годы с величайшим напряжением. Памятниками этой борьбы являются „Вопросы“ и „Опыт сословника“, и „Придворная грамматика“, и так наз. завещание Панина, и, в первую очередь, „Недоросль“.

19. В „Недоросле“ Фонвизин сформулировал в художественных образах ряд основных политических положений панинской группы. Он борется в этой комедии против засилья в государстве некультурных „шляхты“, борется и со двором, т. е. с прави-

тельством; он выступает и против бесконтрольного, ничем не ограниченного рабства крестьянства. При этом Фонвизин в своей комедии использовал политические проекты дворянской оппозиции, отвергнутые правительством.

20. Вне дворянской культуры развивалась в России культура „третьего сословия“ и находила свое выражение в литературе. При этом идеология купеческого капитала, несмотря на выступления ее представителей против монополии помещиков на власть, имела охранительный характер. Русский буржуа XVIII столетия не был радикально настроен. Типической фигурой в этом смысле является романист, публицист, историк и моралист Федор Эмин. В целом ряде вопросов он усвоил буржуазные взгляды. Но практически он консервативен; социальная робость, ограниченность приводят его к поддержке устоев крепостнической монархии.

21. Упорная и озлобленная борьба буржуазного писателя Эмина с дворянином-фрондером Сумароковым характерно выявляет разницу их позиций; дело доходит до того, что Эмин упрекает Сумарокова в „неблагонадежности“ именно как фрондера.

22. В то же время как дворянская либеральная интеллигенция подвергалась преследованиям правительства, начался творческий путь поэта, создавшего новое направление в дворянской — и не только дворянской литературе — Державина. Этот выходец из дворянских низов, на которые оперлось правительство после подавления восстания Пугачева, и в литературе праздновал свою победу. Своей новой художественной манерой Державин порывал с канонами классицизма. Реакционер в своих политических взглядах, Державин был все же передовым поэтом; индивидуализм его лирики, реальные тона в изображении действительности, активность его поэзии, — весь облик ее — оптимистический, волевой, конкретный, разрушающий абстракции, — делали Державина поэтом, закладывавшим основы будущего передового искусства.

23. Всей сумме явлений дворянской культуры противостоят в качестве революционного факта творчество Радищева. Его художественное творчество требует детального изучения не только в отношении непосредственно политического и философского своего содержания, но и в отношении художественного метода, так как Радищев был революционером в искусстве, как и в идеологии вообще.

24. Творчество Радищева конкретно-индивидуально. Радищев окончательно разбивает отвлеченные схемы русского дворянского классицизма во имя индивидуализма и создает почву для построения психологического реализма. Радищев отрицал нормативную эстетику классицизма. Прогрессивный характер имел интерес Радищева к национальным народным культурным образованиям, противопоставляемым им сглаженному, антинациональному абстрактному дворянскому искусству.

25. Искусство Радищева общественно-активно, агитационно, оно целиком построено на основе задач пропаганды революционного мировоззрения, и это заставляет Радищева создать новые конструктивные принципы стиля, новые методы выразительности художественного слова.

26. В борьбе с дворянской культурой и, в частности, с идеологией независимой дворянской оппозиции, растет и творчество молодого Крылова. Но его протест приобретает характер по преимуществу отрицательный, при неясности положительных элементов мировоззрения. Радикализм Крылова неустойчив, хотя достигает большой силы в его творчестве 1789—1792 годов.

27. Борьба Крылова с Княжниным была борьбой демократического радикализма с аристократическим фрондерством. Это нашло выражение в нападках Крылова на Княжнина и в „Почте духов“, и в „Проказниках“, и в письмах к Княжнину и Соймонову. Неустойчивость Крылова привела его к срывам еще в пору его молодости; таким срывом была официальная ода 1790 года, — уступка правительству. В 1794—1805 годы в мировоззрении Крылова произошел перелом, заставивший его глубоко запрятать свое недовольство. Однако в баснях нашла выражение — и в стиле и в содержании их — демократическая основа мировоззрения Крылова.

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР

Ноябрь 1936 г.

Непременный секретарь академик *Н. Горбунов*

Редактор издания акад. А. С. Орлов

Технический редактор М. И. Стеблин-Каменский. — Ученый корректор Д. С. Лихачев

Сдано в набор 28 октября 1936 г. — Подписано к печати 13 ноября 1936 г.

Форм. бум. 62 X 94. — 3/8 печ. л. — 6 стр. — 16700 печ. зн. — 0.42 уч.-авт. л. — Тираж 250 экз.

Ленгортит № 24528. — АНИ № 1458. — Заказ № 1917.